

Институт языкознания Российской Академии наук

**Российский государственный гуманитарный
университет**

К.В. Бабаев

**ПРОИСХОЖДЕНИЕ
ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИЦА**

Исторический анализ и данные внешнего сравнения



**Москва, Калуга
2008**

ББК 81.2
Б12

Рецензенты:

доктор филологических наук,
член-корреспондент РАН, профессор А.В. Дыбо;
кандидат филологических наук С.А. Бурлак

Бабаев К.В.

Б12 *Происхождение индоевропейских показателей лица*: исторический анализ и данные внешнего сравнения. – М.-Калуга: ИП Кошелев А.Б. (Издательство «Эйдос»), 2008. – 298 с.

ISBN 978-5-902948-30-8

Книга является первым в сравнительном языкознании опытом реконструкции индоевропейских систем личных местоимений и глагольных показателей на основе данных не только собственно индоевропейских языков, но и данных внешнего сравнения и диахронической типологии. Автор восстанавливает пути развития обеих систем из некогда единого источника – независимых личных местоимений ностратического языка.

Для специалистов по общему и сравнительному языкознанию, филологов, а также для всех, кто интересуется происхождением и историей человеческого языка.

Origins of the Indo-European Personal Markers: a Historical Analysis and External Comparison.

The book is the first ever research devoted to the reconstruction of Indo-European personal pronouns and verb endings on the basis of both internal and external comparison, with the extensive use of diachronic typological data. The author reconstructs the path of development of the Indo-European personal markers from their ancestors, the independent personal pronouns of the Nostratic proto-language.

The book is addressed to a broad audience, including specialists in historical, comparative, typological and general linguistics, as well as all those interested in the origins and history of the human language.

ББК 81.2

© Бабаев К.В., 2008

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	6
Список принятых сокращений	12
Введение	14
§ 1. Направления исследований индоевропейских показателей лица	14
§ 2. Гипотезы дальнего родства языков. Ностратическая гипотеза	17
§ 3. Роль типологии при сравнительно-историческом анализе	28
Глава 1. Типология происхождения и развития показателей лица в языках мира	33
§ 4. Типологическая классификация показателей лица	33
§ 5. Роль грамматикализации при развитии систем показателей лица	36
§ 6. Лексические источники происхождения показателей лица	41
Глава 2. История реконструкции и гипотезы происхождения индоевропейских показателей лица	47
§ 7. История реконструкции парадигмы личных местоимений индоевропейского праязыка	47
§ 8. История систематизации парадигмы показателей лица индоевропейского глагола	52
§ 9. История исследований происхождения личных показателей глагола	66

Глава 3. Реконструкция и происхождение показателей первого лица	82
§ 10. Индоевропейский показатель 1 лица <i>*me</i>	82
§ 11. Ностратический показатель 1 лица <i>*mV</i>	93
§ 12. Индоевропейский ларингальный показатель 1 лица	114
§ 13. Ностратический показатель 1 лица <i>*qV</i>	123
§ 14. Индоевропейское местоимение 1 лица единственного числа номинатива <i>*eg'Ho(m)</i>	140
§ 15. Индоевропейский показатель 1 лица <i>*ne/o</i>	144
§ 16. Ностратический показатель 1 лица <i>*nV</i> . Проблема инклюзивности в ностратическом	148
§ 17. Происхождение индоевропейского показателя 1 лица <i>*we-</i>	159
§ 18. Реконструкция ностратических показателей первого лица	168
Глава 4. Реконструкция и происхождение показателей второго лица	178
§ 19. Индоевропейский показатель 2 лица <i>*-s</i>	178
§ 20. Ностратический показатель 2 лица <i>*si</i>	181
§ 21. Индоевропейский показатель 2 лица <i>*t(u)e</i>	186
§ 22. Ностратический показатель 2 лица <i>*tV</i>	191
§ 23. Индоевропейский показатель 2 лица единственного числа <i>*-eHi (*-ei)</i>	199
§ 24. Происхождение индоевропейских показателей 2 лица <i>*ju-</i> , <i>*wV</i>	201
§ 25. Реконструкция ностратических показателей второго лица	208

Глава 5. Опыт реконструкции парадигмы показателей лица в ностратическом языке	212
§ 26. Исследования показателей лица в ностратическом языкознании	212
§ 27. Реконструкция парадигмы личных местоимений ностратического языка	217
§ 28. Происхождение ностратического показателя косвенности <i>*nV</i> , развитие косвенных форм транзитивных местоимений	221
§ 29. Процессы трансформации парадигмы личных показателей в ностратических языках	227
§ 30. Плюральность показателей лица	231
§ 31. Аналитический строй ностратической морфологии. Падежи в ностратическом языке	234
Библиография	241
Приложения	257

ПРЕДИСЛОВИЕ

Проблемы происхождения личных местоимений и глагольных окончаний в течение многих лет продолжают оставаться одним из острых дискуссионных вопросов языкознания. Человека всегда занимало, как наши предки, жившие тысячелетия назад, выражали понятия «я» и «ты» – два слова, без которых немислим ни один язык и которые, как показывает история языка, могут сохраняться в неизменном виде значительно дольше других слов. Откуда же берутся в языке обозначения для этих понятий? Как они развиваются и какие причудливые формы могут принимать? Как получилось, к примеру, что у всех глаголов русского языка в первом лице единственного числа настоящего времени мы видим окончания *-у / -ю*, и лишь один глагол – «есть» – является исключением? И почему, в конце концов, слова «ты» и «тебя» очевидно однокоренные, а «я» и «меня» происходят из разных источников?

Всё это простые вопросы для исторического языкознания. Но есть и другие, более сложные и более интересные, по которым высказываются и разбиваются вдребезги десятки самых фантастических гипотез, растут тома исследований по типологии, истории и сравнению личных показателей.

Да, несмотря на обилие исследований в сфере истории показателей лица в индоевропейских языках, накопленных за последние два столетия, вопросов в этой области по-прежнему больше, чем ответов. На сегодняшний день не существует завершённой реконструкции системы личных местоимений в индоевропейском праязыке. Неясно, почему для праязыка восстанавливается сразу несколько местоимений

первого лица множественного числа, для объяснения синонимичности которых выдвигаются различные гипотезы вплоть до реконструкции категории инклюзивности. Нет понимания того, откуда происходит предок русского «я» – номинативное местоимение первого лица единственного числа **eg'ho(m)*. Не существует удовлетворительного объяснения генетической связи между системами независимых личных местоимений и показателей лица глагола – при том, что общепринятой является точка зрения об их едином происхождении. Здесь достаточно лишь привести пример соотношения личного местоимения **tū* ‘ты’ и личного глагольного показателя 2 лица единственного числа **-s(i)* – вопрос, о который сломано немало копий достойными лингвистами. И это лишь некоторые из вопросов, без ответа на которые сомнительной останется любая система показателей лица, реконструируемая для индоевропейского праязыка.

Можно назвать несколько причин определённого тупика, который видится в исследованиях этой области индоевропейской морфологии.

Во-первых, большинство исследований в течение двух веков строились на анализе внутреннего, собственно индоевропейского материала, который, безусловно, является ограниченным и не даёт возможности доказательно обосновать множество интересных и логичных гипотез. В последние десятилетия эта проблема решается за счёт последовательного привлечения данных внешнего сравнения индоевропейских языков с языками других семей Старого Света, в особенности в рамках ностратической гипотезы. Именно материальная форма личных показателей является одним из наиболее поразительных сходств между языками, объединяемых в состав ностратической макросемьи, а потому их тщательное, скрупулёзное исследование может пролить немало света на

собственно индоевропейскую реконструкцию и прояснение доиндоевропейского прошлого как личных местоимений, так и личных показателей глагола, исследование которого вплоть до последнего времени ограничивалось догадками различной степени смелости. Необходимо провести большую работу по системному сравнению формантов лица в индоевропейских и других ностратических языках, осуществить максимально точную реконструкцию ностратической парадигмы личных показателей, чтобы затем обосновать пути развития индоевропейской местоименной системы и системы личного спряжения из более раннего состояния. На сегодняшний день существует явственный недостаток такого рода исследований, и именно в проведении такой работы видится нам наша задача.

Во-вторых, при реконструкции индоевропейских показателей лица (как и их гипотетического более раннего состояния) исследователи традиционно пренебрегали данными лингвистической типологии, особенно диахронической, достигшей в последние годы важных высот. Это пренебрежение приводит к тому, что сравнительно-исторический анализ приводит нас к, казалось бы, выверенной парадигматической системе, которая, тем не менее, с точки зрения закономерностей развития живого языка выглядит подчас по меньшей мере странной. Для праиндоевропейского насчитывается четыре или пять лексических корней местоимений первого лица, и их при желании ещё можно разложить по оттенкам синтаксических значений. Для ностратического праязыка таких местоимений реконструируется уже до десятка, и их значения нередко выглядят синонимичными, в то время как науке неизвестны языки с таким количеством синонимичных личных местоимений.

Подобное многообразие легко объясняется временной глубиной реконструкции – чем дольше развивается язык, тем

больше в нём накапливается изменений. Система показателей лица подвержена обновлению точно так же, как и другие подсистемы языка, а увеличение количества сравниваемых языков, в каждом из которых могли сохраниться следы разных хронологических эпох и накопиться инновации, неизбежно приводит к многообразию реконструкций. Разделить хронологические уровни языка, отделить новообразования от исконных форм – задача сравнительно-исторического анализа, но она никогда не будет выполнена корректно, если рассмотрение проводится по принципу реконструкции отдельных показателей, а не единой и логичной парадигмы. Парадигма трансформируется в рамках системы и в рамках системы же присутствует на каждом конкретном хронологическом срезе истории языка – об этом, к сожалению, забывают многие исследователи морфологии. Без привлечения данных лингвистической типологии, без восстановления взаимосвязанной парадигматической системы показателей лица в языке, без ответа на вопрос «а бывает ли так в языках мира?» праязыковая морфология останется реконструктом, а не языковой реальностью.

Происхождение показателей лица, в особенности личных глагольных аффиксов, в индоевропейских языках многими исследователями воспринималось как заведомая *terra incognita*. Ещё во второй половине девятнадцатого века Ф. де Соссюр писал: «Лингвисты бесконечно спорят об индоевропейских формах **es-mi*, **ed-mi* и т.д. Были ли элементы *es-*, *ed-* когда-то, в отдалённом прошлом, подлинными словами, которые впоследствии агглютинировались с другими словами *mi*, *ti*, или же **es-mi*, **es-ti* явились в результате соединения с элементами, извлечёнными из иных сложных единиц того же порядка, что означало бы отнесение агглютинации к эпохе, предшествовавшей образованию индоевропейских оконча-

ний? При отсутствии исторической документации вопрос этот, по-видимому, неразрешим» (1999: 179).

Подобная точка зрения выглядит как признание существующего «потолка» исследований. Преодоление этого барьера с помощью данных внешнего сравнения и с дополнительной опорой на широкий корпус типологических данных – задача современного сравнительно-исторического языкознания. Сегодня мы можем смело ответить Ф. де Соссюру словами одного из основателей ностратического языкознания В.М.Иллич-Свити́ча: только внедрение в анализ данных внешнего сравнения поможет «вывести индоевропеистику из тупика бесконечно разнообразных и в равной степени недоказуемых интерпретаций только индоевропейских фактов» (1971: 41).

Сейчас, после двух столетий существования научной дисциплины сравнительно-исторического языкознания, эта задача может считаться разрешимой. Её успешное решение, без сомнения, выведет индоевропеистику на новый уровень познания праязыка в широком смысле, путей его развития и трансформации.

В свете изложенного, целью настоящей работы является сравнительный анализ морфологии показателей лица в индоевропейских языках с широким привлечением материала других языков ностратической макросемьи и реконструкция системы личных показателей (как личных местоимений, так и глагольных показателей лица) ностратического праязыка. Эта цель, по мнению автора, может быть достигнута посредством выполнения нескольких задач:

1. Анализ морфологии показателей лица в языках, вводимых в состав ностратической макросемьи, и последующая

реконструкция материальной формы и грамматических значений показателей лица в ностратических языках.

2. На основании реконструкции отдельных показателей, реконструкция целостной, синтаксически обоснованной парадигмы показателей лица в ностратическом праязыке.

3. Реконструкция путей трансформации ностратической системы в системы языков-потомков, включая индоевропейский праязык, и выявление новообразований, возникших после распада ностратической языковой общности.

4. Анализ диахронических процессов в языках мира, сходных с процессами и явлениями в ностратических языках, и демонстрация типологической обоснованности развития реконструированной парадигмы показателей лица в праязыке и языках-потомках.

На сегодняшний день в литературе не существует исследования, покрывающего все четыре указанных задачи. Между тем данная тема, безусловно, представляет особый интерес и требует детальной проработки в рамках отдельного исследования, призванного описать современное состояние изучения вопросов зарождения и развития системы показателей лица в индоевропейских языках, проанализировать гипотезы ее происхождения с привлечением данных внешнего сравнения с другими языками ностратической макросемьи. Только так мы, возможно, сможем ответить на вопрос, как могли выглядеть слова «я» и «ты» в языке наших предков десять тысячелетий назад.

Это исследование посвящено Сергею Анатольевичу Старостину, крупнейшему лингвисту-компаративисту нашего времени, оказавшему, в качестве научного руководителя, неоценимую помощь при формулировании темы исследования и давшему ценные советы на ранних этапах его подготовки.

Список принятых сокращений

авест.	авестийский	жем.	жемайтский диалект
аккад.	аккадский	и.-е.	индоевропейский
алб.	албанский	ирл.	ирландский
алт.	алтайские	исп.	испанский
амур.	амурский диалект	итал.	италийские
анат.	анатолийские	калм.	калмыцкий
англ.	английский	камасин.	камасинский
араб.	арабский	картв.	картвельские
арам.	арамейский	кельт.	кельтские
арм.	армянский	кирг.	киргизский
афр.	африкайские	кор.	корейский
балт.	балтийские	корн.	корнский
баоан.	баоанский	куш.	кушитские
бербер.	берберские	лаз.	лазский
болг.	болгарский	лат.	латинский
брет.	бретонский	лид.	лидийский
бурят.	бурятский	лик.	ликийский
валл.	валлийский	лит.	литовский
венг.	венгерский	лтш.	латышский
венет.	венетский	лув.	лувийский
вост.-сахал.	восточно-сахалинский	манс.	мансийский
диалект		маньч.	маньчжурский
герм.	германские	мегр.	мегрельский
гот.	готский	монг.	монгольские
греч.	греческий	нганасан.	нганасанский
груз.	грузинский	нен.	ненецкий
дор.	дорийский диалект	нивх.	нивхский
др.-англ.	древнеанглийский	ностр.	ностратический
др.-евр.	древнееврейский	омот.	омотские
др.-егип.	древнеегипетский	оск.	оскский
др.-инд.	древнеиндийский	пал.	палайский
др.-ир.	древнеиранские	поль.	польский
др.-ирл.	древнеирландский	русин.	русинские диалекты
др.-лит.	древнелитовский	сван.	сванский
др.-перс.	древнеперсидский	сев.-сахал.	северо-сахалинский
др.-прус.	древнепруссский	диалект	
др.-рус.	древнерусский	селькуп.	селькупский
др.-сев.	древнесеверный	сем.	семитские
др.-тамил.	древнетамильский	слав.	славянские
др.-тюрк.	древнетюркский	словац.	словацкий
др.-хетт.	древнехеттский	словен.	словенский
др.-яп.	древнеяпонский	ст.-аккад.	староаккадский
драв.	дравидийские	ст.-слав.	старославянский

там.	тамильский	хетт.	хеттский
тибет.	тибетский	чад.	чадские
тох.	тохарский	чеш.	чешский
тунг.	тунгусские	чуваш.	чувашский
тунг.- маньч.	тунгусо-маньчжурские	чук.- камч.	чукотско-камчатские
тур.	турецкий	шумер.	шумерский
тюрк.	тюркские	элам.	эламский
угор.	угорские	эол.	эолийский диалект
удмурт.	удмуртский	эск.-алеут.	эскимосско-алеутские
урал.	уральские	эст.	эстонский
фин.	финский	этрус.	этрусский
финно- угор.	финно-угорские	юкагир.	юкагирский
хант.	хантыйский	якут.	якутский
		яп.	японский

ВВЕДЕНИЕ

§ 1. Направления исследований индоевропейских показателей лица

Первым, кто занялся вопросами сравнительно-исторического анализа личных показателей в индоевропейских языках, стал Франц Бопп. Основу его фундаментального труда «Система спряжения санскритского языка» составило описание систем глагольного спряжения индоевропейских языков, где Бопп впервые поставил вопрос не только о том, в каком виде можно реконструировать индоевропейские форманты личного спряжения, но и о том, каково происхождение личных окончаний в индоевропейских языках.

Именно тогда обнаружились первые проблемы реконструкции праязыковой системы показателей лица. Последующая глубокая проработка индоевропейской сравнительной морфологии поставила множество новых вопросов о происхождении и развитии её элементов. Достижение ответов на эти вопросы в течение десятилетий движется по нескольким направлениям.

В первую очередь, за истекшие двести лет была многократно расширена материальная база исследований в области морфологии. Компаративисты первой половины девятнадцатого века оперировали данными пяти-шести групп индоевропейских языков, преимущественно классических: древнегреческого, санскрита, латинского, германских языков. Постепенное привлечение к анализу данных других языков индоевропейской семьи позволило уточнить, а во многих случаях и пересмотреть первоначальную реконструкцию праязыка. Открытие и описание множества древних индоевро-

пейских языков в двадцатом веке дало возможность сопоставить гипотезы с новыми данными и, в результате, существенно модифицировать взгляд на индоевропейскую морфологическую систему. Прежде всего речь идет об исследовании анатолийских и тохарских языков, а также, в меньшей степени, т.н. «малых» языков древней Европы и Малой Азии, таких как фракийского, иллирийского, фригийского и некоторых других.

Второе направление расширения исследований – работа по интенсификации, углублению внутренней реконструкции языков индоевропейской семьи. Важнейшую роль здесь сыграла разработка такой дисциплины, как диалектология. Эта отрасль лингвистики, интерес к которой резко усилился в эпоху «младограмматизма» второй половины XIX века в Европе, позволила значительно увеличить корпус грамматических и лексических данных множества языков, выйти за пределы канонических текстов, в том числе и древних литературных языков.

Первые шаги сравнительного языкознания сопровождались созданием упрощенных схем постепенного диалектного дробления первоначального праязыкового единства. В основе этих схем лежала концепция разрастания «языкового древа», обоснованная в 1850-х годах и далее А.Шлейхером и Э.Лоттнером, а также представление о том, что факты исторических языков дадут возможность полностью воссоздать праязыковое состояние. Однако углубление в языковой материал довольно скоро рассеяло эти иллюзии, поставив исследователей перед лицом разнообразных и сложных фактов, не укладывавшихся ни в одну из схем диалектного членения праязыкового древа и не сводившихся к исходному единству.

В 60-е годы девятнадцатого века Х.Эбелем, А.Пикте и Й.Шмидтом была выдвинута «теория волн», ставшая своеобразной альтернативой теории «языкового древа». В основе концепции Й.Шмидта лежала идея о том, что древняя индоевропейская языковая область, подобно области распространения любого современного языка, представляла собой лингвистическую непрерывность, в разных направлениях пересекавшуюся многочисленными линиями распространения отдельных диалектных признаков, позже названных изоглоссами.

В ходе дальнейшего исследования проблемы диалектного членения индоевропейского праязыка две обозначенные концепции не только не стали антиподами, но и фактически были объединены исследованиями В.Порцига, А.Мейе, И.А.Шмеллера, Ж.Жильерона, Г.Асколи, Х.Краэ, А.И.Соболевского и других выдающихся диалектологов. В двадцатом веке рождается такая дисциплина, как лингвистическая география с её методикой выделения и анализа изоглосс, раскрывшая новые перспективы исследования диалектов праязыка.

На сегодняшний день данные диалектов индоевропейских языков признаются одним из ценнейших источников исследования сравнительной морфологии, и работа по их изучению продолжается. Пока ещё не достигнуты однозначные решения относительно конкретных путей и этапов разделения индоевропейского лингвистического единства. Споры продолжаются как вокруг вопросов членения, группировки различных языковых общностей в пределах индоевропейского праязыкового ареала, так и вокруг вопросов относительной хронологии языковых фактов.

Проблема хронологии занимает центральное место в тематике исследований по сравнительной индоевропеистике. С

одной стороны, постоянно отмечается некорректность соотнесения и сравнения фактов отдельных индоевропейских языков, письменно зафиксированных в различные эпохи (от середины II тысячелетия до н.э. до XVI века н.э., как древнеиндийский и литовский). С другой стороны, перед исследователями встаёт в полный рост комплекс вопросов, связанных с периодизацией развития самой индоевропейской общности и определением относительной степени архаичности или консервативности структуры отдельных языков, независимо от времени их письменной фиксации.

Именно поэтому метод внутренней реконструкции индоевропейского праязыка нуждался во внешнем подспорье, которым и стало в двадцатом веке открытие метода дальнего родства языков.

§ 2. Гипотезы дальнего родства языков.

Ностратическая гипотеза

Исследования, посвящённые анализу сходств в различных семьях языков Евразии, появились в сравнительном языкознании сразу же после того, как были установлены границы между языками различных семей, то есть уже в первой половине девятнадцатого века. В эпоху становления сравнительно-исторического метода учёные, занимавшиеся такими сопоставлениями, вынуждены были ограничиваться констатацией отдельных лексических и, реже, морфологических сходжений, большинство из которых в ходе дальнейшего анализа было безусловно отвергнуто – как совпадения или заимствования. Однако надо признать, что уже в девятнадцатом столетии среди множества фантастических теорий сближе-

ния различных языковых семей можно выделить ряд вполне надёжных схождений.

В частности, логичные сравнения индоевропейских и финно-угорских языков были проведены в ранних работах И.Куно, Н.Андерсона, Ф.Кеппена. В дальнейшем эти исследования были систематизированы в более строгих рамках сравнительно-исторического метода. В частности, подробную сводку грамматических и лексических схождений между индоевропейскими и уральскими языками даёт в своих работах начала двадцатого века К.Виклунд, а первый опыт разработки фонетических соответствий между двумя семьями языков предпринимает Х.Шелд в 1927 году. Наконец, крупнейший уралист двадцатого века Б.Коллиндер систематизировал методiku сравнения и предложил сближения между семьями на основании разработанных им фонетических соответствий – большинство из этих сближений принимаются современными исследователями как верные.

Большую роль в сравнительном изучении языков Евразии сыграла урало-алтайская гипотеза, развитие которой шло практически параллельно с развитием алтайского языкознания. Исторически урало-алтайская гипотеза, еще на «донаучной» стадии исследования, возникла раньше собственно алтайской. Выдающиеся исследователи XVIII-XIX столетий Й. фон Страленберг, М.Мюллер и особенно М.А.Кастрен в своих трудах пытались обосновать родство финно-угорских, самодийских языков и языков трех групп алтайской семьи. Урало-алтайская гипотеза процветала в Европе в середине и второй половине девятнадцатого века, когда были написаны труды М.А.Кастрена, Ж.Шимони, Г.Асколи, В.Шотта, Г.Винклера и других.

В двадцатом веке наиболее яркими последователями урало-алтайской теории стали крупнейшие уралисты Б.Коллиндер, М.Рясянен, а также Д.Шинор. Эти исследователи в своих трудах справедливо указывали на значительное сходство морфологической структуры уральских и алтайских языков, их агглютинативный характер, пытались обосновать лексические схождения, в частности, в системе личных местоимений – где они больше всего бросаются в глаза. Вместе с тем, урало-алтайская гипотеза, став безусловно полезным шагом вперед в исследовании языков Евразии, в то же время существенным образом негативно повлияла на восприятие лингвистическим научным сообществом гипотез родства алтайских языков.

Причина этого лежит в том, что урало-алтайская гипотеза с самого ее возникновения и вплоть до двадцатого столетия была проработана слабо и предоставляла лишь неубедительные доказательства, к которым скептически относилось большинство ученых. Делались попытки «привязать» к урало-алтайским языкам и другие языки континента, как вымершие, так и современные: аккадский (и другие семитские), шумерский, нивхский, айнский и прочие. Эти попытки, будучи не подтвержденными научными данными, не могли не вызвать рост скепсиса в лингвистическом сообществе по поводу дальнего родства вообще и генетической аффилированности уральских и алтайских языков между собой.

Частично охлаждение интереса к алтаистике и урало-алтаистике в середине двадцатого века было связано и с расовыми теориями фашистской Германии, пропаганда которых на некоторое время сделала политически некорректным изучение удаленного родства языков. Кроме того, ставшие популярными на Западе труды Н.Н.Поппе, не сумевшего

должным образом отделить заимствования от исконно родственных лексем, подготовили благодатную почву для «опровержений» алтайской теории. При этом, к сожалению, в трудах западных ученых не упоминались многие выдающиеся труды советских алтаистов.

Родоначальником индоевропейско-картвельского сравнения стал ещё Франц Бопп, в 1847 предпринявший попытку описания морфологических сходств двух семей языков. Однако на тот момент картвельское языкознание находилось ещё в зачаточном состоянии, что не могло не привести этот опыт к неудаче. В дальнейшем сопоставления картвельских языков с индоевропейскими и уральскими продвинулись более существенно в работах конца девятнадцатого века Б.Мункачи и А.Глейе.

Основатель научного исследования дравидийских языков Р.Колдуэлл в своей сравнительной грамматике, изданной в 1875 году, сопоставляет лексический, морфологический и словообразовательный материал дравидийских языков с соответствующими данными уралоистики и алтаистики, что приводит его к гипотезе об их едином происхождении в рамках т.н. «скифской» семьи языков. В двадцатом веке урало-дравидийское сравнения серьёзно продвинулось вперёд усилиями таких учёных, как Т.Бэрроу, Ф.Шрадер, К.Боуда, а также М.С.Андронов.

Работы Г.Мёллера и его последователя А.Кюни, изданные в первой половине двадцатого столетия по вопросам индоевропейско-семитских языковых связей, во многом предопределили направления исследований этих вопросов на протяжении многих десятилетий. К сожалению, Г.Мёллер в своей реконструкции фонетических соответствий предложил такое количество сходжений, что каждой фонеме индоевропейского праязыка соответствовало до 5-6 фонем семитского, и на-

оборот. Это, безусловно, не могло не привести к массовым ошибкам, многие из которых, надо признать, на сегодняшний день повторяются западными исследователями, такими как А.Бомхард и А.Кернс. Кроме того, в работах Г.Мёллера не учитываются данные других групп афразийской языковой семьи, кроме собственно семитской.

Отдельные исследования по вопросам генетических взаимоотношений языков различных семей Евразии в начале двадцатого века наконец были объединены и систематизированы. В 1908 А.Тромбетти стал первым, кто детально сравнил личные местоимения шести языковых семей и на основании этого сравнения сделал вывод об их общем происхождении. В том же 1908 году независимо от него Х.Педерсен использовал аргумент общности личных показателей для обоснования генетического родства между индоевропейскими, уральскими и алтайскими языками, которые он причислил к постулированной им «ностратической» общности языков. В своей работе (Pedersen 1908: 342-343) автор предположил также гипотетическое родство ностратических с эскимосскими языками – опять же на основании сходства систем личных показателей.

Системное сравнение ностратических языков и изучение ностратического наследия в индоевропейских языках началось в 60-х годах двадцатого века с появлением трудов В.М.Иллич-Свитыча и А.Б.Долгопольского. В начале 1960-х годов, двигаясь по стопам более ранних исследователей, советский ученый В.М.Иллич-Свитыч разработал и обосновал ностратическую гипотезу о родстве индоевропейского, алтайского, уральского, дравидийского, картвельского и афразийского языков между собой.

Ностратическое языкознание существенно расширило кругозор исследований. Как писал Платон, научный исследователь, «продвигаясь к неизвестному, приходит к истинным началам всего и, лишь постигнув их, ... вновь нисходит» («Государство», §509d-). Именно такое значение имеет ностратика для исследования индоевропейских языков. Появилась возможность подтвердить многие гипотезы о развитии и происхождении отдельных элементов и целых систем грамматической структуры языка. Если до возникновения ностратики исследователи индоевропейской морфологии вынуждены были ограничиваться внутренними данными семьи, то с ее появлением область исследований многократно расширилась. Доказательство родства языков ностратической макросемьи позволяет уточнить и более детально проанализировать многие аспекты морфологической системы индоевропейских языков.

В первом томе «Опыта сравнения ностратических языков» (1971) В.М.Иллич-Свитыч приводит краткий сравнительный анализ реконструкции ностратических личных местоимений и показателей лица глагола, подробный анализ некоторых из них нашёл отражение в томе втором (1976). Многим из приводимых форм сопутствует знак вопроса, которым автор показывал свою недостаточную уверенность в правильной реконструкции форманта или его семантики.

Последние изыскания В.М.Иллич-Свитыча в области морфологии личных местоимений нашли отражение в черновике его статьи «Основные черты праязыка ностратической языковой семьи», написанной, по-видимому, в 1965 году. Материалы этого черновика были систематизированы и опубликованы В.А.Дыбо в его статье (Dybo 2004). Здесь также довольно много туманных форм, текст пестрит вопро-

сительными знаками. К тому же реконструкция показателей никак не обосновывается ссылками на фактический материал.

А.Б.Долгопольский был первым, кто удостоил реконструкцию личных местоимений ностратического праязыка отдельного исследования (Dolgopolsky 1984), касаясь этого вопроса также в ряде других работ (Долгопольский 1972, Dolgopolsky 2005), а также в готовящемся к печати «Ностратическом словаре» (ND). Черновая версия словаря содержит детальные статьи по отдельным формантам лица, при этом автор логично не проводит разграничения между независимыми и связанными показателями. А.Б.Долгопольскому принадлежит обоснование гипотезы о преимущественно аналитическом характере ностратической морфологии и последующей грамматикализации ранее самостоятельных синтаксических элементов при создании системы индоевропейского глагольного спряжения (Dolgopolsky 2005).

Важную роль в разработке аппарата данных внешнего сравнения для реконструкции индоевропейской морфологии показателей лица сыграли работы Вяч.Вс.Иванова (1979, 1981, а также совместно с Т.В.Гамкрелидзе 1984). В частности, Вяч.Вс.Иванов значительно продвинул вперед обоснование на ностратическом материале известной современной гипотезы о двух сериях индоевропейских личных глагольных окончаний, а также (в т.ч. совместно с Т.В.Гамкрелидзе) разработал гипотезу об активной типологии раннеиндоевропейского глагола. Описанная в той же работе точка зрения о ранговой структуре индоевропейских глагольных словоформ позволила более точно систематизировать личные показатели в языке.

В последнее время Вяч.Вс.Иванов пришёл к выводу о существовании в ностратическом праязыке двух серий личных

местоимений – а именно прямого и косвенного (устное сообщение, 2007). Эта точка зрения поддерживается и обосновывается в настоящей работе.

В 1980-е годы С.А.Старостину удалось доработать методику дальнего сравнения между праязыками и сделать важный шаг в направлении доказательства теории макросемей. В своем исследовании (1984) С.А.Старостин доказал существование второй – сино-кавказской – макросемьи языков, чем в значительной степени упрочил теоретический базис всей теории дальнего родства языков.

Внешнему сравнению изучаемого аспекта индоевропейской морфологии с морфологией других языков ностратической макросемьи посвятили ряд исследований российские и зарубежные исследователи: Е.А.Хелимский (1982, 2000), П.Хайду (1985), Б.Коллиндер (Collinder 1960), А.Бомхард (Bomhard 2003), Дж.Гринберг (Greenberg 1997, 2000), Ф.Кортландт (Kortlandt 2004), В.Блажек (Blažek 1995) и другие.

В данной работе мы придерживаемся ностратической гипотезы В.М.Иллич-Свитыча в том доработанном виде, в каком она представлена в трудах его последователей в течение последних двух десятилетий. Мы исходим из положения, что ностратическая макросемья языков существует, и в её рамках может быть проведено внешнее сравнение индоевропейских языков с языками других семей Евразии.

Подобное убеждение автора настоящего исследования основывается на нескольких базовых соображениях.

Прежде всего, мы исходим из наличия регулярных фонетических соответствий, установленных для языков различных семей Евразии В.М.Иллич-Свитычем (1971), А.Б.Долгопольским (Dolgopolsky 1998), С.А.Старостиным с соавторами (EDAL) и другими представителями ностратиче-

ского языкознания. Данные соответствия хорошо обоснованы с помощью обширного корпуса лингвистических данных и со строгой опорой на общепринятый сравнительный метод в языкознании. Система фонетических соответствий между ностратическими языками и реконструкция фонетической системы самого ностратического праязыка, впрочем, продолжают постоянно уточняться в настоящее время в трудах как российских, так и зарубежных лингвистов, многие из которых названы выше.

Во-вторых, наличие ностратической макросемьи языков доказывается данными лексикостатистики и глоттохронологии, успешно применяющимися в последние десятилетия для уточнения генеалогической классификации языков мира. Уточнённый метод глоттохронологии, доработанный С.А.Старостиным (Старостин 1989), значительно повысил планку достоверности анализируемых данных и позволяет на сегодняшний день исследовать генетические связи языков на глубине до 15-18 тысяч лет, в то время как существование ностратического праязыка постулируется на уровне 12-15 тысяч лет назад.

В-третьих, существует значительный корпус сравнительного материала служебных морфем, реконструируемых для ностратического праязыка. Безусловно, одной из наиболее разработанных категорий ностратической морфологии являются личные показатели (точнее, личные местоимения), однако существуют и другие классы морфем, реконструкцию которых на ностратическом уровне можно считать доказанной. Это ряд именных показателей синтаксических ролей, близких по значению падежным (аккузатив, генитив, возможно, датив), словообразовательные аффиксы, некоторые показатели глагольных категорий, указательные местоимения, показатели множественного числа. И хотя работа по ре-

конструкции логичной и взаимосвязанной ностратической морфологии на сегодняшний день находится лишь на начальном этапе, уже можно говорить о некоторых подсистемах морфологии, существование которых доказано с использованием сравнительно-исторического метода.

В этой связи мы считаем возможным опираться в данном исследовании на достижения ностратического языкознания.

Следует отдельно остановиться на вопросе о классификации ностратических языков, так как от этой нашей позиции зависит объём привлекаемого для анализа языкового материала.

Ностратическая гипотеза, предложенная в 1960-х годах двадцатого века В.М.Иллич-Свитычем, включает в состав макросемьи шесть семей языков: индоевропейскую, дравидийскую, алтайскую, уральскую, картвельскую и семитохамитскую (афразийскую). А.Б.Долгопольский, приблизительно в то же время разработавший свою «сибироевропейскую» гипотезу, вводит в состав макросемьи также эскимосско-алеутские языки – их ещё в начале двадцатого века причислял к ностратическим Х.Педерсен, – однако исключает дравидийские (Долгопольский 1964; 1965). В своих последующих работах (Dolgopolsky 1984) он также принимает гипотезу о генетическом родстве ностратических языков – уже вместе с дравидийскими – с чукотско-камчатскими и нивхскими языками.

В 1990 году С.А.Старостин сделал вывод о значительно более отдалённом родстве афразийских языков с другими ностратическими, чем последних между собой (Starostin 1990). В дальнейшем эту точку зрения поддержали другие исследователи, в т.ч. А.Манастер-Рамер и В.В.Шеворошкин, заметив, что афразийский является скорее «сестрой» ностра-

тического, нежели «дочерью» (Shevoroshkin -Manaster Ramer 1991). Подобное мнение в настоящее время разделяет, как кажется, большинство ностратистов.

В то же время учёные ностратической школы провели ряд исследований, сблизивших языки основных семей Евразии с чукотско-камчатскими и эскимосско-алеутскими. Особенно следует отметить работы А.Н.Головастика, А.Б.Долгопольского (Dolgopolsky 1972), а также О.А.Мудрака (Mudrak 1989; Мудрак 2000).

Представители американской школы дальнего родства занимают по вопросу классификации языков позиции, всё более сближающиеся с современными воззрениями т.н. «московских ностратистов». В частности, Дж.Гринберг объединяет в состав «евразийской» макросемьи индоевропейские, алтайские, уральские, чукотско-камчатские, эскимосско-алеутские, нивхский и айнский языки, признавая в то же время, что картвельские и афразийские также имеют основания для констатации генетического родства с «евразийскими» (Greenberg 1987; 2000). Последняя работа А.Бомхарда объединяет позиции Гринберга и точку зрения классической ностратики, добавляя сюда же этрусский, шумерский и эламский языки (Bomhard 2003).

Таким образом, можно считать общепризнанным тот факт, что основные языковые семьи Евразии находятся между собой в отношениях генетического родства. При этом степень этого родства между отдельными семьями может быть различной.

В настоящей работе мы принимаем именно такую точку зрения. При сравнительном анализе в настоящей работе используются данные следующих языков, генетическое родство которых с индоевропейскими может считаться доказанным:

- алтайские;
- дравидийские;
- картвельские;
- уральские;
- афразийские;
- чукотско-камчатские;
- эскимосско-алеутские.

В то же время ностратическими будут именоваться по традиции лишь первые четыре из них, а также собственно индоевропейский, составляющие вместе «ядро» макросемьи. Материал трёх последних языковых семей используется в качестве вспомогательного или даётся в качестве информации для будущего анализа. В отдельных случаях привлекаются также данные древних языков Европы и Передней Азии – таких, как этрусский, шумерский, эламский, а также малых изолированных языков Дальнего Востока – нивхского и айнского. Несмотря на недоказанность их генетического родства с ностратическими, их включение в анализ оправдывается в том числе и тем, что все они находились в тесном контакте с теми или иными индоевропейскими и – шире – ностратическими языками, а следовательно, могли разделять с ними определённые ареальные особенности.

§ 3. Роль типологии при сравнительно-историческом анализе

Большую роль при реконструкции и анализе происхождения индоевропейских показателей лица должны сыграть работы по лингвистической типологии, ставшей в двадцатом

веке одним из важнейших направлений научного развития лингвистики.

Значение данных лингвистической типологии для сравнительной морфологии в современный период неуклонно возрастает, позволяя оценить многие гипотетические реконструкции с теоретической точки зрения и построить логичные парадигмы морфологических показателей. Современная сравнительная морфология не может уже, подобно трудам середины XX века, ограничиваться реконструкцией некоторого количества служебных морфем с расплывчатыми синтаксическим значением. Сегодня реконструкция морфологии праязыка – это воссоздание целостных систем, функционирующих в языке и подверженных таким же закономерностям, как и системы живых языков. Данные типологии позволяют провести более качественный системный анализ, построить непротиворечивые парадигмы морфологических показателей и, таким образом, аргументировать многие процессы доисторического развития языка либо, напротив, поставить под сомнение многие гипотезы из-за их типологической необоснованности. Особенную роль при этом, как отмечал С.А.Старостин, играют данные не синхронной, а диахронической типологии, т.е. типологии языковых изменений. На основании материала исторически засвидетельствованных языков можно делать вывод о том, какие пути развития более или менее характерны для языков мира вообще, в т.ч. и для праязыков (Бурлак – Старостин 2005: 185).

Конечно, не стоит ставить типологические данные во главу угла реконструкции – они были и останутся лишь вспомогательным материалом. Причина этого в том, что лингвистическая типология как научная дисциплина ещё очень молода, и объём обработанного типологами материала не столь ве-

лик, чтобы делать выводы об универсальных законах развития человеческого языка. Поэтому-то столь много постулированных когда-то «универсалий» было впоследствии опровергнуто находками какого-либо затерянного языка, демонстрирующего, казалось бы, непостижимые характеристики. По словам Л.Блумфилда, «явления, которые мы считаем универсальными, могут отсутствовать в первом же новом языке, с которым мы столкнёмся» (Блумфилд 1999: 34).

Тем не менее, учение Дж.Гринберга о лингвистических универсалиях, хотя и носит явно несовершенный характер, внесло свой вклад в типологическую систематизацию языков мира и представляет собой вспомогательный материал в т.ч. для анализа парадигм показателей лица в различных языках мира.

Особенное развитие типологическое языкознание получило в трудах американской лингвистической школы, основанной на трудах Дж.Гринберга (Greenberg 1963), Т.Гивона (Givón 1971), П.Хоппера и Э.Трауготт (Hopper – Traugott 2003) и других. В Европе такое же значение имели труды участников Пражского лингвистического кружка, в т.ч. Н.С.Трубецкого (1987), Р.О.Якобсона (Jakobson 1962, Якобсон 1963). Так, именно Р.О.Якобсон говорил о важной роли типологических данных при сравнительно-историческом анализе и праязыковой реконструкции: «Конфликт между реконструированным состоянием языка и общими законами, которые открывает типология, делает реконструкцию сомнительной... Реалистичный подход к технике реконструкции – это ретроспективный путь от одного состояния к другому и структурное соответствие каждого из этих состояний данным типологии» (Jakobson 1962: 528-529).

Одним из важных типологических достижений, которое необходимо использовать при сравнительно-историческом анализе личных показателей, является установленное фундаментальное различие между показателями первых двух лиц и показателями третьего лица.

В лингвистической литературе общепринято мнение, что «существует фундаментальная разница между первым и вторым лицами, с одной стороны, и третьим лицом, с другой» (Lyons 1977: 638). Эта разница обычно объясняется тем, что первое и второе лица обозначаются личными показателями, в то время как третье лицо в языке может быть выражено любой именной лексической единицей. Очевидно, именно поэтому во множестве языков при наличии показателей первых двух лиц третье лицо не имеет особых показателей.

Столь же распространённым явлением в языках мира считается использование для обозначения не-именного третьего лица указательных местоимений. Типологически демонстративы в абсолютном большинстве языков мира являются источником происхождения личных местоимений третьего лица, то же можно с уверенностью сказать о многих языках ностратической макросемьи, напр. дравидийских (Старостин 2006: 102), алтайских, уральских, а также афразийских (Гранде 1972: 203). В результате многие лингвисты называют третье лицо «не-лицом», не включая его и вовсе в систему личных показателей (Benveniste 1971).

Маркеры третьего лица в индоевропейских языках также происходят из указательных местоимений и требуют совершенно иного подхода к их реконструкции и морфологическому анализу, нежели показатели 1-2 лица. Во множестве случаев, кроме того, формы третьего лица глагола являются немаркированными, т.е. не имеют личного окончания, что позволяет предположить вариант с нулевым окончанием и

для индоевропейского праязыка. В этой связи в настоящем исследовании анализ будет ограничен показателями первого и второго лица.

Среди типологических исследований по нашей тематике необходимо отметить важнейшие работы по синхронному исследованию и систематизации маркеров лица в различных языках мира. В качестве наиболее современных научных вех в этой области можно отметить работы Г.Корбетта (Corbett 2006), А.Северской (Siewierska 2004), М.Сисоу (Cysouw 2003), в которых детально анализируются и сопоставляются различные системы и парадигмы показателей лица в различных языках, приводятся важные статистические данные на больших массивах языкового материала, делаются отдельные выводы по диахроническому развитию маркеров лица в языках мира, в т.ч. в индоевропейских языках.

В отечественной литературе также существует ряд качественных современных работ по типологическому языкознанию. Применительно к грамматическим исследованиям, можно выделить труды И.А.Мельчука (1997-2006) и В.А.Плунгяна (2003) по общей морфологии.

Глава 1

Типология происхождения и развития показателей лица в языках мира

§ 4. Типологическая классификация показателей лица

Личные показатели в языках мира представляют собой одну из наиболее распространённых и стабильных языковых категорий и один из самых любопытных предметов изучения в лингвистике. Немало исследований посвящено типологии показателей лица, системам их функционирования, структурному разнообразию и вариабельности.

Кроме того, довольно давно был открыт феномен хронологической стабильности показателей лица в системе языка. Они редко поддаются заимствованию, могут сохранять свою материальную форму в языке на протяжении нескольких тысячелетий и потому представляют значительный интерес для сравнительно-исторического языкознания. Сравнение отдельных личных местоимений и глагольных формантов лица нередко служит одним из краеугольных камней доказательства родства языков – конечно, имеется в виду материальная форма лексем, выражающих понятие лица, а не парадигматическая структура показателей – последняя как раз, как будет не раз отмечено ниже, довольно легко заимствуется как отдельными элементами, так и целиком. Но показатели лица как лексические единицы вполне приравниваются компаративистикой к базовой лексике языка и потому тщательно исследуются при историческом анализе. Неудивительно, что с момента зарождения исторической лингвистики личные показатели в течение уже двух столетий продолжают привле-

к себе внимание языковедов всего мира с диахронической точки зрения.

Одним из важных вопросов, который необходимо рассмотреть при определении термина «показатели лица», является содержание этого понятия. В качестве личных показателей в языке могут выступать форманты следующих категорий, разделённых по принципам синтаксической независимости и роли в предложении:

а) независимые личные показатели, в том числе, но не только, личные местоимения;

б) личные показатели в составе глагольной словоформы, нередко (и не только во флективных языках) выражающие несколько категорий, объединённых в единую морфему (напр., в агглютинативном турецком *-k* – показатель первого лица, множественного числа и прошедшего времени);

в) личные показатели при имени, подразделяемые на посессивные (типа тур. *ata-m* ‘мой отец’) и предикативные (типа селькуп. *kum-ak* ‘я (есмь) человек’);

г) личные показатели при служебных частях речи, типа ирландских местоименных предлогов (*ag-am* ‘у меня’); подобные комплексы в диахронической перспективе, конечно же, происходят из более древнего субстантивного имени с посессивным показателем лица.

Рассмотрение показателей лица как языковой категории должно включать в себя анализ всех четырёх групп при их наличии в анализируемом языке. Это важно учитывать как при типологическом, так и – особенно – при сравнительно-историческом исследовании личных показателей, их происхождения и развития в языке. И вот почему.

Утверждения о том, что выражение первого и второго лица является языковой универсалией, по-видимому, верны. Вопрос лишь в том, являются ли их выразители в языке лек-

сическими или обособлены в отдельный класс в системе морфологии. По этому критерию языки мира можно смело разделить на два чётких типа по способу выражения – лексические и грамматические. В первом случае морфология языка не содержит отдельного класса показателей лица (то есть личных местоимений), однако понятия «я», «ты» как в единственном, так и в других числах выражаются с помощью полнозначных лексических единиц. Таким образом, широко распространённая точка зрения о существовании языков, не содержащих личных показателей, неверна, так как подменяет понятия: да, безусловно, существуют языки без личных местоимений, но языков без средств выражения категории лица – не существует.

Современный взгляд на проблему (Siewierska 2004: 247) позволяет взглянуть на независимые личные показатели шире, чем контекст собственно личных местоимений. Ранее ряд исследователей приводили изолирующие языки Юго-Восточной Азии как пример отсутствия собственно показателей лица – прежде всего во вьет-мыонгских, таи-кадайских и ряде бирманских языков, где не только не проводится глагольного спряжения по лицу, но и не существует отдельного класса независимых личных местоимений. Однако отсутствие такой части речи, как местоимение, или такой категории глагольного словоизменения, как лицо, вовсе не означает, что такая категория отсутствует в языке в целом. Она может быть выражена с помощью иных лексических средств: прежде всего имён и их сочетаний.

Дж. Кук (Cooke 1968) приводит несколько терминов референции к первому и второму лицу в тайском языке, напр.:

klâaw-1-kraphǒm (букв. «волос головы») – используется для выражения значения 1 л. при обращении к вышестоящему по социальному статусу;

tâaj Ithàaw'2 (букв. «внизу нога») – используется для выражения 1 л. при обращении к высокому руководству;

По подсчётам Дж. Кука, всего в тайском насчитывается 27 таких лексических форм, используемых для выражения первого лица, и 22 формы для выражения второго лица. Все они ведут своё начало из однозначных лексических единиц в виде имён существительных или имён-компонитов. В то же время устоявшихся местоимений в традиционном понимании этого термина в языке не существует.

Во многом аналогичная ситуация наблюдается и в китайском языке, где маркеры лица постоянно возникают из имён со смежными значениями («сам, тело», «лично», «основной»), и их жизненный цикл составляет, как правило, несколько столетий. В китайском письменном языке насчитывается до десятка терминов со значением «я» (Иванов, Поливанов 2001: 42-48), и все они по своему происхождению – имена.

§ 5. Роль грамматикализации при развитии систем показателей лица

Приведённый краткий анализ позволяет перейти к вопросу о происхождении личных показателей в языке. Этот вопрос для исторического языкознания безусловно важен. По-видимому, даже такая стабильная и устоявшаяся система, как система независимых личных местоимений в индоевропейских языках, где эта часть речи, по-видимому, функционирует в течение уже много тысячелетий, не является первородной данностью. Типологический анализ языков мира позволяет применить к анализу развития показателей лица принципы грамматикализации, постепенного формирования неза-

висимого класса личных показателей из более ранних самостоятельных полнозначных лексем.

Ключевое понятие грамматикализации стало своеобразным мостом между хронологическими стадиями развития языка с различным морфологическим строем. Одно из определений этого понятия дал в своё время Т.Гивон: известно его крылатое изречение «сегодняшняя морфология – это вчерашний синтаксис» (Givón 1971: 413). Т.Майсак замечает, что «грамматика получается из лексики, потому что иначе ее неоткуда было бы взять»¹. В этих случаях мы имеем дело с процессом грамматикализации, процессом превращения лексической единицы в грамматический показатель (Майсак 2002).

Идеи грамматикализации были высказаны ещё на заре сравнительно-исторического языкознания в начале XIX века, когда В. фон Гумбольдт сформулировал популярную в то время точку зрения о стадиях развития языка от «примитивного» к «современному». Согласно этой концепции, синтаксический строй языка проходит фазы от изолирующего через агглютинирующий к флективному, и в ходе этого процесса прежде независимые лексические единицы приобретают морфологический статус аффиксов и флексий (Humboldt 1825).

В конце XIX века идея грамматикализации получила новое качественное развитие в трудах Г. фон дер Габеленца. В противовес В. фон Гумбольдту, он предположил, что процесс языковых изменений является не линейным, а скорее закольцованным, так как отпадение старых и создание новых грамматических форм происходит в языке постоянно. Более того,

¹ Что не совсем точно: нередко новые грамматические конструкции появляются в результате процесса переразложения старых.

этот процесс Г.Габеленц представлял себе не как круг, а скорее как спираль, на которой новые грамматические формы не воспроизводят старые по материальной форме, так как происходят из других лексических единиц, однако напоминают их по своему значению (Gabelentz 1891).

Однако родоначальником самого термина «грамматикализация» является А.Мейе, который, очевидно, первым осознал огромное значение этого процесса для теории языковых изменений в целом. По его мнению, грамматикализация как «сведение независимого слова к роли грамматического элемента» наряду с аналогией является одним из двух основных механизмов изменений в языке (Meillet 1912).

Процессы грамматической эволюции и в особенности грамматикализации вновь стали предметом интенсивного теоретического обсуждения в западной лингвистике приблизительно с 70-х годов двадцатого века. Ключевыми работами в рамках теории грамматикализации являются прежде всего монографии К.Лемана (Lehmann 1982), Б.Хайне (Heine – Reh 1984; Heine 2003), П.Хоппера и Э.Трауготт (Hopper – Traugott 2003; Traugott 2003), а также работы Дж.Байби и Э.Даля по типологии грамматических категорий в языках мира (Bybee 1985; Dahl 1985; Bybee – Dahl 1989), в особенности (Bybee 1994, 2003).

С развитием и утверждением теории грамматикализации в сравнительном языкознании теория происхождения формообразовательных элементов морфологии языка из прежних самостоятельных лексических единиц была широко принята лингвистами всего мира. Нередко не только аффиксация, но и внутренняя флексия – например, в семитских языках – объясняется компаративистами как результат интеграции ранее самостоятельных элементов в состав корня (Гранде 1972).

Одним из основных понятий в современном понимании процесса грамматикализации является т.н. «градиент» (англ. *cline*, термин впервые предложен М.Халлидеем [Halliday 1961]). Лексические единицы и конструкции не испытывают резкой трансформации в грамматические формы – этот процесс является постепенным и проходит несколько обязательных стадий, которые можно обозначить следующим образом (Hopper – Traugott 2003: 7):

независимая лексема > служебное слово >
>клитика > аффикс > ноль

Смысл этого процесса нуждается в небольшом пояснении. На первой стадии независимая в языке лексическая единица в определённом смысловом контексте начинает играть роль грамматическую роль, например, употребляться в составе композитной глагольной конструкции типа лат. *aedem habuit tuendam* ‘он имел дом, за которым (нужно было) смотреть’. Здесь глагол *habere* употребляется в своём прямом значении ‘иметь’, однако носитель языка – как и современный переводчик-романист – скорее воспринял бы *habuit tuendam* уже как комплексную конструкцию, литературным значением которой является ‘он должен был смотреть’. Первоначальная синтаксическая схема *aedem – habuit – tuendam* постепенно начинает восприниматься как *aedem – habuit tuendam*. Подобное положение глагола *habuit* в отечественной литературе называется ещё «полуклитикой» (Плунгян 2003: 29-33)

На втором этапе «служебное слово» (по П.Хопперу – Э.Трауготт) обретает черты полноценной клитики – в частности, если речь идёт о глагольной конструкции, то вспомогательный глагол теряет своё самостоятельное значение и служит лишь для выражения значения смыслового глагола –

видо-временного или модального. В старославянской фразе *Ходиль есмь* форма вспомогательного глагола *есмь* является составной частью глагольной формы перфекта, со смысловым глаголом *ходити*. Она присутствует здесь, т.к. передаёт грамматические значения 1 лица, единственного числа, а также времени – всё это в отличие от причастия *ходиль* – однако никакого лексического значения уже не имеет.

Наконец, в результате универсальной языковой тенденции к рационализации речевого потока говорящего (Плунгян 2003: 66-67) происходит сращивание двух первоначально независимых элементов в единую словоформу. Латинское *cantare habeo* становится французской флективной формой *chanter-ai* ‘буду петь’, а вышеупомянутая старославянская форма грамматикализуется в польском *chodzileśm* ‘я ходил’. Исходя из этого, приведённый выше хронологический процесс градиента для глагольных форм будет выглядеть следующим образом (Норрег – Traugott 2003: 110-114):

смысловый глагол > вспомогательный глагол >
>клитика > аффикс

Таким образом, можно уточнить высказывание Т. Гивона «Сегодняшняя морфология – это вчерашний синтаксис» – и позавчерашняя лексика, добавим мы. Именно в работе Т. Гивона впервые на примерах различных языков мира (преимущественно африканских) проведён детальный анализ процесса грамматикализации в отношении показателей лица. В частности, автор показал, как ряд ныне флективных личных глагольных форм возводится к сочетаниям глагола и личного местоимения.

Понимание грамматикализации очень важно именно при анализе показателей лица в диахроническом разрезе, т.к. типологическая картина развития языка даёт дополнительную

опору при реконструкции праязыкового состояния – особенно там, где засвидетельствованных данных сравнительного анализа бывает недостаточно для доказательного обоснования гипотезы. Анализ процессов грамматикализации в языках мира позволяет выявить общие закономерности и направления развития грамматических форм в языке, в том числе, безусловно, и показателей лица. Тем ценнее использование данных такого типологического и сопоставительного анализа при исследовании показателей лица в индоевропейском с применением данных дальнего родства языков. В данной работе указанные данные будут широко использоваться для подкрепления сравнительно-исторического анализа.

В результате утверждения теории грамматикализации возникла логическая необходимость рассматривать все четыре группы показателей лица, обозначенные выше, не как обособленные элементы в морфологической системе, а как взаимосвязанную систему, имеющую элементы общего происхождения. Взаимное проникновение одного типа показателей в другой спаивает в единую диахроническую систему форманты, обозначающие в языке категорию лица, а диахронический процесс грамматикализации нередко связывает все четыре группы показателей лица единством происхождения.

§ 6. Лексические источники происхождения показателей лица

Каковы основные источники происхождения показателей лица в языках мира?

Как было нами отмечено ранее в специальном исследовании (Бабаев 2007), одной из основных исходных лексических единиц является имя существительное. Имена в языках мира

являются наиболее распространённым кросс-лингвистическим источником образования личных местоимений, в т.ч., что можно показать наиболее широко, неопределённо-личных (нем. *man* < *Mann* ‘человек’), а также личных местоимений всех трёх лиц.

При этом можно назвать целый ряд значений, которые в результате процесса грамматикализации трансформируют полнозначные имена в личные местоимения. Среди наиболее распространённых лексем, служащих источниками образования независимых личных местоимений, можно назвать следующие:

1 л.: *сам, тело, лицо, существо, жизнь, основной, раб, слуга* (см. также [Суник 1978]);

2 л.: *господин, хозяин, остальной;*

3 л.: *вещь, человек, мужчина, тело, другой;*

Тем не менее трансформации не ограничиваются этими конкретными случаями: нередко встречаются случаи, когда имя со значением *человек / мужчина* трансформируется в местоимение 1 л., как это произошло в нило-сахарском языке нгити, где лексема *alɛ* ‘человек, люди’ проникла в систему личных местоимений и систему личных префиксов глагола в виде *lɛ- / l-* (Heine – Kuteva 2007: 68-69). Это может происходить и через посредство неопределённо-личного местоимения: так, франц. *on*, происходящее из лат. *homo* ‘человек’, из неопределённого превратилось в разговорной речи в личное местоимение 1 л. мн.ч., всё чаще заменяя привычное *nous* (*on dit* ‘говорят’, ‘мы говорим’).

Широко используются в качестве маркеров лица также имена собственные (ср. распространённую на Ближнем Востоке и в Южной Азии конструкцию типа *Абдул сделает* в значении «я сделаю»). Интересно, что в ходе экспериментов при изучении языка высших приматов шимпанзе и орангута-

ны, хотя и были ознакомлены с основными личными местоимениями, предпочитали употреблять вместо них собственные имена, что, быть может, свидетельствует об аналогичной стадии в раннем языке человечества, когда личных местоимений как таковых ещё не существовало (Heine – Kuteva 2007: 139-140).

Подобный список лексем можно продолжить; его составление чрезвычайно важно для сравнительно-исторического анализа, так как может во многих случаях дать ключ к вопросу о происхождении личных местоимений в ряде языков: становится понятнее, «где искать» лексические прообразы устоявшихся в языке местоимений. Это, безусловно, может помочь и при исследованиях в области индоевропейских языков и других языковых семей Старого Света, где личные местоимения являются древней и структурно обособленной частью речи, но их происхождение остаётся во многих случаях неясным.

Вторым возможным источником происхождения личных показателей могут являться указательные местоимения. Ранее эту гипотезу на материале некоторых языков мира высказывал Ф. Блэйк (Blake 1934), указывая на тождество дейктической функции тех и других. Н.А.Баскаков выводит тюркские личные местоимения трёх лиц из трёх соответствующих градаций демонстративов в форме родительного падежа: **bul* ‘этот, у меня’ > **bi-nuŋ* ‘этого, это нечто’ > **ben* ‘я’ (Баскаков 1981: 62-63). Эта точка зрения не получает подтверждения, но материальное родство между парадигмами личных и указательных местоимений, безусловно, имеет генетические корни.

С типологической точки зрения развитие значения «я» из дейктического «это, у меня в руке» нельзя не назвать логичным, так же, как и широко распространённое противопостав-

ление трёх степеней удалённости указательных местоимений, соответствующее трём лицам. В японском языке словосочетание *kono ho* может употребляться как в прямом значении «эта сторона», так и при указании на первое лицо (аналогично *sono ho* «та сторона» – в значении 2 л.) (Бюлер 2000: 125).

Особенно широкие типологические корреляции существуют, безусловно, между демонстративами и местоимениями 3 лица. В таком языке, как баскский, любое указательное местоимение можно использовать для референции к третьему лицу, что, по-видимому, было верным и для такого языка, как народная латынь, предок романских языков. В абсолютном большинстве индоевропейских языков местоимения 3 л. произошли из демонстративов, что находит широчайшие типологические параллели в языках мира (Бюлер 2000: 93-95).

К той же точке зрения на примере индоевропейских языков присоединяются К. Бругман и Б. Дельбрюк: «Местоимения 3 л. нельзя четко отделить от указательных; нередко они совпадают с ними по смыслу... Но и местоимения со значением «я» и «ты», по-видимому, первоначально были, по крайней мере отчасти, демонстративами, чем могла бы объясняться, допустим, этимологическая связь греч. ε μ ο υ и т.д. с др.-инд. *amah* 'этот здешний' или др.-инд. *te*, греч. τ ο ι , лат. *tibi* и т.п. с др.-инд. *tam*, греч. τ ο υ (указание на предмет речи, не принадлежащий сфере «я», но находящийся прямо перед говорящим)» (Brugmann, Delbrück 1916: 306-307).

Местоимения 1-2 лица действительно имеют во множестве языков очевидную связь с демонстративами. Связь между всеми тремя лицами местоимений и тремя степенями демонстративов очевидна, например, в армянском языке, где демонстративные маркеры *-s*, *-d*, *-n* фактически функциониру-

ют в качестве личных показателей, напр. *ter-s* может означать и «этот господин», и «я» (Brugmann 1904: 43).

В индоевропеистике хорошо известна гипотеза об общем происхождении номинативного местоимения первого лица ед.ч. **eg'ho(m)* и дейктической частицы **ghe/o*. В латыни последняя стала источником происхождения ближайшего указательного местоимения *hic* (основа **ho-*). Ряд исследователей полагают, что показатели 2 и 3 лица в индоевропейских лицах **-s* и **-t-* возникли из различных основ указательного местоимения **so-/to-* (Савченко 1960: 12-13). С типологической точки зрения происхождение личных маркеров третьего лица из маркеров дейксиса – вполне распространённое явление.

В-третьих, можно назвать ряд примеров того, как личные местоимения кристаллизуются в языке путём грамматикализации старых финитных глагольных форм. Это процесс, связанный с обновлением системы личного маркирования: композитные конструкции, состоящие из глагола и личного аффикса, заменяют собой независимые личные местоимения. Как правило, в качестве глагольной основы в таких композитах выступают формы вспомогательного глагола «быть» («*copula verb*» в западной литературе), оформленного показателем лица.

Возможно, одним из наиболее известных (и в высшей степени дискуссионных) примеров является уже упомянутое выше индоевропейское личное местоимение первого лица ед.ч. в им.п. **eg'hom/egō*. Затемнённость его происхождения позволила выдвинуть, в частности, версию о том, что по структуре данное местоимение является древней глагольной формой, образованной при помощи нормальных личных окончаний 1 л. – соответственно, атематического **-m* и тематического **-ō*, различных по диалектам. Типологическую параллель такого рода развития можно легко найти в семит-

ских языках, где независимые личные местоимения являются по происхождению глагольными формами – черта, восходящая, по-видимому, к афразийскому праязыку (Орел 1990). Впрочем, эта гипотеза для индоевропейского местоимения не может быть подтверждена, пока не определено синтаксическое значение смыслового глагола данной формы.

А.Северска в своём исследовании перечисляет примеры местоименных парадигм, построенных на основе спрягаемых форм глагола, в омотских и кушитских языках афразийской семьи, а также в айнском языке (Siewierska 2004: 255-260). Примеры вспомогательного глагола «быть» в рамках личной глагольной формы кушитского языка бедауйе приводит Б.М.Гранде (Гранде 1972: 235).

В современной польском языке спрягаемая глагольная форма перфекта происходит из древнего сочетания причастия на *-l- с личной формой вспомогательного глагола «быть». Сращивание этих двух изначально обособленных синтаксических элементов в конструкцию типа *padleśm* ‘я упал’ – один из многочисленных примеров аналогичного развития старых аналитических видо-временных форм во флективные личные конструкции в новых индоевропейских языках как Европы, так и Азии.

Таковы, на наш взгляд три принципиальных источника лексического происхождения показателей лица в языках мира. Данный типологический анализ позволит привлечь дополнительные данные при реконструкции системы показателей лица в индоевропейском и ностратическом праязыках, которая будет проведена в настоящем исследовании.

Глава 2

История реконструкции и гипотезы происхождения индоевропейских показателей лица

§ 7. История реконструкции парадигмы личных местоимений индоевропейского праязыка

Не только внешний вид отдельных личных местоимений, но и строение местоименной парадигмы в целом довольно легко восстанавливается для индоевропейского праязыкового состояния. Индоевропейские языки, где личные местоимения первых двух лиц с глубокой древности являлись чётко обособленным классом в грамматической системе, сохранили без существенных изменений праязыковую структуру парадигмы и семантику местоимений.

В первой половине девятнадцатого века исследованиями в области морфологии для индоевропейского праязыка была установлена парадигма личных местоимений, состоящая из трёх форм лица и двух форм числа и в целом отражающая состояние в латинском языке.

Таблица 2.1.

	ед.ч.	мн.ч.
1 л.	<i>*ego(m)</i>	<i>*nōs</i>
2 л.	<i>*tū</i>	<i>*vōs</i>

Однако уже такая парадигма, по набору граммем отражающая современное состояние европейских языков – романских, германских, славянских, – для праязыкового уровня оказалась явно непрочной из-за особенностей форм

третьего лица. Наличие в современных индоевропейских языках личных местоимений третьего лица бесспорно, однако бросаются в глаза упомянутые выше грамматические и синтаксические различия между 1-2 лицами, с одной стороны, и 3 лицом, с другой стороны. Местоимения третьего лица имеют категорию рода, по-иному строят множественные формы; наконец, повсеместное происхождение их из различных указательных местоимений заставило исследователей «младogramматической» школы говорить о первоначально четырёхчленной парадигме личных местоимений именительного падежа как в индоевропейском языке, так и в древних языках Европы и Азии – латинском, греческом, санскрите и других (приводится по [Семереньи 1980: 231]):

Таблица 2.2.

Лицо \ число	ед.ч.	мн.ч.
1	<i>*egō, *eg(h)om</i>	<i>*weī-, *ḡsmes</i>
2	<i>*tū / *tu</i>	<i>*yūs, *usmes (uswes?)</i>

Выше приведены лишь номинативные формы парадигмы, восстановленной младogramматистами. Они же реконструировали и систему из четырёх косвенных падежей: аккузатива, генитива, аблатива и датива. Между тем, по мнению А.Н.Савченко, «падежные окончания личных местоимений в индоевропейских языках совершенно различны и не возводятся к архетипам» (Савченко 1974: 237). По его мнению, для праязыковой общности можно говорить только об общих основах местоимений – а именно прямой и косвенной.

Истина, на наш взгляд, лежит посредине между двумя этими точками зрения: для индоевропейского праязыка прочно реконструируются формы номинатива и генитива – последний образован от косвенной основы (см. подробные

парадигмы личных местоимений индоевропейских языков в Приложении 1).

Другим вопросом для размышления оказались местоимения двойственного числа, засвидетельствованные во множестве индоевропейских языков. Их наличие, в частности, в древнейших индоиранских и архаичных балто-славянских языках было признано индоевропейским архаизмом, и праязыковая парадигма приобрела новую форму.

Таблица 2.3.

Лицо \ число	ед.ч.	дв.ч.	мн.ч.
1 прям.	<i>*eg'(o)H(o)(m)</i>	<i>*wē</i>	<i>*mēs, *wēi-</i>
1 косв.	<i>*me-</i>	<i>*nō-</i>	<i>*nē- / nō- / ŋ-</i>
2 прям.	<i>*tū</i>		<i>*yūs</i>
2 косв.	<i>*tu- / *t-</i>		<i>*we- / *wo-</i>

Открытие данных анатолийских языков в начале двадцатого века внесло свои коррективы в реконструкцию указанной парадигмы. Анатолийские языки демонстрируют ряд глубоких архаизмов в системе грамматики – и вместе с тем отсутствие надёжных следов категории двойственного числа. Была высказана гипотеза о позднем возникновении дуалиса в индоевропейском уже после отпадения анатолийских диалектов (иногда называемого также «распадом индохеттского»). Однако дискуссия о хронологии происхождения двойственного числа в языкознании продолжается, и удовлетворительного ответа на этот вопрос сегодня не найдено.

Последней по времени из важных гипотез происхождения парадигмы личных местоимений стало предположение о наличии в индоевропейском праязыке категории инклюзива/эксклюзива. Данная гипотеза основана на реконструкции

сразу нескольких корней индоевропейских личных местоимений первого лица во множественном числе. Одним из типологически возможных объяснений такого разнообразия является раннее существование категории инклюзивности.

В работе Т.В.Гамкрелидзе и Вяч.Вс.Иванова (1984: 292-293). реконструируется следующая парадигма личных местоимений в праиндоевропейском:

Таблица 2.4.

Лицо \ число	ед.ч.	мн.ч.
1 инкл.		*wei- / *wes-
1 экскл.	*eg'hō(m), *me-	*mes
2	*tī, *(w)e-	*yūs, *ywes-

Тем самым декларируется, что праязыковое противопоставление личных местоимений существовало в двух числах, двух лицах и в категории инклюзивности / эксклюзивности (в 1 л. мн.ч.).

Вместе с тем доказательная база для такого вывода по данным внутренней реконструкции индоевропейского языка остаётся недостаточной. Среди индоевропейских языков нет примеров сохранения категории инклюзивности. Ссылки же на данные внешнего сравнения также представляются нам несостоятельными – эти данные подробно разбираются в Главе 3 настоящего исследования.

В наиболее актуальном по времени исследовании индоевропейской грамматики Р.Бикса (Beekes 1995: 208-209) мы видим возвращение к младограмматической парадигме личных местоимений в праиндоевропейском, содержащей падежные формы, с небольшими фонетическими инновациями:

Таблица 2.5.

	1 л. ед.ч.	2 л. ед.ч.	1 л. мн.ч.	2 л. мн.ч.
им.	<i>heg'(oH, Hom)</i>	<i>tuH</i>	<i>uei</i>	<i>iuH</i>
вин.	<i>hmé, hme</i>	<i>tué</i>	<i>nsmé, nōs</i>	<i>usmé, vōs</i>
род.	<i>hméne, hmoi</i>	<i>teue, toi</i>	<i>ns(er)o-, nos</i>	<i>ius(er)o-, vos</i>
отл.	<i>hmed</i>	<i>tued</i>	<i>nsméd</i>	<i>usmed</i>
дат.	<i>hméghio, hmoi</i>	<i>tébhio, toi</i>	<i>nsmei, ns</i>	<i>usmei</i>
мест.	<i>hmoí</i>	<i>toí</i>	<i>nsmi</i>	<i>usmi</i>
инстр.	<i>hmoí</i>	<i>toí</i>	?	?

Отметим, что реконструкция Р.Бикса содержит ряд ошибок, в частности, не учитывает балтийских данных при реконструкции долготы индоевропейских форм.

Повторимся, что реконструкция падежной парадигмы, в отличие от парадигматического соотношения лиц и чисел, представляется сомнительной из-за сильного разнообразия падежных форм по отдельным языкам. Большинство из приведённых в таблице 1.4. форм можно считать лишь диалектными.

Существует множество гипотез о лексическом происхождении отдельных местоимений в рамках парадигмы (и особенно, пожалуй, формы им.п. местоимения 1 л. ед.ч. **eg'Hom*). Предположения, основанные на внутреннем материале индоевропейских языков, где мало что осталось неизученным или неописанным, остаются спекуляциями, т.к. ни один из известных языков семьи не сохранил лексического источника личных местоимений в первозданном виде. Представляется необходимым существенно подкрепить реконструкцию парадигмы личных местоимений данными внешнего сравнения.

§ 8. История систематизации показателей лица индоевропейского глагола

Проблема происхождения личных показателей глагола была поднята учеными первой волны компаративистики, создателями индоевропейского сравнительно-исторического языкознания. Первые попытки реконструкции индоевропейского праязыка, предпринятые в начале девятнадцатого века, наглядно продемонстрировали, что реконструируемое состояние языка было высокофлективным, типологически сравнимым по структуре морфологии с древнегреческим языком или санскритом. На основании первых опытов сравнения лингвистами был сделан правильный вывод, что индоевропейский праязык уже использовал систему личных показателей глагола.

Антуан Мейе, один из наиболее ярких представителей «младограмматической» школы индоевропейского сравнительного языкознания, определяет глагольное спряжение в языках индоевропейской семьи как состоящее из трех элементов формоизменения:

- 1) личные окончания;
- 2) чередование гласных в корне;
- 3) место тонального ударения (Мейе 1938: 240).

Углубление исследований на протяжении девятнадцатого века позволило реконструировать материальную праформу множества личных показателей, которые были распределены исследователями по нескольким различным «сериям» или «рядам». База для реконструкции цельной системы глагольного спряжения для индоевропейского праязыка, таким образом, была сведена к воссозданию отдельных подсистем, или «рядов» флективных аффиксов, содержащих в себе указание как на лицо, так и на видо-временные значения словоформы.

Однако на сегодняшний день даже реконструкция таких подсистем на уровне праязыка индоевропейской семьи вызывает значительные разногласия. По словам О.Семереньи, «восстановление единой праиндоевропейской системы глагольных форм является наиболее сложной задачей сравнительной грамматики» (Семереньи 1980).

Существуют различные мнения относительно количества «рядов» окончаний, их праязыковых значений, а также источников их происхождения.

А.Мейе в своем исследовании опирается на традиционный подход и считает наиболее архаичными греческую и индоиранскую системы личных окончаний. В соответствии с ними, А.Мейе выделяет пять рядов личных окончаний глагола. Кроме того, как указывает А.Мейе, окончания некоторых рядов (если не всех) также подразделялись на два подряда – тематический и атематический. А.Мейе при этом обходит вопрос реконструкции индоевропейских праформ для многих личных окончаний – в частности, форм 1 л. дв.ч., 2 л. мн.ч. (Мейе 1938: 240-249).

Таблица 2.6.

	1 ед.	2 ед.	3 ед.	2 дв.	3 мн.
первичные актива атема- тические	<i>-mi</i>	<i>-si</i>	<i>-ti</i>	<i>-tā</i>	<i>-nti</i>
первичные актива тема- тические	<i>-ō</i>	<i>-ei / -ēi</i>	<i>-t</i>		<i>-nti</i>
вторичные актива	<i>-m / -n</i>	<i>-s</i>	<i>-t</i>		<i>-nt</i>
первичные медия	<i>-ai</i> <i>/ -mai</i>	<i>-sai</i>	<i>-tai</i>		<i>-ntai</i>

вторичные медия			<i>-e/o, - te/to</i>		<i>-nto, -r</i>
перфекта	<i>-w-</i>				
императива	<i>-</i>	<i>-0 / -dhi</i>			<i>-ntu</i>

Присущая младограмматической школе ориентация на данные древнегреческого и древнеиндийского языков вполне объяснима, так как именно эти языки обладают наиболее разветвленными, богатыми системами флективного глагольного спряжения: некоторые древнегреческие глаголы имеют до 250 различных форм словоизменения. На фоне общеизвестной тенденции к упрощению и выравниванию парадигм в исторических индоевропейских языках наиболее очевидным был вывод, что именно греко-арийская система представляет собой архаизм в сравнении с системами других групп языков.

Однако уже спустя несколько десятилетий существовавший в индоевропеистике излишний «крен» в сторону переоценки данных греческого и индоарийского языков был устранен. Этому способствовали в первую очередь более углубленное изучение и описание многих других древних языков индоевропейской семьи, а также прогресс в разработке методики лингвистической реконструкции.

Большое значение, как мы уже упоминали выше, имело открытие и описание в начале XX века языков анатолийской группы, прежде всего хеттского, глагольная система которого кардинально изменила взгляд исследователей на структуру индоевропейского спряжения. Встал вопрос о допустимости восстановления праиндоевропейских архетипов для всего корпуса личных окончаний, присущих различным языкам индоевропейской семьи. С одной стороны, не всякую флексию, найденную в языках отдельных групп языков, можно считать восходящим к праиндоевропейскому уровню – мно-

гие из них очевидно являются новообразованиями, такими, к примеру, как латинские личные формы имперфекта и футурума на *-b- (*ornābō, ornābam*). Многие из таких окончаний до сих пор не объяснены убедительно.

С другой стороны, возможность наличия новообразований нельзя исключать и для систем, считающихся наиболее архаичными, в т.ч. древнегреческой и древнеиндийской. После изучения хеттского языка ряд исследователей сделали вывод, что его система морфологии хронологически предваряет более развитую флективную систему санскрита (Kuryłowicz 1964). Если этот вывод верен, можно говорить о тенденциях не только к сокращению флективности в индоевропейских языках, но и, наоборот, к ее развитию в отдельных диалектах распавшегося индоевропейского языкового единства, хотя вопрос об источниках образования инноваций в системе глагольного спряжения на сегодняшний день ответа не имеет.

В опубликованном в 1970 «Введении в сравнительное языкознание» Освальд Семереньи (в русском переводе: [Семереньи 1980]), в целом следуя младограмматической модели, дает следующую классификацию подсистем личных окончаний в индоевропейских языках:

а) активные окончания презентно-аористной системы (первичные и вторичные окончания как варианты) (Семереньи 1980: 250-251):

Таблица 2.7.

	первичные	вторичные
1 л. ед.ч.	<i>-mi, -ō</i>	<i>-m</i>
2 л. ед.ч.	<i>-si</i>	<i>-s</i>
3 л. ед.ч.	<i>-ti</i>	<i>-t</i>
1 л. дв.ч.	<i>-wes / -wos</i>	<i>-we / -wo</i>
2 л. дв.ч.	<i>-tes ?</i>	<i>?</i>

3 л. дв.ч.	?	<i>-tā(m) ?</i>
1 л. мн.ч.	<i>-mes</i>	<i>-me(m), -mē</i>
2 л. мн.ч.	<i>-te(s)</i>	<i>-te</i>
3 л. мн.ч.	<i>-nti</i>	<i>-nt</i>

б) медиальные окончания презентно-аористной системы, первичные и вторичные (Семереньи 1980: 256):

Таблица 2.8.

	первичные	вторичные
1 л. ед.ч.	<i>-ai / -mai</i>	<i>-ha / -mā</i>
2 л. ед.ч.	<i>-soi</i>	<i>-so</i>
3 л. ед.ч.	<i>-toi, -tor(i)</i>	<i>-to</i>
1 л. мн.ч.	<i>-mes-dha</i>	<i>-me-dha</i>
2 л. мн.ч.	<i>-dhwe</i>	<i>-dhwe</i>
3 л. мн.ч.	<i>-ntoi, -ntor(i)</i>	<i>-nto</i>

в) окончания перфекта (Семереньи 1980: 260):

Таблица 2.9.

1 л. ед.ч.	<i>-a</i>
2 л. ед.ч.	<i>-tha</i>
3 л. ед.ч.	<i>-e</i>
1 л. дв.ч.	<i>-we</i>
1 л. мн.ч.	<i>-me</i>
3 л. мн.ч.	<i>-r</i>

г) окончания императива (Семереньи 1980: 263-264):

Таблица 2.10.

	актив	медиопассив
2 л. ед.ч.	<i>-0, -dhi</i>	<i>-so</i>
3 л. ед.ч.	<i>-t(u)</i>	<i>-to</i>
2 л. мн.ч.	<i>-te</i>	<i>-dhwe</i>
3 л. мн.ч.	<i>-ent(u)</i>	<i>-nto</i>

Особняком О.Семереньи ставит анатолийскую серию окончаний на *-hi*, однако не находит ей места в общеиндоевропейской глагольной системе и считает «хеттской инновацией», не унаследованной из праязыка. Подобный взгляд на анатолийскую систему личных окончаний характерен в целом для последователей младограмматической школы, стремившихся сохранить, казалось бы, стройную модель индоевропейской реконструкции даже в условиях появления качественно нового материала, однозначно требующего модификации всей структуры.

Во многом аналогичную систему личных окончаний реконструирует в третьем томе «Индоевропейской грамматики» К.Уоткинс (Watkins 1969), рассматривающий систему хеттских личных окончаний как несколько обособленную от общеиндоевропейской.

В своем исследовании индоевропейского глагола (1974) А.Н.Савченко указал, что санскрит и древнегреческий разделяют не только исконно архаичные черты, но и грамматические инновации. Например, таким новообразованием, по его мнению, являются указанные А.Мейе первичные окончания среднего залога². Система, которую представляет А.Н.Савченко в своих выводах, состоит из следующих подсистем:

- 1) первичные окончания (презенс, частично конъюнктив);
- 2) вторичные окончания (аорист, оптатив, инъюнктив, частично конъюнктив);
- 3) окончания перфекта;
- 4) окончания медиа (возможно, единого происхождения с окончаниями перфекта);
- 5) окончания императива (диалектного происхождения).

² Что неверно: следы медиальных окончаний обнаруживаются и в кельтских языках.

Автор не берётся с уверенностью определять место хеттских личных окончаний спряжения на *-hi*, высказывая лишь предположение их родства с окончаниями греческого перфекта и таким образом оставляя без рассмотрения один из наиболее дискутируемых вопросов индоевропейской глагольной морфологии.

Исследования А.Мейе, О.Семереньи, К.Уоткинса, А.Н.Савченко и других лингвистов XX века идут в основном в фарватере младограмматического учения об индоевропейских языках. Вместе с тем выводы учёных второй половины девятнадцатого века не учитывали столь важные данные индоевропейского языкознания, как данные анатолийских (хетто-лувийских) языков и прежде всего хеттского. Новый взгляд на историю развития индоевропейской морфологии возник после всестороннего анализа материала морфологии хеттского языка, который во многом представляет собой существенное дополнение к имевшемуся корпусу данных.

Прежде всего, в хеттском языке отсутствуют различия между первичными и вторичными окончаниями, так же, как и между тематическим и атематическим типом спряжения. В хеттском по-иному построена система глагольных времен, в корне отличная от систем древнегреческого или санскрита, долго считавшихся «образцовыми» языками для реконструкции языкового единства. И, что наиболее существенно, в хеттском имеется противопоставление двух типов спряжения (*-mi / -hi*), неизвестное другим индоевропейским языкам.

Первый качественный анализ индоевропейской праязыковой системы спряжения, проведенный с учетом данных анатолийских языков, принадлежит Е.Куриловичу (Kuryłowicz 1932; 1964). Используя материал анатолийских языков, он сумел доказать дискутируемое ранее генетическое и семантическое родство форм индоевропейского медиа и перфекта.

Последняя гипотеза была высказана ранее Я.Ваккернагелем (Wackernagel 1926: 168), а также подробно описана П.Шантреном на материале греческого языка в его исследовании «История греческого перфекта» (Chantraine 1927: 26 и след.). Из советских учёных середины XX века к этой точке зрения примыкает со своими доводами И.А.Перельмутер (1953).

П.Шантрен приводит семантические дублиеты греческих перфектных и медиальных форм типа дедорка – дёркомаи ‘вижу’, εγείρομαι ‘просыпаюсь’ > εγρηγορα ‘бодрствую’, а Я.Ваккернагель добавляет, что подобная оппозиция в древнегреческом была жива и в классический, и в эллинистический периоды.

Е.Курилович доказывает генетическое родство медиопассива и перфекта на примере данных других индоевропейских языков, включая и анализ звукового состава двух серий окончаний, и семантические сходства обеих категорий.

Итогом исследований Е.Куриловича стала первая реконструкция двух основных серий индоевропейского глагола: активной и медиопассивно-перфектной (Kuryłowicz 1964: 150). Исследователь делает оговорку, что наиболее последовательно противопоставление двух серий проявляется в формах трех лиц единственного числа, в то время как оппозиция во множественном числе менее очевидна. В то же время для индоевропейского можно предположить более позднее маркирование форм множественного числа глагола (ср. 1 л. **-mV – *-me-s* и т.п.) с помощью именных плюральных аффиксов. Подобное развитие можно приписать свойственной языкам мира тенденции к единообразию образования множественного числа от единственного с помощью агглютинации и, соответственно, устранению супплетивизма. Од-

нако, как мы увидим ниже (Главы 2, 3), в индоевропейских и, шире, ностратических языках супплетивизм личных показателей ед.ч. и мн.ч. не восстанавливается.

Теория о двух рядах индоевропейских глагольных окончаний была подробно рассмотрена и суммирована Вяч.Вс.Ивановым в отдельных работах (1979, 1981) и совместном исследовании с Т.В.Гамкрелидзе (1984) и в настоящее время поддержана большинством современных исследователей.

По мнению Вяч.Вс.Иванова и Т.В.Гамкрелидзе, исходная бинарная оппозиция, свойственная индоевропейскому глаголу, проводилась по признаку активности – инактивности. Вслед за Г.А.Климовым (1977) авторы склонны считать раннеиндоевропейский праязык языком активного синтаксического строя, в котором бинарная оппозиция по признаку активности / инактивности последовательно проводилась и в местоименной, и в глагольной системах. По мнению Т.В.Гамкрелидзе и Вяч.Вс.Иванова, глаголы действия и глаголы состояния представляли два разных типа личного спряжения, и это противопоставление легло в основу двух серий личных окончаний, которые мы наблюдаем в анатолийских языках. Авторы перебрасывают мостик от хеттского *hi-*спряжения к окончаниям среднего залога типа хетт. *-haha(ri)*, указывая на «очевидную историческую связь» между ними. Аналогичная генетическая связь существует между индоевропейским перфектом и средним залогом. Авторы пишут: «Первоначальной функцией индоевропейского перфекта было выражение состояния субъекта (которое возникло в результате предшествующего действия)... Тем самым устанавливается естественная формальная и семантическая связь

между образованиями перфекта и индоевропейским медиопассивом» (1984: 296).

По словам Т.В.Гамкрелидзе и Вяч.Вс.Иванова, подобное развитие маркеров медиопассива/перфекта указывает на их происхождение в качестве маркеров инактивной формы, «в противовес окончаниям ряда **-mi*, являвшимся своего рода экспонентами именных образований активного класса».

На этом основании авторы также делают вывод о более позднем происхождении парадигмы с окончаниями на **-Ha* (1984: 297)³. По их мнению, изначальная парадигма инактивного ряда состояла лишь из формы третьего лица единственного числа **-e*, так как семантика инактивности подразумевает отсутствие маркирования 1 и 2 лиц глагола как участников речевого акта. Противопоставление лиц в указанной парадигме возникает на более позднем этапе.

Т.В. Гамкрелидзе и Вяч.Вс.Иванов реконструируют следующую (снова неполную) парадигму индоевропейских личных глагольных показателей, сведённую к двум сериям:

Таблица 2.11.

	«активная» серия	«инактивная» серия
1 л. ед.ч.	<i>*-m(i)</i>	<i>*-Ha</i>
2 л. ед.ч.	<i>*-s(i)</i>	<i>*-t-Ha</i>
3 л. ед.ч.	<i>*-t(i)</i>	<i>*-e</i>
3 л. мн.ч.	<i>*-nt(i)</i>	<i>*-r</i>

Позже, после отделения анатолийского диалекта, по мнению авторов, в индоевропейском языке произошел окончательный переход к флективному синтаксическому строю,

³ В противоположность более ранней точке зрения Вяч.Вс.Иванова (1979, стр. 31) о вторичном характере парадигмы на **-mi*, происходящей из присоединения местоименных элементов к предикату.

при котором противопоставление «активность – инактивность» сменилось противопоставлением спряжения глаголов действия (актив) и глаголов состояния (медий/перфект).

Теория об активном характере индоевропейского праязыка, по нашему мнению, не имеет надёжных подтверждений. Помимо того, что ни в одном известном языке семьи категории активности/инактивности не сохранилось, приводимые указанными авторами следы былой активности не распространяются на имя, обнаруживаясь исключительно в системе глагола. Это говорит о том, что корректнее было бы реконструировать глагольную категорию перфекта/статива, нежели характеризовать всю систему морфологии как активную.

Т.В. Гамкрелидзе и Вяч.Вс.Иванову принадлежит также важная идея о т.н. "ранговой структуре" строения индоевропейской глагольной словоформы. Авторы сравнивают ранний индоевропейский праязык с языками древней Передней Азии и Кавказа и считают структуру глагольной формы исконно агглютинативной, состоящей из элементов с различными грамматическими значениями. Традиционное индоевропейское "первичное" окончание **-mi*, таким образом, раскладывается ими вслед за более ранними предположениями на показатель лица **-m-* и показатель настоящего времени **-i*, а в греческом медиальном окончании *-tai* между ними инкорпорирован залоговый показатель *-a-*. При этом каждый показатель в структуре словоформы занимает строго отведенное ему по иерархии место.

Данная точка зрения имеет свою логику. Особенно такая гипотеза важна для анализа индоевропейской глагольной флексии, так как позволяет выделять собственно личные показатели из высокофлективных аффиксов глагольного спряжения. Таким образом, сведение нескольких серий оконча-

ний к двум основным рядам (актива и статива, или актива и перфекта) возможно, если вычлениить основные элементы парадигм глагольной флексии, отделив от них аффиксы с темпоральным или модальным значением. Именно к такому выводу склоняются в своих исследованиях зарубежные лингвисты Ф.Кортландт, Р.Бикс, В.Блажек. Последний в своей работе (Blažek 1995: 9) сперва, подобно младограмматикам, приводит восемь рядов личных окончаний, суммировав в общих чертах наиболее современную реконструкцию Р.Бикса (Beekes 1995):

Таблица 2.12.

	первичные презентные атематич.	вторичные презентные атематич.	атематич. среднего зало- га	первичные презентные тематические	вторичные аористные тематические	тематические переходные среднего зало- га	стативные непереходные среднего залога	перфекта
1 ед.	<i>-mi</i>	<i>-m</i>	<i>-mH₂</i>	<i>-oH</i>	<i>-om</i>	<i>-omH₂</i>	<i>-H₂</i>	<i>-H₂e</i>
2 ед.	<i>-si</i>	<i>-s</i>	<i>-stH₂o</i>	<i>-eH₁i</i>	<i>-es</i>	<i>-estH₂o</i>	<i>-tH₂o</i>	<i>-tH₂e</i>
3 ед.	<i>-ti</i>	<i>-t</i>	<i>-to</i>	<i>-e</i>	<i>-et</i>	<i>-eto</i>	<i>-o</i>	<i>-e</i>
1 дв.	<i>-wes</i>	<i>-we</i>				<i>-wedhH₂</i>	<i>-wedhH₂</i>	
2 дв.	<i>-tHe/os</i>	<i>-tom</i>				<i>-eHtH₁-</i>	<i>-HtH₁- ?</i>	
3 дв.	<i>-tes</i>	<i>teH₂m</i>				<i>-eHteH₂</i>	<i>-HteH₂ ?</i>	
1 мн.	<i>-mes</i>	<i>-me</i>	<i>-</i> <i>me(s)dhH₂</i>	<i>-omom</i>	<i>-omo / -</i> <i>ome</i>	<i>-</i> <i>ome(s)dhH₂</i>	<i>-me(s)dhH₂</i>	<i>-me</i>
2 мн.	<i>-tH₁e</i>	<i>-te</i>	<i>-(t)dhwe</i>	<i>-etH₁e</i>	<i>-ete</i>	<i>-etdhwe</i>	<i>-dhwe</i>	<i>-(H₁)e</i>
3 мн.	<i>-enti</i>	<i>-ent</i>	<i>-ntro</i>	<i>-o</i>	<i>-ont</i>	<i>-ontro</i>	<i>-ro</i>	<i>-(e)r</i>

Очевидно, делает вывод В.Блажек, что ряд морфем, являющихся составными элементами указанных личных флексий, маркируют модальность, время или аспект глагола и не носят значения лица. Такие морфемы легко вычислить, так как они логично индифферентны к категории лица и повторяются во всех трёх лицах. В частности, В.Блажек называет **-i* маркером настоящего времени, **-e* – показателем пер-

фекта, *-o – среднего залога⁴. То же можно сказать и о т.н. «тематической гласной» *-e/o-. Опуская эти морфемы, автор сводит восемь серий личных аффиксов к трём сериям собственно личных показателей глагола:

Таблица 2.13.

	атематического актива	тематического актива	перфекта / статива
1 л. ед.ч.	-m-	-θ < *-H- ?	-H
2 л. ед.ч.	-s-	-t-	-H ₁ ?
1 л. мн.ч.	-me(s)-	-me(s)-	-tom
2 л. мн.ч.	-t(H ₁)e-	-twe(s)-	-tH ₁ e

Принимая во внимание маргинальность и неполноту парадигмы тематических окончаний, мы приходим к гипотезе о двух сериях личных окончаний в глаголе, разделяя тем самым точку зрения, впервые высказанную Е.Куриловичем.

В современной литературе господствуют, таким образом, две основные точки зрения на индоевропейскую систему глагольного спряжения. Первая из них придерживается традиционного младограмматического взгляда на праязык, приписывая ему разветвленную систему личных окончаний, выводимую на основании прежде всего греческого и индоарийского материала. Согласно данной точке зрения, в праязыке на этапе распада общности существовали следующие ряды личных окончаний:

1. Первичные и вторичные действительного залога (включая атематический и тематический подвиды парадигмы).

⁴ При этом можно заметить, что данные маркеры появляются лишь в определённых формах (скажем, 1 л. ед.ч.), а в некоторых стабильно не присутствуют (напр., 1 л. мн.ч.). Причину этого явления ещё предстоит объяснить.

2. Первичные и вторичные среднего залога.
3. Перфекта.
4. Повелительного наклонения.

Как показано выше, данную гипотезу развивают в своих сочинениях Г.Хирт, К.Уоткинс, А.Н.Савченко, О.Семереньи и другие.

Вторая гипотеза стремится анализировать более ранний этап развития индоевропейского (или «индо-хеттского») праязыка, вычленять персональные маркеры из композитных глагольных флексий и на основании сравнительного анализа с учётом анатолийского материала выводит два ряда личных показателей в праязыке:

1. Активные, представленные в хеттском серией спряжения *-mi*, а в других языках окончаниями действительного залога.

2. Стативно-перфективные (или «инактивные»), представленные хеттским спряжением на *-hi* и индоевропейскими окончаниями перфекта и отчасти среднего залога.

Две указанные гипотезы, как можно заметить, не конфликтуют между собой, а дополняют друг друга, в том числе в диахроническом смысле, так как вторая описывает состояние языка, предшествующее отделению анатолийской группы, а первая – более высокофлективное состояние, развившееся в диалектах типа греческого и индоарийского.

Более того, один из выразителей младограмматического взгляда на индоевропейскую морфологию О.Семереньи в своих исследованиях (Семереньи 1980; Szémerenyi 1990) допускает, что индоевропейские личные окончания во всём их многообразии чётко разграничивали две «диатезы»: актив и медий (или инактив). Автор затрудняется дать содержательную интерпретацию значения обеих диатез, а также провести

чёткую границу между ними, которая, по-видимому, начала размываться уже на этапе индоевропейской праязыковой общности. Тем не менее, О.Семереньи постулирует «субъектный характер» индоевропейского медиа в отличие от активной диатезы и согласен с теорией сближения медиа с перфектом. Подобный взгляд на предысторию и субстанцию индоевропейской глагольной флексии перекликается с точкой зрения о двух сериях индоевропейских личных глагольных аффиксов – активной (транзитивной) и стативной (интранзитивной) (Семереньи 1980: 269: 271).

Приведённый выше материал показывает, что несмотря на многие десятилетия исследований в области индоевропейского глагольного спряжения, доказанность реконструкции праязыкового состояния во многих конкретных случаях остаётся под сомнением. Слишком много осталось нерешённых вопросов в системе глагольных флексий, и споры вокруг отдельных форм продолжаются. Безусловно, праязык и его формальная структура всегда останутся гипотезой – но задача языкознания сделать эту гипотезу максимально доказательной и уточнённой.

§ 9. История исследований происхождения личных показателей глагола

Диахроническая лингвистика, продукт сравнительно-исторического метода, не может останавливаться на описании и систематизации языковых явлений. Она ставит вопрос об их происхождении в языке.

Проблеме происхождения показателей лица индоевропейского глагола уделялось повышенное внимание, начиная с самых ранних стадий развития сравнительного индоевропей-

ского языкознания, есть смысл привести основные этапы эволюции воззрений компаративистов на данный вопрос.

В девятнадцатом веке было выдвинуто три основных теории происхождения глагольных окончаний в индоевропейских языках.

Проблему происхождения флексии вообще и личных глагольных окончаний в частности одним из первых поднял Фридрих Шлегель (цит. по: [Дельбрюк 1904]). Согласно его воззрениям, все языки мира условно можно разделить на две группы – те, где формообразование происходит путем внутреннего чередования элементов корня, и те, в которых неизменяемый корень прибавляет дополнительные элементы (суффиксально или префиксально) для формирования новых значений. В число первых, получивших наименование флективных языков, Ф.Шлегель безусловно включает индоевропейские.

Таким образом, именно Ф.Шлегель впервые типологически описал два источника происхождения флексии – т.н. «аблаут» для языков с флективной морфологией и приращение ранее самостоятельных элементов для языков с агглютинативной морфологией.

Ошибкой Ф.Шлегеля, очевидно, было безусловное отнесение индоевропейских языков к первой группе. Вполне в духе европейской гуманитарной мысли своей эпохи и философии романтической школы Ф.Шлегель видит в языках флективного строя некое «внутреннее богатство», которого якобы лишены агглютинативные языки. Это богатство, по мнению автора, выражается в способности индоевропейских корней формировать систему морфологии *исключительно* посредством внутреннего изменения корня. По словам Ф.Шлегеля, в таком языке, как санскрит, нельзя найти ни ма-

лейшей возможности возвести флексии к некогда самостоятельным словам. Как полагает Ф.Шлегель, «строение этого языка образовалось чисто органически ... путем внутренних изменений и преобразований звуков корня». И хотя Ф.Шлегель изначально допускал агглютинативные элементы во флексиях других индоевропейских языков (в частности, греческого), со временем его взгляды радикализировались – очевидно, под влиянием полемики с рядом авторов фантастических теорий о бесконечном расщеплении корня.

Франц Бопп, автор первой "Сравнительной грамматики" индоевропейских языков, был лишен подобной предвзятости и подошел к вопросу происхождения флексии более методично. В своем раннем труде («Konjugationssystem der Sanskritsprache», 1816) он еще находится под воздействием теории Ф.Шлегеля. В частности, автор вполне принимает точку зрения о том, что флективные формы словоизменения являются следствием «внутреннего изменения и преобразования корневого слога». Правда, уже здесь Ф.Бопп делает допущения, привлекая вспомогательные глаголы как элементы формирования спряжения. Однако никаких других сочетаний во флективных формах автор не признает. В одном из рассуждений он говорит о неких «личных приметах M, S, T», но не видит в них признаков некогда самостоятельных лексических единиц, оставляя их «темное», по его словам, происхождение за кадром своего исследования (здесь и далее труды Ф.Боппа цит. по: [Дельбрюк 1904: 3-26]).

Впоследствии, однако, точка зрения Ф.Боппа начинает существенным образом меняться. В английском переработанном издании своего упомянутого труда «Система спряжения санскрита» он признает, что наиболее вероятным источником флективных окончаний в индоевропейском, как и в

других языках Евразии, следует считать именно приращение некогда самостоятельных элементов. При этом в случае с глагольными флексиями эти элементы имеют прямое происхождение от личных местоимений.

Надо сказать, что точка зрения о слиянии глагольной формы и личного местоимения при образовании форм личного спряжения была впервые высказано еще до Ф.Боппа. Принцип «сложения» в формировании словоизменения был описан еще немецким лингвистом В.Шейдиусом, на которого и ссылается Ф.Бопп в своем исследовании. В частности, сам же Бопп приводит следующую интересную цитату из В.Шейдиуса, давшую первые ростки его «теории агглютинции»: «...Так называемые образовательные суффиксы прошедшего времени, подобно тому, как в глаголах восточных языков, в сущности представляют собой слоги или буквы, как бы отрезанные от древних местоимений; тот же внутренний принцип речи был, по его мнению, и во временах и лицах греческого глагола».

В 1816 году Бопп окончательно сформулировал свою теорию, названную позже «теорией агглютинации»⁵: в индоевропейских языках глагольные флективные формы возникли из сложения именных корней с местоименными. Ранее, по его мнению, в языке существовали самостоятельные неизменяемые слова со значением предмета и действия, а также самостоятельные лексические единицы местоимений. Необходимость выражения категории лица в глаголе вызвала присоединение местоимений к глагольным словам и образование системы личного спряжения.

⁵ Данное название звучит не совсем корректно с точки зрения современного понятия агглютинации: впервые о теории Ф.Боппа так выразился К.Лассен в своем критическом отзыве.

Среди основных логических предпосылок, приведших Ф.Боппа к его фундаментальному выводу, можно назвать результаты внешнего сравнения индоевропейского языка с языками различных семей Евразии. Именно Ф.Бопп одним из первых среди выдающихся компаративистов уделял повышенное внимание внешнему сравнению индоевропейских языков с языками других семей Европы и Азии. Он хорошо знал структуру уральских, алтайских, кавказских, семитских языков, имел хорошее представление о ряде языков Юго-Восточной Азии (напр., малайско-полинезийских⁶). Параллели между личными местоимениями и глагольными окончаниями во многих из этих языков были для него очевидны, а материальное сходство ряда индоевропейских местоимений с соответствующими глагольными окончаниями естественным образом подкрепило вывод об их общем происхождении. Такое предположение подтверждается приведенной выше цитатой из работы В.Шейдиуса. Б.Дельбрюк в своем исследовании полагает, что «теория агглютинации» была навеяна прежде всего семитской грамматикой.

Отметим, что Ф.Бопп не только высказал идею о местоименном элементе во флективных формах глагола, но и пошел дальше, по пути логического и структурного анализа личной формы как завершенной системы. Уже в своем «Аналитическом спряжении» он сделал предположение, что в структуре личных форм индоевропейского глагола заложено цельное логическое суждение – содержащее предикат в виде

⁶ Известны попытки Ф.Боппа включить малайско-полинезийские языки в состав индоевропейской семьи языков – объясняемые, в частности, тем удивительным фактом, что звуковой состав числительных «два» и «три» действительно во многом совпадает с индоевропейскими числительными (ср. Поливанов 1931).

глагольного корня, субъект в виде местоименного элемента и связку со значением «быть».

Так, по мнению Ф.Боппа, латинская форма спряжения *ornabat* соединяет в себе три указанных элемента: *orna-* как предикат, *-ba-* как связку «быть» и *-t* как подлежащее, местоимение со значением 3 лица. При этом Ф.Бопп полагает, что в качестве связки может выступать исключительно глагол «быть» как глагол, «не имеющий признака», «абстрактный» глагол. Подобную мысль первым высказал еще предшественник Ф.Боппа, немецкий лингвист Готфрид Герман.

Таким образом, Ф.Бопп на полтора столетия предвосхитил теорию грамматикализации и открыл дорогу к понятиям взаимосвязанности изолирующих, агглютинативных и флективных языков, разработанным лингвистами уже во второй половине двадцатого века. С другой стороны, им были предложены первые шаги теории о вспомогательных глаголах, что автоматически перекинуло мост к установленному, опять же, намного позже, учению о синтетическом и аналитическом строе языков.

Вместе с тем, в теории Ф.Боппа не обошлось без серьезных ошибок. Например, её автору не удалось полностью отойти от символизма, бывшего краеугольным камнем лингвистической мысли предшествующего ему столетия. Так, Ф.Бопп полагал, в частности, что как окончания двойственного числа глагола употребляются более долгие личные окончания, так как «в основании дв.ч. лежит более ясное воззрение, чем воззрение неопределенного множества», и потому оно требует «более сильного впечатления и более живого олицетворения». Подобное воззрение лежит в одной плоскости с широко известным в XIX веке предположением, что женский род «любит пышное богатство формы» и ему подобными. Аналогично Ф.Бопп высказывается об окончании 3

л. мн.ч. *-nt*, которое якобы произошло из *-t* единственного числа «посредством вставки носового звука».

Ошибочной была и абсолютная опора на глагол «быть» без анализа множества лежащих на поверхности языковых форм с другими вспомогательными глаголами, имеющих практически в каждом языке мира. Ограничение семантики глагольной связки значением «быть» привело к тому, что в своих дальнейших трудах Ф.Бопп искал глагол типа лат. *esse* во всех индоевропейских глагольных формах, имеющих формант *-s*- любого происхождения.

Недочеты теории Ф.Боппа вызвали резкую критику со стороны лингвистического кружка братьев Шлегелей. Так, один из учеников А.-В. Шлегеля Кристиан Лассен указывал на то, что в исследованиях Боппа глагол «быть» «играет вообще роль известного 'везде и нигде' и превращается, как Протей, в самые разнообразные формы».

Однако дальше критики Лассен не пошел, не сумев выдвинуть противовес теории «агглютинации». Получилось, что теория происхождения флективных форм посредством изменения односложного корня слова, выдвинутая Ф.Шлегелем, была подвергнута в трудах Ф.Боппа всестороннему анализу и фактически опровергнута, в то время как сам Ф.Шлегель и его ученики так и не смогли противопоставить Ф.Боппу нового логичного объяснения происхождения глагольной флексии.

Тем временем к теории Ф.Боппа примыкали и другие видные лингвисты Европы. Август Фридрих Потт главным действующим механизмом образования спряжения считал сложение основ глаголов и местоимений. А.Ф.Потт высказал лишь несколько новых идей: так, он считал *-n-* в окончании 3 л. мн.ч. также местоименной основой, а санскритское окон-

чение 1 л. мн.ч. *-masi* считал произведенным по методу сложения окончаний 1 и 2 лица ед.ч. **-ma + *-si*.

Во многом аналогичную точку зрения занял в своем «Компендии» Август Шлейхер, поддержавший теорию сложения как основной механизм образования личных форм глагола. А.Шлейхер видел местоименные корни даже там, где в их существовании сомневался Ф.Бопп: например, в окончаниях индоевропейского среднего залога и в аффиксальных показателях желательного и сослагательного наклонений. По словам Б.Дельбрюка, «Шлейхер по праву может быть признан приверженцем теории агглютинации Боппа» (Дельбрюк 1904: 49).

Вплоть до середины XIX века, таким образом, теория Ф.Боппа оставалась единственной научно разработанной и подкрепленной солидным аппаратом гипотезой происхождения флексии. Однако уже во второй половине столетия появляются альтернативные взгляды на эту проблему, выраженные в двух основополагающих теориях: «эволюции» и «адаптации».

Альтернативную Ф.Боппу точку зрения, выдвинутую еще до появления его основных трудов Ф.Шлегелем, разработали уже ученики последнего. Отрицая местоименное происхождение личных окончаний глагола, немецкие лингвисты Кристиан Лассен, Карл-Фердинанд Беккер, Мориц Рапп и Рудольф Вестфаль обосновали иную теорию развития глагольной флексии, названную ими «теорией эволюции».

Согласно данной теории, развитие морфологии индоевропейского праязыка происходило в обратном направлении, нежели у Ф.Боппа: личные местоимения являются в языке вторичным явлением и выработались из более древних личных окончаний глагола. Объяснение этой гипотезы наиболее

отчетливо приведено в трудах известного немецкого филолога и музыковеда Р.Вестфала.

Согласно его доводам, для определения языковых отношений в праязыке был выработан механизм присоединения к односложному корню расширения – гласного элемента *a*, *i* или *u*. По мнению Р.Вестфала, данные звуки «лежат ближе всего» в речевом аппарате человека. Слово в языке таким образом приобретает второй слог. На следующем этапе происходит еще большая конкретизация языкового значения слова, и перед гласным элементом для дополнительной дифференциации появляется согласный – а именно «близко лежащий» зубной смычный или носовой звук. Так произошли суффиксы *na*, *ni*, *nu*, *ta*, *ti*, *tu*. Таких этапов было в языке несколько, потому что от значимого слова образуются деривативы, производные основы и т.п. – и «каждое расширение понятия как-ким-нибудь признаком... требует обогащения уже имеющейся словесной формы новым звуковым элементом» (Дельбрюк 1904: 80).

Так как, полагает автор, носовые и зубные звуки являются «наиболее близко лежащими», первым флективным глагольным образованием была форма типа **sta-m*, где *-m* получает значение говорящего, или 1 л. ед.ч. «Дальше лежащий» звук *t* оформляет форму 3 л. **sta-t*. Наконец, 2 л. ед.ч. глагола первоначально использовало формы **stata*, *stati*, *statu*, из которых последняя стала, по выражению автора, «самой любимой» – а уже из нее посредством не указанных автором фонетических переходов возникает форма **sta-s*, завершившая оформление парадигмы спряжения глагола в единственном числе.

Подобными положениями, довольно одиозными даже для середины XIX века (основные труды Р.Вестфала, содержа-

щие «теорию эволюции», опубликованы в 1869-1872 годах), автор попытался обосновать происхождение всех флективных формантов индоевропейского праязыка. Что же до местоимений, то они, по мнению автора, выделились позже из окончаний медиа: «возникли формы среднего залога *tudama* и *tudatva*, и из них выделились *ta* и *tva*».

С точки зрения современного языкознания «теория эволюции» не выдерживает критики. Во-первых, остается крайне неясной гипотеза о «близости» тех или иных звуков для человека: она никак не соотносится с исследованиями о развитии речевого аппарата человека, начатыми уже в XIX веке. Кроме того, оставлены совершенно без объяснения большое количество промежуточных звеньев логической цепи автора: например, причина возникновения согласных элементов «расширения» и их расположение перед гласным элементом. Наконец, как справедливо заметил современник Р.Вестфаля Георг Курциус, сторонники теории «эволюции» делают возможным предположение о том, что язык первоначально существовал без личных местоимений. Такого языка среди известных науке не обнаруживается.

Это, как и многое другое в теории Р.Вестфаля, выглядит маловероятно даже с типологической точки зрения. Языки мира не могут предоставить нам примеров такого рода развития, когда личные окончания возникают в глаголе как бы сами по себе, а затем становятся родоначальниками системы личных местоимений⁷.

⁷ Интересный пример развития местоимения из спрягаемой глагольной формы (но не окончания!) наблюдается, по-видимому, в шумерском языке, где личное местоимение 1 ед. "женского языка" *ES me* происходит из формы 1 л. ед. связки "быть" (то же – во 1-2 л. мн.ч.) (Дьяконов 1967).

Теория «эволюции» не была широко признана в лингвистическом сообществе и фактически была признана банкротом уже в эпоху А.Шлейхера. Во-первых, если теория «агглютинации» Ф.Боппа изначально была основана и подтверждена самыми широкими типологическими параллелями во множестве языков мира, объяснить обратный процесс – превращение личных окончаний глагола в личные местоимения – с точки зрения типологии весьма затруднительно. Кроме того, компаративисты никогда не ставили под сомнение, что личные местоимения в индоевропейских языках представляют собой один из древнейших элементов грамматической системы, в то время как глагольная флексия во многих случаях явно доказывает свою вторичность.

Третья точка зрения, названная «теорией адаптации», была представлена чешско-немецким ученым Альфредом Людвигом (Ludvig 1893) и в начале XX века поддержана и развита немецким лингвистом Германом Хиртом. По мнению А.Людвига, первоначально в истории индоевропейского языка-основы существовали лишь глагольные основы, а также некий набор суффиксов, не имевших никакого определенного значения, а носивших лишь общий дейктический характер. Но с течением времени, когда надо было обозначать в языке все новые отношения предметов и абстрактные идеи, суффиксы эти стали получать известные постоянные оттенки значения, например падежных окончаний имен или личных окончаний глагола. При этом многозначность этих прасуффиксов осталась в языке в качестве реликтов: так, А.Людвиг полагает, что окончание среднего залога *-e* было присуще и первому, и третьему лицу, а окончание *-se* относится как к первому, так и ко второму лицу.

На вопрос о том, каким путем суффиксы «общего назначения» пришли к выражению конкретных грамматических значений, А.Людвиг отвечает, что с течением времени духовная потребность человека заставила его конкретизировать суффиксы, которые стали выражать отдельные именные или глагольные значения. При этом, по словам А.Людвига, один и тот же суффикс мог войти и в глагольную, и в именную систему – так, к примеру, постулируется родство между личным аффиксом 1 л. ед.ч. **-t* и аналогичным окончанием винительного падежа имени.

Материальное сходство между личными окончаниями и личными местоимениями А.Людвиг не объясняет. В его трудах проходит лишь следующая туманная мысль: «Когда число [суффиксов] возросло, их по случайным аналогиям, а часто и совсем без них, привели в связь с выработавшимися за это время у личных местоимений категориями грамматических лиц» (Дельбрюк 1904: 86). Генетических связей, таким образом, между ними нет.

Автор фундаментальной «Индогерманской грамматики» немецкий лингвист Герман Хирт (Hirt 1932) также полагал, что глагольные окончания родственны именным флексиям и ведут свое происхождение от неких первичных суффиксов с дейктическими значениями. Так, окончание 1 л. ед.ч. *-t* родственно окончанию винительного падежа имени *-t*, оба они происходят из суффикса **-to*. Эта же флексия отмечается Г.Хиртом в инструментальном падеже (славяно-германо-балтийское **-to-*), а также в дательном падеже ед.ч. и родительном падеже ед./мн.ч. *-om*. Словообразовательный суффикс **-to-* тоже находится в родстве с вышеуказанными флексиями (напр., греч. *θερμος*, лат. *formus*, др.-инд. *gharma-*). По мнению Г.Хирта, появление этого именного образования

в системе глагольного спряжения обусловлено его внешним сходством с личным местоимением 1 л.

Точно так же глагольное окончание 2 л. ед.ч. связывается Г.Хиртом с формантом именительного падежа ед.ч. имен *-s. Окончание 2 л. мн.ч. *-te он объясняет как форму звательного падежа отглагольного имени на *-to, лежащего, по его мнению, также в основе окончаний глагола 3 л. ед.ч. Форма 2 л. ед.ч. среднего залога на *-ai, *-sai он сопоставляет с греческим инфинитивом на -sai. В своих трудах Г.Хирт объясняет подобным образом практически все индоевропейские личные окончания (Hirt 1932: 134).

Тем не менее установленные Г.Хиртом взаимосвязи, как отмечает К.Г.Красухин, "плохо поддаются семантической реконструкции" (Красухин 2004: 40 и след.). Случаи отмечаемого А.Людвигом и Г.Хиртом влияния личных местоимений на личные окончания действительно зафиксированы в языках мира, в том числе и в индоевропейских. Однако случаи эти единичны и, как правило, отмечаются лишь в фонетически близких формах.

Как и теория «эволюции», гипотеза А.Людвига сильно страдает непроработанностью, отсутствием объяснения многих заложенных в ней посылов, на которых строятся финальные умозаключения. Прежде всего это касается фонетических законов и соответствий, которые авторами обеих теорий нередко игнорируются. Более того, авторы выдвигают подчас принципиально новые фонетические закономерности, доказать которые на индоевропейском материале им же самим не представляется возможным.

Кроме того, что очень важно, теории «эволюции» и «адаптации», вооруженные солидным терминологическим аппаратом, не содержат опоры на практические данные ни собственно индоевропейских языков, ни языков мира. А.Людвиг,

признанный знаток санскритской филологии, сделал попытку обосновать свою гипотезу на древнеиндийских примерах, однако привел слишком мало данных, многие из которых к тому же могут быть истолкованы двояко.

Фактически из трех основоположников теорий происхождения флексии лишь Ф.Бопп понимал важность такого метода исследований, как опора на типологические данные языков мира, которые могут подвести теоретическую базу под умопостроения лингвистов.

В середине XX века чешский ученый А.Эрхарт в ряде своих трудов (Erhart 1954; 1970) предпринял попытку соединить теории "агглютинации" и "адаптации". А.Эрхарт допускает, что внешнее сходство глагольных аффиксов и служебных слов (в частности, личных местоимений) вполне может свидетельствовать об их общем происхождении, особенно если принять во внимание простоту раннеиндоевропейской фонологической системы. Впрочем, за исключением отдельных элементов, доказательная база данной гипотезы остаётся достаточно слабой, и потому точка зрения А.Эрхарта не получила поддержки в современном языкознании, хотя отдельные её положения поддержаны рядом исследователей (Красухин 2004).

Утверждение теории Ф.Боппа о происхождении личных окончаний глагола из личных местоимений в качестве доминирующей в науке точки зрения имело значение не только для сравнительно-исторического исследования индоевропейских языков. Лингвисты начала девятнадцатого века оперировали преимущественно данными индоевропеистики, не имея надежного материала языков других семей для анализа. Однако в наше время очевидно, что теория Боппа вполне применима вообще к языкам мира и является одной из т.н. лингвистических универсалий. Не случайно, реконструируя

механизм формирования индоевропейской флексии, Бопп, по общему мнению, опирался на данные известных ему языков Евразии – алтайских, уральских, семитских.

Подобная опора, как это уже давно и прочно доказано сравнительно-историческим методом, вполне оправдана. С одной стороны, обособленный анализ языков одной отдельно взятой семьи открывает простор для лингвистических домыслов, предположений о языковых явлениях, аналогий которым не зафиксировано в языках мира. В то же время типологическое подтверждение того или иного явления на материале других языковых семей является солидным подкреплением любой лингвистической гипотезы.

Пренебрежение этим правилом сослужило плохую службу многим лингвистам прошлого, которые ради доказательства своих идей вынуждены были изобретать нереальные закономерности развития языка. Безусловно, необходимо признать, что отсутствие типологических аналогий некоему языковому явлению еще не доказывает его невозможности. Однако данное утверждение верно в позитивном смысле: наличие типологической параллели в материале языков мира доказывает возможность существования данного явления.

С другой стороны, мощным подспорьем т.н. внутренней реконструкции является внешняя реконструкция, и на современном этапе ни одно грамотное лингвистическое исследование в рамках компаративистики не может не объединять эти два метода. Правильный анализ германского праязыка невозможен без привлечения данных языков других групп индоевропейской семьи, и, к примеру, закон Вернера никогда не был бы открыт без использования этих данных, на материале одних лишь потомков общегерманского праязыка.

Можно сделать вывод, что и корректная реконструкция индоевропейского праязыка требует не только анализа хронологически более поздних стадий его развития, но и наравне с данными собственно индоевропейских языков привлечения внешних данных. И если вплоть до XX века это было возможным только с точки зрения лингвистической типологии, то после доказательства ностратической гипотезы появилась и возможность широкого внешнего сравнения данных индоевропейистики с данными языков других семей Евразии, исходя из их генетического родства в рамках ностратической макросемьи. В области фонетики и лексики в этом направлении сделано уже немало, однако в области морфологии исследователям предстоит ещё много работы.

Глава 3

Реконструкция и происхождение показателей первого лица

§ 10. Индоевропейский показатель 1 лица **mē*

Индоевропейские местоимения и связанные личные показатели, восходящие к лексеме на **m-*, являются наиболее распространёнными формантами первого лица. Эта морфема функционирует и в системе глагола, и в парадигме личных местоимений, и безусловно восходит к праязыковому состоянию. Рассмотрим рефлексы **m-* в индоевропейских языках с тем, чтобы верифицировать принятую реконструкцию ряда праформ, возводимых к этому корню.

1. Вторичное окончание 1 л. ед.ч. глагола в таких формах, как имперфект, аорист и желательное наклонение, реконструируется как **-m*. Вполне естественно предположить, как это было сделано уже в младограмматический период, что на самом деле именно этот аффикс был первичным в глагольной системе для обозначения 1 л. ед.ч., что доказывается формами древнеиндийского инъюнктива. К нему путём контаминации присоединялись другие морфемы, формирующие показатели различных видо-временных и залоговых значений.

2. Первичное атематическое окончание глагола в настоящем времени может быть логично реконструировано как **-mi* на основании материала целого ряда языков семьи. Ауслаутный элемент *-i* толкуется обычно как показатель презенса или, шире, категории «актуальности» (Гамкрелидзе – Иванов 1984: 340-344), исходя из того, что он присутствует в

презентной парадигме также в 2-3 лицах единственного числа и в 3 л. множественного числа, а в ряде языков (напр., в иранских и хеттском), скорее всего по аналогии, проник и в другие формы. Отсутствие форм на *-i* в ряде индоевропейских языков (а именно в италийских, германских, албанском, армянском, тохарском) может быть в ряде случаев объяснено поздним отпадением гласной (ср. для латыни [Тронский 2001: 241]).

3. Окончание 1 л. ед.ч. среднего залога переходных глаголов может быть реконструировано в виде **-mH₂*, как это делает Р.Бикс (Beekes 1995: 252). Однако с большей вероятностью в качестве исконного индоевропейского окончания можно считать форму **-ai*, восходящую к ларингалу (ср. ниже § 12), а медиальные формы с добавлением к нему **-m* скорее всего являются диалектными инновациями тех языков, которые распространили **-m* из парадигмы презентна на парадигму среднего залога по аналогии. Таких языков немного – это прежде всего греческий, а также тохарские, где окончание 1 л. ед.ч. среднего залога *-mar* происходит из **-m-ōr*, родственного латинскому *-or* (Watkins 1969: 178). Формы **-mai*, **-mH*, **-mōr* среднего залога нельзя, таким образом, выводить на праязыковое состояние – это более поздние диалектные новообразования.

4. Показатели, возводимые к **-m*-, широко отмечены также в формах 1 л. мн.ч. В качестве исходной формы, по видимому, функционировало одно из вокалических расширений сингулярного **-m*, однако тип этого расширения варьируется по диалектам. Установленным для праязыка можно считать «вторичное» окончание **-me*, которое присутствует в индоиранском **-ma*, литовском *-me*, славянском *-me* (болг., чеш., словац., русин., древненовгородский), албанском *-m(ë)*. Древнеиндийская и индоиранская формы *-ma*, впрочем, мо-

гут восходить и к форме огласовки **-to*, на которое, вероятно, указывают и ирл. *melom* < **-o-to*, и латинское *-tur* < **-to-r*, и славянское диалектное окончание 1 л. мн.ч. *-mo*. На праязыковом уровне можно предположить диалектную вариативность огласовок **-te/to*.

Различие между первичной и вторичной формами окончаний в 1 л. мн.ч. сохранили лишь индоиранские, анатолийские и кельтские языки, в то время как в остальных диалектах этой дистрибуции не наблюдается. Существовала ли она в таком случае в индоевропейском праязыке или была наработана лишь в отдельных диалектах, по примеру форм единственного числа? Факты скорее позволяют говорить о последнем: нельзя считать это распределение однозначно восходящим к праязыку. Более вероятно, на наш взгляд, что в праязыке для образования плюралиса начали употребляться различные наращения, в т.ч. как вокалические, так и консонантные. В числе последних, безусловно, фигурирует основной формант множественного числа **-s*, под влиянием именного склонения (а именно окончания им.п. мн.ч. **-es*) оформивший в праязыке «первичное» окончание **-mes*, прослеживаемое по различным диалектам (греч. дор. *-μες*, др.-инд. *-mas*, авест. *-mahī* и кельт. **-mesi* с добавлением «актуального» презентного маркера), с другой огласовкой **-mos* (слав. **-тъ*, лат. *-tus*, тох. *-to*). Существует и диалектное наращение *-n*, засвидетельствованное в греческом (аттич. *-μεν*⁸) и хеттском *-meni*.

Итак, характер гласного, следующего за **-m-*, варьируется по отдельным диалектам, выступая в виде **-e-* (греческий, литовский, хеттский), и **-o-* (славянские, латинский, кельтские, возможно, и тохарские) (Бурлак – Старостин 2005:

⁸ Греческое **-n*, впрочем, может восходить также и к **-m*.

232), что, по-видимому, свидетельствует о фонетическом внутриморфемном чередовании либо представляет собой древнюю соединительную гласную между двумя некогда независимыми морфемами.

Можно сделать обобщение, что форма показателя 1 л. мн.ч. в индоевропейском глаголе выглядела как **me/o*, с диалектными вариантами **-mes/mos* и **-men*. Таким образом, собственно показателем множественности здесь выступают либо огласовка, либо суффиксы плюралиса.

5. В других видо-временных и залоговых формах множественного числа к окончанию настоящего времени добавляются прочие форманты, не имеющие собственно значения лица. В их числе формант среднего залога **-dh-* (очевидно, с последующим ларингалом, по Р.Биксу **-d^hH₂-*), формирующий окончание **-medha* в греческом и индоиранском, а возможно, и в тохарском, где формы 1 л. мн.ч. медия **-mtär* (первич.) и **-mte* (вторич.) можно объяснить как родственные греческим и индоиранским (Watkins 1969: 179), чему благоприятствует регулярное фонетическое развитие и.-е. **dh > тох. *t*. Исходя из форм единственного числа, где, как указано чуть выше, аффикс **-mai* является аналогической инновацией, можно предположить, что инкорпорация **-m-* в форму мн.ч. также происходит относительно поздно, на этапе распада языковой общности. Элемент **-dh-*, как известно, присутствует и в формах второго лица мн.ч. (обычно реконструируется в виде **-dhwe*): это позволяет подтвердить распространённую гипотезу о том, что в древнем среднем залоге лицо субъекта не обозначалось вовсе или было обозначено сравнительно поздно (Красухин 2004: 47 и след.).

В языках, где функционирует медиальное спряжение на *-r*, этот формант прибавляется к формам и 1 л. мн.ч., результи-

руя в окончании **-mV-r* (др.-ирл. *-mir / -mor / -mar*, лат. *-mur*) (Thurneysen 1946: 367).

Мы получаем в итоге лишь следующие формы глагольных аффиксов неперфектной парадигмы, которые можно при строгом анализе возвести к праязыку до эпохи выделения диалектов:

Таблица 3.1.

значение	формант
1 л. ед.ч.	<i>*-m</i>
1 л. ед.ч. наст.вр.	<i>*-m-i</i>
1 л. мн.ч.	<i>*-me-(s) / *-mo-(s)</i>

Основной праформой здесь можно считать личный аффикс первого лица **-m*, приобретающий различные элементы наращения в зависимости от дополнительных значений – как числа, так и вида/времени.

Неперфектная парадигма окончаний индоевропейского глагола противостоит второй (перфектной) серии, в которой **-m-* в единственном числе не засвидетельствовано, а в формы мн.ч. попало скорее всего по аналогии. Напомним, что значения глагольных форм, использующих личные окончания неперфектной серии, типологически характеризуются как инфектив, транзитив – в противовес таким характеристикам второй серии, как абсолютив, перфектив, статив (Beekes 1990: 288-289; Иванов 1981; Blažek 1995).

В системе местоимений производное от корня **me-* выступает в качестве косвенной основы личного местоимения 1 лица единственного числа, действуя в индоевропейских языках во всех падежах, кроме номинатива.

Основной косвенной праформой предстаёт **me / *mē* (вариативная долгота остаётся неясной). По-видимому, в индо-

европейском языке эта форма подразумевала прямое дополнение, в результате чего в ряде языков получила чёткую привязку к винительному падежу (лат. *mē*, греч. *με*, алб. *më*, др.-инд. *mā*, кельт. инфикс **-m-*). Однако именно от этой формы строятся и многие другие падежи, как, например, отложительный, появившийся в ряде диалектов в самом начале распада языка: итал. *mēd*, др.-инд. *mad*, хетт. *amedaz*, авест. *mat* содержат, видимо, тот же элемент, что и греч. отложительная частица *-δεν*. Гипотеза О.Семереньи о том, что **mēd* возникло под воздействием **tēd* < **tēt* < удвоение **te-te*, кажется фантастической (Семереньи 1980: 228).

От той же древнейшей общекосвенной формы **me* / **mē* позже нередко образуется и собственно винительный падеж – с добавлением маркера именного аккузатива **-m* (др.-инд., др.-ир. *mām*, слав. **mę*, др.-прус. *man*, алб. *tua*) (Порциг 1964: 267) или других частиц (гот. *mik*, венет. *meço* и пр.). Это свидетельствует о том, что узкого значения аккузатива у древнего **me* / **mē* ещё не было, как не было в языке и устоявшейся падежной парадигмы данного личного местоимения.

Другим дополнительным элементом в общекосвенной форме является протетическая гласная фонема (греч. *ε-*, хетт. *a-*, арм. *i-*), возводимая обычно к дейктическому местоимению (Иллич-Свитыч 1976: 66). Она вполне может коррелировать с таким же протетическим элементом в форме именительного падежа **eg* 'Я' и быть результатом аналогического выравнивания. Протетическая гласная в формах личных местоимений – весьма распространённое явление в индоевропейских языках: ср. лат. диалектное *epos* 'мы' (Тронский 2001: 200), хетт. *anzaš* 'мы' и т.д.

Вторым падежом, надёжно восстанавливаемым для индоевропейского праязыка, является генитив. Для родительного падежа в качестве праформы реконструируется **mene* (Szémerényi 1990: 220), определяемое сравнением др.-хетт. *man*, валл. *fy* < **men* (Thurneysen 1946: 281), др.-инд. *tama* < ассимиляция **mene*, авест. *tana*, слав. **mene*, лит. *manes*. Образована эта форма, как нетрудно заметить, также от описанной выше основы **me* с добавлением генитивного показателя **-ne*. Здесь элемент **-n-* является показателем генитива, или в более общем смысле значения косвенности и находит надёжную параллель не только в системе именного склонения, но и в качестве показателя косвенной основы гетероклитических имён индоевропейских языков (Greenberg 2000: 13, 132-136). В ряде диалектов показатель генитива создаёт новую категорию притяжательного местоимения (др.-лит. *manas* 'мой'), которого в индоевропейском праязыке, по-видимому, не существовало.

Что касается прочих падежей, то их образование относится уже к этапу формирования отдельных индоевропейских диалектов. Не исключено, впрочем, что некоторые падежные форманты существовали уже в праязыковую эпоху, как уже рассмотренная выше локальная (или отложительная) частица **-de(n)*, служившая ранее, по-видимому, независимой лексемой, см. об этом ниже. В древнеиндийском, итальянских и армянском языках существует также общность при образовании дательного падежа личного местоимения с аффиксом **-g'(h)i*, параллель которого в системе имени не обнаруживается (Pokorny 1959: 702).

Форма дательного падежа **moi* (Dolgopolsky 1984: 66) имеет отражения в греч. (ε)μοι, ст.-слав. *mi* и, возможно, в лит. клитическом *-mi-* (*pamisakyk* 'скажи мне'): однако эти формы содержат именную флексию и, надо полагать, были

созданы по образцу именного склонения, что является типологически общепринятым механизмом при формировании местоименного склонения во множестве языков мира. Унификация падежного склонения по именному образцу в системе индоевропейских местоимений происходила, по нашему мнению, уже на уровне диалектов.

Р.Бикс склонен восстанавливать индоевропейскую притяжательную именную форму **Htos* ‘мой’ на основании греч. εμός, авест. *ta-*, однако она, по всей видимости, была диалектной разновидностью выражения посессивности: в других языках мы видим другие основы (гот. *meins* из формы род.п., хетт. *-miš*, лат. *teus*, слав. *tojь* и пр.) (Beekes 1995: 210-211).

Таким образом, собственно индоевропейская праязыковая парадигма местоимения единственного числа состояла из трёх синтаксических форм:

Таблица 3.2.

значение	форма
номинативное	<i>*eg'Ho(m)</i>
«общекозвенное» (объектное)	<i>*me / *mē</i>
генитивное (притяжательное)	<i>*me-ne</i>

Можно заключить, что исходной индоевропейской формой косвенного местоимения первого лица ед.ч. была форма объекта **me / *mē*, существовавшая ещё в ту эпоху, когда парадигмы склонения личного местоимения в праязыке не существовало (Порциг 1964: 267). Это подтверждается мнением К.Бругмана, считающего аккузативную форму греч. με восходящей к древнему *casus indefinitus* (Brugmann 1894, II: 762). Позднее, как и формы других падежей, аккузатив получает дополнительные падежные признаки, такие, как именная флексия винительного падежа **-m*.

Местоимение **me* на ранних стадиях развития индоевропейского праязыка могло, по-видимому, играть роль притяжательной энклитики. Это явление было сохранено в анатолийских языках, где стандартной притяжательной формой 1 л. ед.ч. является **-mi-* ‘мой’ (др.-хетт. *attaš-miš* ‘мой отец’; в поздних текстах эта конструкция чаще заменяется формой род.п. личного местоимения: *attaš ammel* букв. ‘отец меня’).

Притяжательный приименной характер **me* виден в древнеирландских местоименных предлогах, восходящих к сочетанию имени с притяжательным маркером лица: *liumm* ‘у меня’ < **leth-mV* ‘моя сторона’ (Красухин 2004: 64). Однако здесь они с большей вероятностью являются непосредственно ирландским новообразованием.

В ряде индоевропейских языков личное местоимение первого лица множественного числа также восходит к форме единственного числа **me* с плюральными наращениями. В частности, это местоимение отражено в армянском *mek*, в балтийских языках (лит. и др.-прус. *mes*) (Meillet 1938: 341; Иллич-Свитыч 1976: 54), где в качестве наращения выступает уже знакомый нам по глагольной системе аффикс **-s*, а также в славянских языках. Славянское **ту* должно, по идее, восходить к более раннему **mons / *mans*, реконструкция которого косвенно подтверждается древнепрусским местоимением 2 л. мн.ч. *wans* ‘вы’, соответствующее славянскому **у*. Здесь заметно выравнивание парадигмы, однако какая из форм была изначальной – 1 л. или 2 л. – установить сложно. Можно лишь предположить, что и **mans > ту*, и **wans > у* были созданы в праславянском (или пра-прусскославянском) языке под влиянием именного окончания винительного падежа мн.ч. **-ons > *-у*, а затем распространились на форму номинатива.

Необходимо упомянуть и о притяжательной энклитике 1 л. мн.ч. *-meš* в хеттском языке (род.п. *-tan*, вин.п. *-miš*), что может дополнительно свидетельствовать о существовании **mVs* в индоевропейском в качестве не только глагольного аффикса, но и прежде всего независимого местоимения 1 лица мн.ч.

Личное местоимение **mes* может рассматриваться как общеиндоевропейский архаизм, заменённый синонимичными основами в других языках семьи. Часто эта форма номинатива вытесняется косвенной основой **nV*: особенно чётко это видно в латинском и албанском, где личные местоимения номинатива повторяют аккузативные (лат. *nos*, алб. *ne, na*). Греческое и индоарийское **ḡs-me-*, видимо, содержит два контаминированных местоимения.

А.Б.Долгопольский считает, что местоимение мн.ч. **mV(s)* было в индоевропейском вытеснено другими основами, сохранившись лишь в виде глагольных флексий, и позже под влиянием тех же флексий было восстановлено в части диалектов (ND 1354). Но гипотеза о том, что личное местоимение **mes* во множественном числе создано по аналогии с глагольным окончанием, не находит надёжных подтверждений ни в индоевропеистике, ни в лингвистической типологии. Их схожесть можно со значительно большей вероятностью объяснить обратным воздействием.

Интересно, что личный показатель **mV* не засвидетельствован в формах двойственного числа – за исключением местоименных новообразований типа лит. *mudu*, словен. *midva*, являющихся композитами основ местоимения и числительного ‘два’. Отсутствие его на индоевропейском уровне языка может свидетельствовать о том, что на этапе, когда число в парадигме показателей лица формировалось агглю-

тинативно, категории двойственного числа в праязыке ещё не существовало.

Общая парадигма местоимений, выводимых из **me*, в индоевропейском праязыке предстаёт такой:

Таблица 3.3.

значение	ед.ч.	мн.ч.
«общекосвенное» (объектное)	<i>*me / *mē</i>	<i>*me-s / *mos</i>
генитивное (притяжательное)	<i>*me-ne</i>	-

В результате анализа вышеприведённых форм индоевропейских местоимений и глагольных показателей первого лица единственного и множественного числа можно сделать вывод, что они восходят к независимому личному местоимению **me*.

На основании сравнения глагольной системы, где оно выступает в неперфектной парадигме, и местоименной системы, где (в ед.ч.) оно фигурирует в косвенных падежах, его праязыковым синтаксическим значением должно являться значение первого лица субъекта переходного глагола действия. Временные маркеры, показатели наклонений, множественности и прочие, менее ясные флективные элементы присоединились к нему позже для уточнения семантики словоформы (Тронский 1946).

Таким образом, на индоевропейском праязыковом уровне показатель 1 лица **m-* мог функционировать в качестве независимого полнозначного объектного местоимения, присоединяться к имени в качестве притяжательного показателя и быть частью глагольной словоформы в виде показателя пер-

вого лица неперфектного глагола в единственном и множественном числе.

§ 11. Ностратический показатель 1 лица **mV*

Местоимения, образованные от корня **mV-*, можно считать наиболее широко распространёнными показателями первого лица в языках Евразии. Действительно, это местоимение выражает первое лицо в большинстве языковых семей материка и используется специалистами по ностратическому языкознанию в качестве одного из важнейших доказательств генетического родства семей Евразии друг с другом. Впервые в качестве одного из аргументов генетического родства между ностратическими языками его упоминает ещё Х.Педерсен в начале XX века (Pedersen 1908: 342-343) на основании данных индоевропейских, финно-угорских, алтайских и эскимосского языков.

Несмотря на то, что существующие материалы по лексике ностратического праязыка (Иллич-Свитьч 1976; ND; Bomhard 2003) разделяют основы единственного и множественного числа личных показателей от **mV*, нам представляется очевидным, что они должны рассматриваться совместно, т.к. имеют единое происхождение и, как будет показано ниже, на ностратическом уровне не различали категории числа.

Несмотря на общность значения **mV* как показателя первого лица в ностратических языках, его более детальные узуральные различия по языкам весьма существенны.

В уральских языках **mV* является основным местоимением первого лица обоих чисел. Прямую основу формы единственного числа целесообразно вслед за П.Хайду реконструировать как **me* (Хайду 1985: 225), хотя, возможно, с бо-

лее широкой гласной фонемой типа *ä*. Как и в индоевропейских языках, косвенная основа единственного числа образована в уральских языках с помощью приращения **-nV* (Rédei 1988, I: 294); противопоставление двух основ сохранилось в коми (коми-перм. *те*, вин.п. *тепӧ*) и обско-угорских языках (хант. сев. *та*, косв.п. *тан*), в финском и эстонском также употребляются формы номинатива с **-n* и без него (фин. *minä*, *mä*), хотя последняя считается новообразованием.

В прибалтийско-финском и удмуртском также сохраняется противопоставление передней и задней огласовок в прямой и косвенной формах – последняя, по мнению В.М.Иллич-Свитыча, вызвана заднеязычным характером гласного ностратического **nV*. Хотя Б.Коллиндер (Collinder 1965: 134-135) восстанавливает прауральскую форму как **minä*, это неверно: как и в других языках ностратической макросемьи, косвенная основа в процессе развития языка вытеснила основу прямого падежа: морд. *тон* ‘я’, ненец. *тап*, фин. *minä*, селькуп. *тан* (Иллич-Свитыч 1976: 64).

В венгерском и мансийском языках наблюдается параллель с индоевропейскими языками в добавлении протетической гласной к личному местоимению: во всяком случае, К.Редеи выводит венг. *én* из **ämVnV*, с чем сравнивает также манс. (диал.) *äm*, *om*, *am* ‘я’.

Особенностью уральских языков, представляющей, как видно, более ранний архаизм, является неразличение исконных форм местоимения 1 л. в единственном и множественном числе. Основа множественного числа, как в независимом положении, так и в составе глагола, также реконструируется вполне надёжно как **те*. В ряде языков она принимает наращение местоименных аффиксов плюральности, подобно индоевропейским языкам: **-k* (фин. *те* < **mek*, лив. *тег*; в

глагольных формах: саам. *-tek*, морд. диал. *-tok*, ст-венг. *tuc*) (Иллич-Свитыч 1976: 55), **-n* (эрзя, мокша *tiñ*, сев.-манс. *tān*, нганасан. *teñ*, нен. *tañe* ?). Можно сделать вывод, что местоимение **me* в уральском праязыке не различало числа (Décsy 1990: 103; Rédei 1988, I: 294).

Можно сделать вывод, что прауральское личное местоимение выглядело следующим образом:

Таблица 3.4.

значение	ед.ч.	мн.ч.
«общекосвенное» (объектное)	<i>*me</i>	<i>*me(-k, -n)</i>
генитивное (притяжательное)	<i>*menV</i>	

Общекосвенная форма, скорее всего, засвидетельствована и в широко распространённых притяжательных аффиксах уральских языков, которые могут фонетически восходить как к **-mi* (фин., эст. *-ni* < **n-mi*, ненец., селькуп. *-mi*) (ND 1354), так в ряде случаев и к **-me*, а также к **-m* (венг. *-am / -om*, хант. *-m* и пр.). Любопытно сравнение прибалт.-фин. **-mi* с анатолийским притяжательным аффиксом *-mi-*. Во множественном числе мы снова видим агглютинативное присоединение плюралных формантов (Хайду 1985: 236-239).

Вполне надёжно реконструируется связанный аффикс **-m(V)* для форм первого лица единственного числа прауральского глагола.

По справедливому мнению В.М.Иллич-Свитыча и А.Б.Долгопольского, при прауральской реконструкции этого глагольного показателя речь должна идти о древнем финальном гласном, на существование которого указывают эстонское *-n* и саамское *-m* (Иллич-Свитыч 1976: 65; ND 1354).

Однако, по-видимому, эта гласная отпала ещё на этапе распада уральского праязыка, и на сегодняшний день мы не можем судить о её качестве.

Глагольный личный аффикс **-m(V)* оформляет переходные глаголы с наличием определённого объекта, противопоставляясь безобъектному (абсолютивному) типу спряжения, что лучше всего отражено в венгерском и селькупском языках.

Независимым личным местоимением первого лица в юкагирском языке является *met*, мн.ч. *mit*, финальный согласный которого Вяч.Вс.Иванов сравнивает с финно-угорским, индоевропейским и афразийским формантом аккузатива при местоимениях (Иванов 1990). В вопросительной форме субъекта первого лица ед.ч. глагола употребляется личный аффикс *-m*, который Б.Коллиндер обнаруживает также в посесивных формах колымского диалекта (Collinder 1940: 11).

Алтайское личное местоимение 1 л. ед.ч. реконструируется как **bi* (EDAL 225, 341-342), и основной гипотезой его происхождения считается ранний праалтайский переход **mi* > **bi*. Фонетическая природа этого перехода неясна, на её счёт высказываются различные гипотезы. Скорее всего, согласно мнению В.М.Иллич-Свитыча и А.Б.Долгопольского, подобный переход сонанта в губной смычный закономерен в односложных словах с открытым слогом, чему есть определённое количество примеров подтверждений (Иллич-Свитыч 1976: 55-56, 65). На сегодняшний день эта точка зрения поддерживается большинством алтаистов, к ней склоняется и автор.

Исходная японская форма местоимения восстанавливается как **bà-* > др.-яп. *wa* без различия по числу (EDAL 341-342). Р.А.Миллер в своих трудах постулирует наличие в древнеяпонском местоимения 1 л. ед.ч. *mī*, приводя пример *mī-ni-wa*

aredö ‘хотя я и являюсь’ (Miller 1971: 158-159). Эта форма, впрочем, должна считаться сомнительной с точки зрения фонетики: нормальным праяпонским рефлексом алтайского *b- было бы *w-, в то время как японское *m происходит из алтайского *m⁹.

Р.А. Миллер цитирует обнаруженное им в «Маньёсю» диалектное др.-яп. *wan(u)* ‘меня’, сравнимое с косвенными формами алтайских и других ностратических местоимений (Miller 1967: 163).

Корейский рефлекс показателя *mV засвидетельствован только во множественном числе личного местоимения 1 лица *uri* (EDAL 341-342). Эта форма надёжно возводится к *bu-ri, ср. диалектное *wuri* (Ramsey 1978: 110) с суффиксом множественности, сравнимым с тюрк. *-r̄. В результате отсутствия в японском и корейском системы личного словоизменения глагола употребление личных показателей в обоих языках исключительно независимое.

Косвенная основа тюркского местоимения надёжно реконструируется как *män- и в абсолютном большинстве тюркских языков по аналогии была распространена на всю парадигму (EDAL 225), причём настолько широко, что это позволило Г.Рамстедту реконструировать форму им.п. с *-n (Ramstedt 1952-1957, II: 68). Однако древнее противопоставление сохранилось в чувашском языке в виде *erё* < *e-bi ‘я’ – род.п. *manan* ‘меня’.

Чувашская форма даёт пищу и для сравнения с указанными выше уральскими и индоевропейскими формами личного

⁹ Любопытно сравнение др.-яп. *mi* с лексемой *mi* ‘тело’: происхождение личных местоимений 1 лица из лексем с подобным значением типологически очень часто встречается в языках мира.

местоимения 1 л. ед.ч. с протетическим гласным (греч. *ἐμοι*, лув. *ати*, арм. *ит*, венг. *én*, манс. *äṁ*). Возможно, речь идёт об общеностратической особенности протетической эмфазы, свойственной именно форме со значением ‘я’.

Косвенной основой личного местоимения 1 л. ед.ч. в монгольских языках является **mini*, повторяющая, таким образом, тюркскую модель, но с несколько иной, узкой огласовкой. Несмотря на то, что типологически наиболее вероятным является развитие как тюркского *ä*, так и монгольского *i* из более древнего алтайского **e*, огласовка общеалтайской формы остаётся неясной, и в дальнейшем будет обозначаться нами как **mV-nV*.

Независимое личное местоимение 1 лица мн.ч. в алтайских языках образовано от той же основы **bi-* с добавлением маркера множественного числа **-r* (Иллич-Свитыч 1976: 65; EDAL 222). Агглютинативный порядок композиции формы плюралиса повторяет структуру строения местоимения мн.ч. в индоевропейских и уральских языках.

В итоге получаем следующую картину парадигмы общеалтайского местоимения:

Таблица 3.5.

значение	ед.ч.	мн.ч.
номинатив	<i>*(e)bi < *mi</i>	<i>*bi-r</i>
косвенное	<i>*mV-nV (*mä-nV, *me-nV)</i>	-

Отметим присутствие *-m* в тюркских языках в качестве основного аффикса притяжательности 1 л. ед.ч. при имени (Dolgopolsky 1984: 77). Во множественном числе его формой является *-miz*, являющееся тюркской инновацией с аффиксом плюральности.

В качестве личного аффикса в составе финитной глагольной словоформы для праалтайского реконструируется **-mān*, относимое к т.н. «первой» серии алтайских личных аффиксов и восходящее к форме независимого личного местоимения **mV-nV* (Котвич 1962: 172). Функция связанного личного аффикса для этой формы является инновацией, что можно сказать и обо всей парадигме «первой» серии современного личного глагольного спряжения в тюркских языках (СИГТЯ 124).

В монгольских и тунгусо-маньчжурских языках личное спряжение глагола находится в стадии формирования на основе прямых форм личных местоимений. В ряде тунгусо-маньчжурских и монгольских диалектов при глаголе обнаруживается личный суффикс 1 л. ед.ч. *-b / -w* (вариации см. Приложение 2): в этой форме мы также имеем дело со сравнительно недавними новообразованиями из прямой основы личного местоимения *bi* (Sinor 1988: 726). Во множественном числе в тунгусо-маньчжурских языках такой формой является *-wip*.

В дравидийских языках суффикс **-m* функционирует в формах личных местоимений и глагольных показателей лица во множественном числе. Дравидийские языки различают категорию эксклюзивности / инклюзивности, однако в данном случае предпочтения аффикса **-m* определить невозможно: он одинаково широко засвидетельствован и в эксклюзивных, и в инклюзивных формах. Кроме того, существуют справедливые сомнения в том, что этот суффикс вообще можно сравнивать с личными местоимениями других ностратических языков – он употребляется и во 2 л. и скорее всего является показателем множественности, нежели чем лица (Krishnamurti 2003: 246-247, 308). Впрочем, Г.С.Старостин (2006) полагает, что в результате фонетического сдвига ностратическое **mā* было трансформировано в

прадравидийское инклюзивное $*Vm$, где конечное $*-m$ было позже переосмыслено как формант множественного числа и стало одной из составных частей «нового эксклюзива» $*nuām$. Доказательной базы для подтверждения этого положения мы не находим.

В.М.Иллич-Свитыч сопоставляет ностратическое местоимение $*mV$ со смешанной инклюзивно-эксклюзивной косвенной основой дравидийского местоимения множественного числа $*mā$, представленной в телугу и в гондванских языках. Однако, по мнению Г.С.Старостина, эта дравидийская форма представляет собой усечённый вариант обычной дравидийской косвенной основы 1 л. мн.ч. $*uet-$, где $-m-$ – всё тот же плюральный аффикс.

На сегодняшний день надёжных рефлексов $*m-$, сравнимых с рассмотренными формами индоевропейских, уральских и алтайских языков, не установлено.

Картвельские языки демонстрируют продуктивный характер $*me$ как основной формы личного местоимения первого лица единственного числа. На пракартвельском уровне просматривается аналогичное индоевропейскому, уральскому и алтайскому распределение основ: $*me$ в функции прямого падежа и $*me-n(V)$ в функции косвенного падежа. В лазском и грузинском языках произошло выравнивание парадигмы путём вытеснения прямой основы косвенной $*men-$, но древнее распределение сохранилось в диалектах мегрельского языка (им. *ta*, косв. *tan-*) (ND 1354). В сванском языке исчезла основа косвенного падежа, вытесненная местоимением $mi < *me$ (Климов 1964: 132). Варьирующий гласный может свидетельствовать о древнем аблаутном чередовании (Иллич-Свитыч 1976: 63), но наличие формы $*me$ в пракартвельском представляется несомненным.

Тем не менее надо признать, что вскоре после распада пракартвельского языка система распределения основ **me* / **men*- была нарушена. И если в качестве номинативной формы утвердилась одна из этих двух основ, то в качестве новой косвенной основы была принята форма с относительной частицей **č(k)e*-. То, что сращивание частицы с личным показателем в единую словоформу произошло уже в самостоятельных языках, доказывается формой в сванском языке, где частица, согласно синтаксическим нормам, стала суффиксальной (груз. род.п. *če-m*, мегрело-чанское *čki-mi*, *čkə-mi*, сван. **mi-čk-u* > *mišgu*) (Тестелец 1995: 19).

Картвельское местоимение 1 л. мн.ч. **č(w)en* 'мы, наш' также содержит эту частицу и является контаминацией её с неким собственно личным показателем. Элемент *-n* в этом слове А.Б.Долгопольский объясняет из **-m*, а В.М.Иллич-Свитыч, в свою очередь, считает возможным переход **č-men* > **čwen*, также вычлняя здесь ностратическое **m*. Обе гипотезы сложно доказуемы с типологической и фонологической точки зрения из-за сильной неразберихи с консонантными комплексами в пракартвельском (ND 1354; Иллич-Свитыч 1976: 54; Тестелец 1995).

В системе картвельского глагола **m*- функционирует в качестве префикса 1 лица ед.ч. в объектном, т.н. «относительном» спряжении (т.е. спряжении переходных глаголов) во всех языках семьи. Для показателей 1 лица субъекта в абсолютном (непереходном) спряжении используются другие показатели. Следы использования **m*- для выражения обоих чисел в картвельском глаголе отмечены в старогрузинских (*še-m-i-č qalen čwen* 'помилуй нас!') и мегрельских (*čki m-iyuna* 'nobis est') объективных формах (Кипшидзе 1914: 080; Климов 1964: 123; Иллич-Свитыч 1976: 53; ND 1354). Необходимо отметить, что единственное и множественное число в

глагольных префиксах лица противопоставляется нерегулярно: в картвельском праязыке это противопоставление, по видимому, вовсе отсутствовало.

В.М.Иллич-Свитыч, отстаивающий гипотезу инклюзивного значения реконструируемого им ностратического местоимения 1 л. мн.ч. **mā*, находит его следы в сванских формах, однако именно в этом языке – единственном, имеющем категорию эксклюзивности / инклюзивности, – картвельское **m-* как показатель объекта множественного числа отсутствует, заменённый другим формантом, что свидетельствует против мнения В.М.Иллич-Свитыча. А.Ониани более верно восстанавливает **m-* как эксклюзивное местоимение в пракартвельском (Ониани 1965: 230-234; Иллич-Свитыч 1971: 6-7; 1976: 53), хотя в целом нужно отметить, что реконструкция категории инклюзивности / эксклюзивности для праязыка при наличии одних лишь сванских данных является проблематичным.

Для ностратического праязыка мы можем постулировать следующую реконструкцию данного личного показателя:

Таблица 3.6.

значение	форма
номинатив	<i>*mV</i>
косвенное	<i>*mV-nV</i>

Отметим, что наиболее предпочтительной гласной фонемой в корне можно считать **e* или даже её более открытый вариант **ā*. Реконструкция В.М.Иллич-Свитычем (1971: 7) формы **mī* для единственного числа не находит подтверждения ни в индоевропейских (здесь мы видим **me*), ни в уральских языках (прямая форма также **me*). Картвельское соот-

ношение **te* для грузинско-занского и **ti* для сванского позволяет опираться на сванский вокализм только с помощью тезиса об общей архаичности сванской фонетики. Форма с **-nV* также приводит к реконструкции **ä* или **e*, в том числе благодаря алтайскому **mān-*.

Для гласной в составе **nV* можно предположить заднеязычный характер, однако более смелые гипотезы здесь выдвигать опасно: очевидно, что в процессе сосуществования эти две морфемы унифицировали свой вокализм.

Помимо языков, относимых к ядру ностратической макросемьи, показатель первого лица **mV* засвидетельствован во множестве языков Евразии, древних и современных, родство которых с ностратическими является гипотетическим.

Независимое местоимение 1 л. ед.ч. в чукотско-камчатском реконструируется как композиция двух основ **γə-m(ə)*, из которых собственно личным показателем является вторая (как следует из формы 2 л. ед.ч. чук. *γym*). Местоимение 1 л. мн.ч. чук. *мури* также возводимо к **mV-* (Мудрак 2000: 39, 97), где элемент *-r-* может быть родственным тюркскому форманту множественного числа **-r'* в **bir'* 'мы'.

Отдельные и подчас весьма любопытные следы показателя **mV* обнаруживаются в эскимосско-алеутских языках. Так, в языке азиатских эскимосов *-ta* является притяжательным маркером 1 л. обоих чисел в относительном падеже, играющем в языке роль, близкую к роли как субъекта переходного глагола, так и прямого объекта (Меновщиков 1997: 77). Относительный падеж в эскимосско-алеутских языках маркирует: 1) лицо подлежащего при топикализации любого другого актанта; 2) имя обладателя в посессивном сочетании; 3) зависимую глагольную форму (Головко 1997: 107).

Стандартным показателем 1 л. мн.ч. глагола в алеутском языке является *-mas*, эскимосское *-tan* – обе формы, возможно, перекликаются с аналогами в индоевропейских и уральских языках (Головкин 1997: 113; Blažek 1995: 13).

В нивхских диалектах легко просматривается местоимение 1 л. **mV-*, исходя из форм дв.ч. (амур.) *мэги/мэгэ*, (вост.-сахалин.) *мэң*, (сев.-сахалин.) *мэмак*; мн.ч. инклюзива (амур., сев.-сахалин.) *мэр/мир*, (вост.-сахалин.) *мин* (Груздева 1997: 149).

Три вышеперечисленные группы диалектов, объединяемые в составе условной общности палеоазиатских языков, весьма часто сравнивают с ностратическими, предполагая их (возможно, отдалённое) генетическое родство (Dolgopolsky 1984; Greenberg 2000). Дальнейшие исследования должны ответить на вопрос, как схождения в области морфологии могут быть подкреплены регулярными фонетическими соответствиями.

В языках афразийской семьи показатели, образованные от корня с центральной фонемой **m*, засвидетельствованы в чадских и кушитских языках. Его сравнение с ностратическими данными не всегда корректно, так как затемнено или не до конца выяснено происхождение и развитие многих чадских и кушитских местоимений.

Для прачадского реконструируется личное местоимение первого лица мн.ч. инклюзива **tuni*, которое В.М.Иллич-Свитыч представляет как **m(n)*, имея в виду неясную гласную фонему в корне. На основании сравнения хауса **mi*, сура-герка *tun(i)*, боле-тангале *тана*, хиги *-tun* (объект. *twa*), котоко *-ти* и других его отражений стоит признать, что правильной реконструкцией будет скорее **tun(V)* (Blažek 1991:

40-41). В ряде случаев (в языках сев. и юж. баучи) эта форма переходит по аналогии на единственное число.

Эти чадские формы сложно сравнивать с ностратическими рефлексамии в индоевропейских, уральских, алтайских и картвельских языках, где, как показано выше, центральной гласной личного показателя являлась **e / *ä*. Элемент **-n-* в чадских языках также не может быть сравниваем с ностр. **-nV*, поскольку, во-первых, речь идёт о форме мн.ч., в отличие от **nV* в ед.ч. в ностратических, а во-вторых, с большей вероятностью чадское **-n-* может быть названо плюральным аффиксом, широко распространённым в афразийских языках. Однако существует возможность формально увязать афразийскую форму с корейским **buri < *muri* 'мы' и чукотско-камчатским *мури*, в котором элемент **-r-* также может быть назван древним плюральным суффиксом (ср. тюркское *biz < *bir*). Подобное сравнение (совпадают структура формы, корневая лексема, огласовка и значение) может отражать древнейшее генетическое родство между ностратическими, афразийскими и чукотско-камчатскими языками.

С большей вероятностью мы находим возможность сравнения с ностратическими данными в формах посессивных суффиксов чадского (бура) *-mi*, (пидлимди) *-ta* и восточно-горно-кушитского (камбата) *-mi* (*yom-mi* 'есмь', *yon-ti* 'еси') и (сидамо) *-to*, где они и синтаксически, и фонетически соотносятся с ностратическим материалом (Blažek 1991: 38, 49-50; Dolgopolsky 1984: 73; Bomhard 2003: 430). Однако изолированность, нераспространённость этих форм мешает более чёткому доказательству их родства как между собой, так и с ностратическими.

В этрусском языке отмечено личное местоимение *mi*, с полной аналогией ностратической косвенной основы в форме вин.п. *mini* ([Bomhard 2003: 432] единственным из ностра-

тистов вводит этрусский в состав ностратической макросемьи). Впрочем, на этапе распада этрусского языка эти данные могли быть почерпнуты хронистами уже из некоего латинско-этрuscoго пиджина, элементы которого могли формироваться в Италии первых веков нашей эры: причём, как и во многих пиджинах, форма номинатива могла быть заимствована из латинского аккузатива (ср. ток-писин *mi* 'я' < англ. *me* 'меня'; кяхтинское косвенное местоимение *моя* 'я').

Было бы весьма необычно с типологической точки зрения делать предположение о личном местоимении первого лица как «культурном» термине, мигрирующем по Евразии – других подобных случаев в лингвистике не засвидетельствовано; однако столь же странно видеть столь схожие формы личных показателей в языках, родство которых не прослеживается на лексическом уровне с помощью традиционного сравнительно-исторического метода.

Одним из предположений является гипотеза о заимствовании местоимения типа **mV* из ностратического в другие языки древней Евразии. Однако, хотя в зарубежном типологическом языкознании можно встретить утверждения о распространённости заимствований личных местоимений между языками, абсолютное большинство примеров касается генетически близко родственных языков. Именно так древнеанглийский воспринял скандинавские формы 3 л. мн.ч. *they*, *their*, *them*. Другим распространённым случаем является заимствование личных местоимений и других элементов морфологии на поздних стадиях ассимиляции языка – ср. выше об этрусском языке периода последних столетий его существования. Другие примеры заимствования личных местоимений см. (Siewierska 2004: 274-277).

Единственный найденный нами пример заимствования личного местоимения 'я' имеет особую социолингвистическую подоплёку (предоставлен В.И.Беликовым): в двух территориально смежных, но в лучшем случае лишь очень отдаленно родственных папуасских языках камбот и ятмул системы личных местоимений представляют собой «зеркальное отражение»:

ка м б о т	я т м у л
<i>nyɨ</i> 'я'	<i>nyɨn</i> 'ты (женщина)'
<i>wɨn</i> 'ты'	<i>wɨn</i> 'я'.

Такое положение вряд ли можно объяснить иначе как именно заимствование, основанное на принципе социолингвистической аккомодации к речи собеседника.

С большей долей вероятности можно предположить наличие генетического родства между языковыми семьями Евразии, где в числе основных личных показателей фигурирует **mV*.

На основании проведённого выше анализа можно сделать ряд выводов о характере и синтаксических значениях ностратического показателя первого лица **mV*.

Прежде всего, стоит рассмотреть вопрос об отношении ностратического **mV* к категории числа. Во всех семьях языков, объединяемых в состав ностратической макросемьи, он засвидетельствован как в единственном, так и во множественном числе (индоевропейские, уральские, юкагирский, алтайские, картвельские, а также чукотско-камчатские и эскимосско-алеутские). В корейском языке данный показатель сохраняется только в плуралесе, в то время как единственное число образуется от других лексических основ. В японском, индоевропейских, картвельских и уральских языках имеются очевидные следы древней индифферентности данного личного показателя к числу. Можно утверждать, что

ностратическая праформа для обоих чисел формировалась от единой лексической основы, а различие форм двух чисел было маркировано позже распада общности.

Распределение парадигм личных показателей по признаку числа было принято американской типологической школой в качестве одной из лингвистических универсалий (Greenberg 1963: 96). Последующие исследования показали, что и это правило имеет множество исключений, однако большинство языков мира использует категорию числа в парадигмах показателей лица, как независимых, так и связанных. При этом число выражается с помощью одного из двух средств – либо супплетивизмом основ, либо агглютинативной аффиксацией.

Языки, объединяемые в составе ностратической макросемьи, в основной своей массе демонстрируют суффиксальное образование множественного числа личного местоимения и личных глагольных показателей 1 лица. Некоторые примеры такого рода единства приведены в таблице:

Таблица 3.7.

	ед.ч.	мн.ч.
индоевропейские	<i>*me / *mē, *-m</i>	<i>*mes, *-mos, *-men</i>
уральские	<i>*me</i>	<i>*men, *-mek</i>
алтайские	<i>*bi < *mi</i>	тюрк. <i>*bir</i> кор. <i>*wuri</i>
картвельские	<i>*me, *m-</i>	<i>*m-</i>
афразийские	чад. <i>-mi, -ma</i> вост-кушит. <i>-mi,</i> <i>-mo</i>	чад. <i>*mini</i>
чукотско-камчатские	<i>гы-м</i>	<i>мури</i>
эскимосско-алеутские	притяж. <i>-ma</i>	<i>-mas, -man</i>

Таким образом, наличие исходного показателя **mV* в основах показателей первого лица как единственного, так и

множественного числа поддаётся реконструкции на ностратическом уровне. С точки зрения типологии это вполне распространённый тип парадигматической конструкции.

Агглютинативный способ маркирования плюральности является одним из широко распространённых в языках мира. Ср. строение парадигмы личных местоимений в бирманских языках:

	ед.ч.	мн.ч.
1	<i>ke(i)</i>	<i>keni</i>
2	<i>nang</i>	<i>nangni</i>
3	<i>ani</i>	<i>anni</i> (язык мизо, пример из

[Siewierska 2004: 80]).

Аналогичная структура представлена в енисейских языках, где для праязыка восстанавливается следующая парадигма с суффиксом мн.ч. **-ŋ*:

	ед.ч.	мн.ч.
1	<i>*ʔaz</i>	<i>*ʔazəŋ</i>
2	<i>*ʔaw</i>	<i>*ʔawoŋ</i>
3	<i>*wV</i>	<i>*wVŋ</i> ? (пример из [Старостин

1995: 148]).

Формировалось ли множественное число уже в ностратическом праязыке с помощью плюрального аффикса? Скорее всего, как показывает таблица, различные аффиксы были адаптированы для этой цели уже в самостоятельных диалектах, т.е. единой праформы для местоимения 'мы' от данной лексемы (типа **mā* В.М.Иллич-Свитыча) для ностратического языка не восстанавливается. Так, типичные для своих языков показатели множественности в парадигме показателей первого лица демонстрируют индоевропейские (**-s*, **-n*), уральские (**-n*, **-k*), алтайские языки (**-r*). Аблаутное различие гласной показателей единственного и множественного

числа в ряде языков может свидетельствовать как о древней отпавшей финальной согласной, так и о гласной фонеме на конце формы. Мы приходим к выводу, что система местоимений подвергалась влиянию именного формообразования уже на этапе ностратической общности – этот процесс позже можно наблюдать во множестве языков ностратической макросемьи, в первую очередь – в индоевропейских, что хорошо видно на примерах парадигм личных местоимений конкретных языков (см. Приложение 1).

Важно отметить, что агглютинация, зафиксированная в индоевропейском глагольном аффиксе и личном местоимении 1 л. мн.ч., восходит к аналогичному явлению в ностратическом праязыке.

Далее следует рассмотреть вопрос о других оттенках синтаксического значения ностратического личного показателя **mV*.

Можно заметить склонность **mV* к выражению значения субъекта действия при транзитивном глаголе. Другие функции, переключаясь с общим значением транзитивности, – употребление **mV* в качестве особой косвенной (посесивной, аккумулятивной) основы личной местоимения, в качестве притяжательного аффикса при имени.

Среди языков мира маркировка объекта в личных глагольных формах является сравнительно редкой (Siewierska 2004: 43), среди засвидетельствованных ностратических языков таких тоже немного – можно выделить картвельские языки, которые разделяют эту типологическую черту с соседними кавказскими языками, древними языками Передней Азии (Дьяконов 1967) и, возможно, заимствовали её как ареальную характеристику морфологии вместе с другими особенностями эргативных языков.

В индоевропейском **te* формирует основу личного местоимения 1 л. ед.ч. в косвенных падежах и личный неперфектный глагол. Синтаксическое значение его приглагольного использования особенно ярко выражено в индоевропейском противопоставлении двух серий личных окончаний, из которых **mV* относится к инфективно-транзитивной парадигме, противостоящей парадигме второй, перфективно-интранзитивной (ещё называемой «стативной») серии. В анатолийских языках заметны следы его древнего использования в качестве притяжательного суффикса при имени – рудимент того состояния индоевропейского (или индохеттского) праязыка, который ещё не выработал категории независимых притяжательных и генитивных местоимений.

В уральских языках глагольный аффикс **-m* маркирует объектное (транзитивное) спряжение, которое в ряде языков чётко противопоставлено субъектно-абсолютивному. Особенно явственно это противопоставление заметно в венгерском (финно-угорская группа) и селькупском (самодийская группа) языках, что увеличивает достоверность прауральской реконструкции, предложенной ещё Е.А.Хелимским (1979). В качестве основного прауральского притяжательного суффикса первого лица (т.е. показателя косвенной формы) также логично используется транзитивный показатель **-m*.

Двойная маркировка актантов в картвельском глаголе, как уже говорилось, возможно, является ареальным новообразованием и развилась уже на собственно картвельской почве. Картвельские языки носят черты, свойственные языкам эргативного типа (Иванов 1979: 14-15). При этом можно предположить, что **mV*, докартвельская косвенная форма транзитивного местоимения, при формировании полиперсонального спряжения трансформировалась в глагольный показатель

прямого объекта. Это значение, впрочем, выражается нерегулярно: напр., в древнегрузинском языке лицо объекта в им.п. при переходном глаголе не обозначается (Чикобава 1976).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что транзитивное, объектное значение индоевропейского местоимения 1 лица **me* восходит к доиндоевропейскому языковому состоянию и находит параллели в других языках, относимых к ностратической макросемье.

Можно утверждать также, что в ностратическом праязыке показатель **mV* не носил связанного характера и выступал в качестве независимого личного местоимения. Об этом свидетельствуют вариации его синтаксической роли в предложении и словоформе – префиксы в картвельских языках, суффиксы в уральских и индоевропейских языках, приименное (притяжательное и предикативное) и приглагольное положение, функционирование в качестве как независимых местоимений, так и клитик, и аффиксов.

Падежное склонение показателя **mV* не восстанавливается на ностратическом уровне. При этом, тем не менее, мы можем с уверенностью реконструировать косвенную форму местоимения 1 л. ед.ч. **mV-nV*, выполнявшую в т.ч. и притяжательную функцию и в последующем занявшую своё место родительного падежа в парадигме склонения во многих языках макросемьи:

Таблица 3.8.

индоевропейские	род.п. <i>*me-ne</i>
уральские	косв.п. <i>*menV</i>
алтайские	косв.п. <i>*mVnV-</i> (<i>mānV-</i> , <i>menV-</i>)
картвельские	косв.п. <i>*men</i>

Резюмируем анализ данного личного показателя, проведённый в последних двух параграфах, следующим образом:

1. Индоевропейское косвенное личное местоимение 1 л. ед.ч. **me*, личное местоимение 1 л. мн.ч. **mes*, глагольные показатели 1 л. ед.ч. **-m* и мн.ч. **-me-* / **-mo-* имеют единое генетическое происхождение.

2. На основании внешнего сравнения индоевропейских форм с материалом других ностратических языков реконструируется ностратический показатель 1 л. **mV* (предположительно **me* / **mä*), игравший в праязыке роль независимого личного местоимения.

3. Для ностратического языка восстанавливается также косвенная (притяжательная) форма местоимения **mV-nV*.

3. Основным синтаксическим значением ностратического показателя **mV* было значение субъекта 1 л. обоих чисел при переходном глаголе.

Можно только гадать о глубинных истоках происхождения ностратического местоимения 1 л. **mV*, однако логично предположить, что оно имеет лексические истоки. Необходимо учитывать и описанный выше известный типологический факт происхождения местоимения 'я' из лексем со значением 'сам, тело' в различных языках мира. Исходя из этого, наиболее подходящей ностратической лексемой, которую можно предположить в качестве родоначальника местоимения **mV*, является корень **menV* 'сам, тело' (ND 1434).

Его рефлексy в различных ностратических языках не вызывают сомнений в его реконструкции на праязыковом уровне. В дравидийских языках корень **mēni* 'телo' восстанавливается по материалам языков всех подгрупп (DED 5099).

В алтайских языках мы видим схожие значения у лексемы **mēnV*, имеющей рефлексy в яп. **mānə* > *топо* 'вещь, пред-

мет', тунг.-маньч. **mēn* 'сам, свой', монг. *mōn* 'он, тот же самый' и кор. *tom* 'тело'.

На роль родственной формы может претендовать и греческое *μoνoς* 'один', а также афразийские корни типа восточно-кушитского **mVn* 'один'.

Предположение о происхождении местоимения из лексемы **menV* с типологической точки зрения вполне имеет право на существование. В этом случае, однако, приходится признать древнюю редукцию этой формы, что довольно часто происходит при формировании местоимений. Во всяком случае, уже на уровне ностратического праязыка местоимение **mV* было односложным, что хорошо показывают алтайские языки, где только в моносиллабических корнях зафиксирован переход **b- > *m-*.

§ 12. Индоевропейский ларингальный показатель 1 лица

Ларингальный личный показатель является, пожалуй, наименее разработанным среди индоевропейских формантов первого лица. Из-за исчезновения ларингала в большинстве индоевропейских диалектов фонемный состав флексий сильно видоизменился, в результате чего потребовалось немало времени, прежде чем исследователи пришли к более или менее единому мнению относительно следов ларингальных личных показателей в индоевропейских языках.

К ларингальному показателю возводятся следующие формы:

- 1) в форме 1 л. ед.ч. перфекта (статива) **-Ha* или **-H₂e*;
- 2) в форме 1 л. ед.ч. "тематического" спряжения презенса **-oH* или **-oH₂*;

3) в форме 1 л. ед.ч. медиа *-H- или *-H₂-;

4) в формах 1 л. ед.ч. т.н. *hi*-спряжения в анатолийских языках *-hi / -ha*.

В рамках теории о двух сериях глагольных окончаний в индоевропейском языке все четыре указанных рефлекса были справедливо объединены общим происхождением. Теория, основы которой заложена Е.Куриловичем (Kurjulowicz 1932) и Х.Педерсеном (Pedersen 1938), была детально разработана Вяч.Вс.Ивановым (1959) и В.Н.Топоровым. Её основной постулат – объединение в единую серию с синтаксическим значением интранзитива (или статива) окончания индоевропейского медиа, перфекта, тематического спряжения инфинитива, а также хеттских форм на *-hi* в противовес индоевропейскому транзитивному (атематическому) спряжению на **-mi*. Подробный обзор и критика теории двух серий глагольных окончаний содержится в третьем томе «Индоевропейской грамматики» авторства К.Уоткинса (Watkins 1969: 66-68, 105-107). Более поздние исследования по теории двух серий глагольных окончаний описаны в работе Вяч.Вс.Иванова (Иванов 1981).

Наиболее доказанным представляется существование ларингального личного аффикса в форме 1 л. ед.ч. индоевропейского перфекта (называемого также стативом). Окончания в формах типа др.-инд. *ved-a*, греч. *οἶδ-α* ‘знаю’ практически единогласно трактуются в современных исследованиях как ларингальные, хотя подчас реконструируются в причудливых формах ([Lehmann 2002:71] **-χ-e*; [Гамкрелидзе-Иванов 1984]: **-Ha*; [Dolgopolsky 1984: 58] **-He*; [Bomhard 2003: 435] **-hhe* и пр.). Наиболее корректным вариантом реконструкции является **-Ha*, исходя из заднего гласного греческих и древнеиндийских форм.

Ларингал, присутствующий здесь, это именно та фонема, которая при выпадении окрашивает последующую гласную в **a*. Скорее всего, таким образом, речь идёт о заднеязычном или более глубоком звуке: её обычно восстанавливают как велярный щелевой (Rasmussen 1999: 74) или фарингальный щелевой (Beekes 1994). Если так, то **-Ha* восходит к **-H₂e*.

Ларингальный элемент присутствует и в аффиксе второго лица перфектной (второй) серии индоевропейского глагола в единственном числе. Обычно для трёх лиц восстанавливаются следующие формы (Иванов 1981: 49):

1 л. ед.ч.	<i>*-H₂e</i>
2 л. ед.ч.	<i>*-t-H₂e</i>
3 л. ед.ч.	<i>*-e</i>

В третьем лице ларингального звука, очевидно, не было, т.к. гласная фонема не меняет своего качества в тех языках, где ларингал выпал.

О чём может свидетельствовать данная реконструкция? Во-первых, можно сделать вывод, что в третьем лице личное окончание было нулевым, что является типологически нормальным для систем спряжения многих языков мира, в т.ч. и индоевропейских, особенно в перфектной серии. Во-вторых, ларингальный показатель был распространён на форму второго лица.

Последнее заставляло ряд исследователей сделать вывод, что ларингальная морфема в перфектных формах является скорее не личным, а видо-временным показателем. Вяч.Вс.Иванов (1981: 50) считает его показателем второй серии индоевропейских глаголов, к которой он относит многие основы с финальным ларингалом – **dheH-*, **doH-*, **stoH-* и др.

Однако если предположить, что ларингальная фонема не является показателем лица, то этот последний сложно и вообще обнаружить в формах 1 л. ед.ч. перфекта. Во втором лице единственного числа ларингалу предшествует нормальный личный показатель **-t-*, что, казалось бы, должно свидетельствовать о структуре словоформы «Stem – Pers – Perf», но в этом случае структура, где видо-временной показатель следует за показателем лица, не соответствует схеме морфологической ранговой последовательности аффиксов индоевропейской глагольной словоформы (Гамкрелидзе – Иванов 1984).

Впрочем, гипотезы о толковании **-H-* как личного и как видо-временного показателя не обязательно противоречат друг другу, если допустить раннюю трансформацию его значения – распространение его на всю перфектную парадигму. В процессе развития язык мог переосмыслить формант 1 л. как показатель перфекта, который и стал прообразом форм индоевропейского перфекта и медия, по аналогии был спроецирован на форму 2 л., присоединяясь к личному показателю **-t-*.

Скорее всего эта аналогия распространилась и на формы множественного числа. В древнеиранском мы видим перфектные окончания 1-2 л. мн.ч., восходящие к **-mē*, **-tē*, т.е. пережившие удлинение гласной после выпадения ларингального. Отсутствие этого удлинения в санскрите и древнегреческом объясняется тем, что окончания мн.ч. были унифицированы с типом имперфекта.

Перфектное спряжение в индоевропейских языках обычно сравнивают с т.н. *hi*-спряжением в анатолийских языках – первым их признал происходящими из единого генетического источника Е.Курилович (Kurýłowicz 1932), гипотеза кото-

рого в настоящее время считается общепринятой. По мнению А. Камменхубер, древнейшей формой анатолийского спряжения является **-ha*, засвидетельствованное в прошедшем времени в лувийском языке (*ašha* ‘я был’) и в точности соответствующее индоевропейскому (греко-индоарийскому) перфектному **-Ha* (Kammenhuber 1969: 320). В хеттском это окончание сохранилось в форме среднего залога *-ha*, в то время как форма настоящего времени *-hi*, по всей видимости, содержит индоевропейскую «актуально-презентную» частицу **-i*. Основным препятствием к стройной реконструкции праязыкового прошлого анатолийских и прочих индоевропейских форм является тот известный факт, что, в то время как индоевропейское **-Ha* отчётливо является маркером перфектно-стативных безобъектных глаголов, хеттское спряжение на **-hi* объединяет вовсе не только перфективные глаголы, но и часть переходных. К этой проблеме мы вернёмся чуть ниже.

Происхождение индоевропейского маркера 1 л. ед.ч. среднего залога **-H-* (сторонниками мультиларингальной гипотезы также восстанавливается как **H₂*, ср. [Beekes 1995: 252]) также связывают с формами индоевропейского перфекта, исходя из их формального и семантического сходства. Форма перфекта нередко имеет параллельную форму среднего залога в настоящем времени, типа греч. *δερκομαι* – *δεδорκα* ‘вижу, увидел’. Кроме того, индоевропейский перфект не имел форм среднего залога. Ещё одним сходством двух категорий является отсутствие противопоставления первичных и вторичных окончаний. В результате принято реконструировать единую подсистему окончаний перфекта / медиа, которую можно назвать стативной, так как глаголы в

формах медиа и перфекта обозначают состояние (Beekes 1995: 253).

Парадигма медиальных окончаний восстанавливается следующим образом (Beekes 1995: 240):

Таблица 3.9.

	переходные	непереходные
1 ед.	<i>-mH₂</i>	<i>-H₂</i>
2 ед.	<i>-stH₂o</i>	<i>-tH₂o</i>
1 мн.	<i>-me(s)dhH₂</i>	<i>-medhH₂</i>
2 мн.	<i>-t-dh₂e</i>	<i>-dh₂e</i>

Праформа 1 л. ед.ч. может быть восстановлена на основании хеттского *-ha(ha)ri*, др.-инд. *-e < *-ai*, лат. *-or*, тох. *-ār*. Повсюду мы видим добавление дополнительного элемента в виде **-r*, характерного для медиального спряжения, или **-i* как показателя актуальности. Отняв эти элементы, мы вполне корректно получаем форму **-Ha* или **-H₂e*, аналогичную перфектному окончанию 1 л. ед.ч. Формы медиа на **-mH*-инкорпорировали личный показатель **-m-* по аналогии с активным спряжением, и произошло это, скорее всего, уже после распада праязыка, т.к. такие формы отмечены лишь в греч. *-μαι* и тох. *-mar / -mai*.

Форма множественного числа восстанавливается как **medhH₂* с неким, возможно, медиальным зубным элементом при сопоставлении греч. *-με(σ)θα*, др.-инд. *-mahe*, тох. *-mtär / -mte*.

Ещё одним важным элементом системы показателей лица, содержащим ларингал, является «тематическое» окончание 1 л. ед.ч. индоевропейского глагола, восстанавливаемого традиционно в диахроническом освещении как **oH₂ > *ō*. Во всей парадигме чередующийся тематический гласный **o/e*

может быть легко отсечён и не является показателем лица – то есть ларингальная фонема остаётся единственным показателем первого лица. Тематическое спряжение в индоевропейских языках объединяет формы настоящего времени, имперфекта, инфинитива и ряда других форм неперфектных глаголов.

Причина, по которой это, изначально перфектное, окончание, оказалось в парадигме настоящего времени, неясна. Возможно, мы здесь имеем дело с особым семантическим типом глаголов – это предположение активно дискутировалось в индоевропеистике, однако дать исчерпывающий ответ на данном этапе, по-видимому, невозможно.

Разбору семантических и генетических отношений между несколькими формами ларингального личного показателя в индоевропейском глаголе посвящено множество работ – это, пожалуй, один из наиболее широко дискутируемых вопросов индоевропейской глагольной морфологии. Есть смысл привести основные взгляды в современной лингвистике на эту проблему.

Все четыре типа личных окончаний принято возводить ко второй серии индоевропейских личных аффиксов. Для этой серии предлагались различные, иногда полярные, интерпретации ещё начиная с труда Х.Педерсена (Pedersen 1938: 84), который полагал, что вторая серия имела интранзитивное значение в индоевропейском. Позже оппозицию «транзитивность / интранзитивность» некоторые исследователи сравнивали с «активностью / инактивностью» в рамках гипотезы об активном синтаксическом строе индоевропейского праязыка. Об этом, в частности, писали И.А.Перельмутер (1977: 30), Вяч.Вс.Иванов (1981: 72 и далее; также Гамкрелидзе – Иванов 1984: 296-301). Е.Курилович (Kurýłowicz 1964: 57-58)

был, пожалуй, одним из первых, кто сравнил две серии окончаний глагола с соотношением номинативных и косвенных основ индоевропейских личных местоимений.

Индоевропейский перфект, согласно общепринятому сегодня пониманию, выражал значение субъекта состояния. Понятно, что по этому типу могли спрягаться только непереходные глаголы, что и обусловило близкую связь между стативным и интранзитивным значением. Выражение медия с помощью той же парадигмы диктовалось значением центростремительного действия, действия в себе в отличие от действия вовне, присущее среднему залогу индоевропейских языков (Перельмутер 1977).

Некоторые, как И.Кноблах, считали, что вторая серия, напротив, несёт транзитивную семантику. По его мнению, язык отличался эргативным строем морфологии, и вторая серия окончаний маркировала именно эргатив. Индоевропейские пассивные и стативные глаголы выводит из эргатива также У.Шмальштиг (Schmalstieg 1980). Возражая Х.Педерсену, И.Кноблах указывал на ряд глаголов *hi*-спряжения в хеттском языке, имеющих явно переходное значение: *dahhi* 'беру', *halzahhi* 'зову', *pehhi* 'устанавливаю' и другие, число которых было позже значительно умножено (Knobloch 1953: 401-416). На это Вяч.Вс.Иванов отвечает, что «самое противопоставление и способы его выражения могут сохраняться, но конкретные его семантические интерпретации могут быть различны для различных периодов... Но сам факт наличия этих соотношений несомненен» (Иванов 1981: 72). В любом случае, даже сторонник реконструкции оппозиции «активность / инактивность» Б.Розенкранц признавал, что лишь примерно половина хеттских глаголов на *hi* являются стативными.

По нашему мнению, однозначно декларировать значение непереходности для хеттских глаголов серии *-hi* действительно нельзя. Можно, однако, предположить, основываясь на сравнении хеттского с другими языками индоевропейской семьи, что древняя семантическая оппозиция двух спряжений в хеттском языке, безусловно, существовала: но в исторический период эта архаичная характеристика была уже на пути к забвению, и два морфологических типа глаголов активно смешивались между собой.

По мнению Э.Зеебольда (Seebold 1971), аффиксы глагола, происходящие из местоимений **me*, **se*, **te*, стоят в аккумулятиве и указывают на объект глагола, в то время как **ha* является поздней редуцированной версией индоевропейского **eg'Ho* – номинатива, указывающего на субъект. Автор даже сделал попытку объяснить фонетический переход **egho* > **ha*, однако других примеров такого перехода не представил. Эта экзотическая точка зрения, как и некоторые другие (Красухин 2004: 53-63; Erhart 1970: 40), безусловно, ошибочна.

Суммируя проведённый выше анализ, мы можем утверждать, что все четыре индоевропейских формы с ларингальным показателем 1 л. ед.ч. восходят к интранзитивно-стативному личному показателю в праязыке.

Важно отметить, что ларингальный показатель существовал лишь в единственном числе первого лица, распространяясь на множественное только в соединении с **-mes*. Впрочем, это явление может оказаться весьма поздним, а может и объясняться нераспространением маркирования статива в плюралисе. Во всяком случае, форма 1 л. мн.ч. перфекта и других форм второй серии содержит показатель **-me/o(s)*, который, весьма вероятно, присоединялся к ларингалу в более древнем

виде **-H₂-me/o(s)* (отсюда и заднеязычная огласовка в финальном слоге, с которой связывают звучание **H₂?*).

§ 13. Ностратический показатель 1 лица **qV*

Приступая к рассмотрению рефлексов других ностратических языков, соответствующих индоевропейскому ларингальному личному показателю, необходимо привести краткий анализ обоснований фонетического соответствия между индоевропейской ларингальной фонемой **H₂* и велярными фонемами других ностратических языков.

Несмотря на отсутствие соответствий такого рода в классических трудах по ностратике (Иллич-Свитыч 1971: 147-150; Dolgopolsky 1998: 115), в последнее время исследователями всё чаще приводятся данные в пользу подтверждения системного соответствия между индоевропейскими ларингалами и глухой велярной фонемой **k* других ностратических языков.

В частности, ряд неплохих примеров соответствия между тремя ларингалами индоевропейского и прауральским **k* приводит А.Хюллестед (Hullested 2007), указывая, что более раннее убеждение, будто бы в уральском праязыке индоевропейскому ларингалу соответствует ноль, основано лишь на сравнении индоевропейского и афразийского материала. Даже если при сравнении индоевропейских и уральских фактов опустить сомнительные с точки зрения общего генезиса лексем (т.е. возможные заимствования), существует большое количество лексем, подтверждающих регулярность соответствия урал. **k* всем трём индоевропейским ларингалам. Надо заметить, что ларингал **H₂* («*a*-окрашенный») соответствует уральскому велярному в позиции перед **a* / **ä*. Особенно

важно наличие качественных примеров такого соответствия в анлауте: если принять во внимание точку зрения об аналитическом статусе показателей лица в ностратическом языке, то при сопоставлении $*H - *k$ акцент должен ставиться именно на лексемы с анлаутными соответствиями. Приведём ряд примеров, подтверждающих данную точку зрения:

и.-е. $*H_2emg'h-$ 'узкий' – финно-угор. $*känčV$ 'узкий, сужаться', угор. $*känčV$ 'тонкий';

и.-е. $*H_2engw-$ 'змея' – финно-угор. $*kunče$ 'червь, глист', юкагир. $*kōnč'ə$ 'червь';

и.-е. $*H_2ous-$ 'ухо' – урал. $*kawē$, финно-угор. $*kawē-ra$ 'ухо';

и.-е. $*H_2eug-$ 'расти, увеличиваться' – финно-угор. $*kawka$ 'длинный', $*kawa-$ 'расти' (Hyllested 2007: 12-14).

Эта точка зрения поддерживается и И.Хегедюш, которая возводит соответствие между индоевропейским ларингалом-2 и уральским $*k$ к ностратической увулярной фонеме $*g$ (Hegedűs 2004). Последнее, правда, не исключает и того, что в определённых случаях $*H_2$, как полагает Ф.Кортландт, развивается из $*kV$, сочетания велярного с некой заднеязычной гласной фонемой (Kortlandt 2002).

Несмотря на относительно слабую проработанность гипотезы, существует возможность возведения индоевропейского ларингала $*H_2$ к одной из ностратических фонем, рефлексам которой являлись также урал. $*k$, алт. $*k$, драв. $*k$.

Хорошим подтверждением здесь могла бы послужить более тщательная проработка соответствий аффикса дуалиса, происходящего из числительного «два» и реконструируемого для ностратического языка на основании урал. $*-k$ (тж. $*kakta$ 'два'), юкагир. $*ki-$ 'два', и.-е. $*H_2-ent-$ 'второй, другой', $*H_2-$

ebh- ‘оба’ и и.-е. дуального окончания $*-H_2$, т.е. материально аналогичного личному показателю $*H_2$.

Глагольные показатели первого лица, содержащие заднеязычный смычный, сравнимый с индоевропейским ларингалом, обнаруживаются в целом ряде ностратических языков в системах личных местоимений и глагола. Приведённый ниже анализ дополняет нашу более раннюю работу (Бабаев 2008), посвящённую анализу ностратических данных, ведущих к реконструкции местоимения, которое условно можно обозначить как $*qV$.

В уральских языках личный аффикс $*-k$ глагола можно определить как показатель 1 л. субъекта состояния с абсолютивно-интранзитивным значением на основании соответствия венгерского (финно-угорская группа) и селькупского (самодийская группа) языков. В венгерском речь идёт о личном глагольном аффиксе 1 л. ед.ч. *-ok / -ek*. Тип спряжения на $-k$ в венгерском является показателем «безобъектного», т.е. интранзитивного спряжения, также называемого «неопределённым» (Майтинская 1955: 210 и след.). Для более ранней стадии языка может предполагаться форма $*-kV$ с финальным гласным звуком.

Одной из традиционных гипотез происхождения этого форманта является аналогический переход $-k$ из уральского показателя множественного (или двойственного) числа, распространённого в т.ч. в венгерском. Точка зрения о том, что значение плюральности перешло и на форму единственного числа путем «переосмысления внутри фразы», содержится и у П.Хайду (Hajdú 1966: 144; Хайду 1985: 330), однако опровергается работами других авторов, в частности, С.Имре (Imré 1988). Общеуральский характер венгерского личного показателя $-k$ подтверждается наличием аналогичного показателя 1 л. в селькупском языке. Здесь данный формант

употребляется в обоих числах и является показателем непрерывного спряжения глагола, таким образом совпадая по значению с венгерским аналогом (*qoŋa-k* ‘я [себя, нас] знаю’). Этот же показатель оформляет предикативные имена (*kit-a-k* ‘я человек’), типологически принимающие обычно на себя стивные окончания. Е.А.Хелимский определяет данное окончание как прасамодийское и прауральское (Хелимский 1982: 81; 2000: 48). Отметим, что, как и в венгерском, в селькупском объектном спряжении также употребляется показатель 1 л. *-m*, т.е. соответствие между венгерскими и селькупскими формантами является системным. Дж.Гринберг увязывает с вышеуказанным также факты пермских языков, напр. коми *o-g* ‘я не являюсь’ и удмурт. *u-g* тж. (где элемент *-g* присоединяется к т.н. отрицательному глаголу-связке), ссылаясь на более раннюю работу Й.Буденца (Greenberg 2000: 68).

Стивное происхождение парадигмы спряжения с показателем **-k* подтверждается отсутствием в этой парадигме – как в венгерском, так и в селькупском – показателя для 3 лица, в отличие от объектного типа спряжения. Эта типологическая характеристика присуща стивным глаголам во многих языках мира (Greenberg 2000: 68), в том числе и индоевропейских.

На основании данных фактов можно сделать вывод, что в уральском праязыке **-k* уже существовал как показатель 1 л. субъекта, причем, по всей вероятности, не различал числа, что для уральских языков прослеживается и по рассмотренным выше данным показателя **-m*. В.Блажек поддерживает эту версию, восстанавливая для прауральского субъектно-рефлексивный и объектный типы спряжения, к первому из

которых относится показатель 1 л. ед.ч. **-k(V)/*-kkV* (Blažek 1995: 12).

На связь между уральскими и алтайскими (а именно тюркскими) формами 1 л. на **-k* впервые обратил внимание Ж.Дени (Deny 1924). В тюркских языках формант **-k* выражает значение 1 л. множественного числа претерита. В.Котвич (1962) отрицает общетюркское происхождение данного показателя на основании его отсутствия в древнетюркских текстах и сибирских диалектах, однако на основании современных исследований можно говорить о пратюркском характере **-k* (СИГТЯ) и его несомненной архаичности.

Распределение между тюркскими показателями 1 л. **-m* и **-k*, в отличие от уральских, заключается в видо-временном значении. Однако как глагольная форма претерит по своему синтаксическому значению вполне перекликается с индоевропейским перфектом и с интранзитивно-стативными формами уральского «субъектного» спряжения. Более того, типологически характерным направлением развития перфекта в языках мира является сдвиг его значения от обозначения состояния к обозначению предшествования и далее к простому прошедшему времени – т.е. в сторону претерита. Так, в частности, происходит во множестве индоевропейских языков: типологический анализ этого явления на множестве примеров см. в исследовании А.О'Коррань (2007: 73-75). Претеритные формы семитских языков со стативным значением сравнивает с индоевропейским перфектом Вяч.Вс.Иванов (1981: 67).

Относительно происхождения тюркского **-k* существуют самые различные версии. В.Котвич сравнивает его с суффиксами оптативного, императивного и условного значения в монгольских и тунгусо-маньчжурских языках, возводя их к

праалтайской форме **-ki*. Согласно его объяснению, из форм желательного-повелительного наклонения, «наиболее типичной» из которых В.Котвич называет форму 1 л. мн.ч., данный формант перешел в систему личного спряжения (Котвич 1962: 168, 266). Однако гипотеза о проникновении показателя наклонения из его «основной» формы 1 л. мн.ч. в другие подсистемы довольно проблематична с точки зрения типологии. Неясно, почему именно форма 1 л. мн.ч. должна считаться «основной» для желательного наклонения. Более того, если в монгольском и тунгусо-маньчжурском **-ki* – это действительно показатель лишь наклонения, не связанный с лицом, то в тюркском родственной ему суффикс желательного накл. **-gai*, с одной стороны, и личный показатель **-k*, с другой, очень хорошо различаются. Кроме того, суффикс желательного наклонения и сам принимает на себя личные показатели.

Более логичная гипотеза, высказываемая рядом ведущих алтаистов, рассматривает алтайскую систему личных аффиксов как бинарную оппозицию парадигм. Именно в тюркских языках хорошо сохранились две серии личных аффиксов, имеющие различное происхождение. В качестве первой серии выступают формы **-mān*, **-sān* в постпозитивной позиции, возводимые к независимым личным местоимениям. Этот тип является явно инновационным и поздним для алтайского, что хорошо прослеживается на материале монгольских и тунгусо-маньчжурских языков, где эта серия в настоящее время находится на стадии формирования. Вторая серия окончаний, к которой и относится тюркское **-k*, маркирует претерит и условное наклонение – древнейшие глагольные формы тюркских языков; большинство аффиксов этой серии аналогичны притяжательным показателям имени

и может быть возведено к ним. Их история в значительной степени затемнена, что может объясняться древностью их происхождения еще из алтайского праязыка. Скорее всего, показатели второй серии восходят к более древнему ряду (или нескольким рядам) личных местоимений, которые позже были вытеснены притяжательными суффиксами. Во всяком случае, показатель **-k* в качестве притяжательного суффикса не зафиксирован. Таким образом, аффиксы второй серии на самом деле представляют собой более древнее состояние языка, чем аффиксы первой, соответствующие прямой основе личного местоимения. Можно сделать вывод о наличии в тюркском древнейшей парадигмы личных местоимений, сохранившейся в показателях 2 ед. **-ŋ*, 3 л. **-i* и 1 л. мн. **-k* (СИГТЯ 124-125; Дыбо 2006).

В эскимосско-алеутских языках, которые некоторые исследователи сближают с алтайскими, *-ka / -qa* является показателем абсолютива (интранзитива) 1 лица.

В.Г. Богораз приводит набор чукотских глагольных аффиксов, содержащих показатель 1 л. *-k*. Эти аффиксы в основном формируют непереходные глаголы (Bogoras 1922: 736).

В дравидийских языках отмечается целый ряд интересных, но, к сожалению, пока малоизученных элементов, сопоставляемых с описанными выше уральским и тюркским **-k*.

Отметим без каких-либо комментариев косвенную основу личного местоимения 1 л. брауи *kan-*, которая не засвидетельствована более ни в одном языке семьи. Д.Мак-Алпин указывает также на притяжательную местоименную энклитику 1 л. брауи *-ka*. По его мнению, высказанному в рамках поддерживаемой им эламо-дравидийской теории, этот изолированный в рамках семьи элемент восходит к «эламо-

дравидийскому» личному аппеллативу **-kə* и находит параллели в эламском языке (McAlpin 1981: 119-120).

На более надёжные дравидийские данные указывает К.Звелебил: он реконструирует прадравидийское окончание 1 л. ед.ч. настоящего-будущего времени **-ki* на основании древнетамильского окончания *-o-ki* и окончания будущего времени языка гонди *-kā*. Согласно К.Звелебилу, форма 1 л. мн.ч. эксклюзива прадравидийского реконструируется как **-kit*, исходя из др.-тамил. *-kit* и гонди *-k-em* (Zvelebil 1990: 35-36). В.Блажек называет дравидийское местоимение **-ki* аппеллативом. Материалы по этому вопросу довольно малочисленны, но, по мнению Г.С.Старостина (2008, устное сообщение), древнетамильские факты вполне могут отображать некий дравидийский архаизм.

В эламском языке существовало независимое личное местоимение 1 л. мн.ч. эксклюзива *nuku*, морфемный статус которого неясен. В то же время суффикс *-k* в эламском языке служит классным показателем существительных-лиц 1 л. ед.ч.: *u Untaš-GAL šak Humpanummena-k-e sunki-k Ancan-Šušun-k-a* 'я, Унташ-гал, сын Хумпануммены, царь Анчана, Суз'. И.М.Дьяконов определяет данную форму как «локутив, соотносящий имя с говорящим» (Дьяконов 1967: 98; 1979: 37-49), а Д.Мак-Алпин – как аппеллатив или показатель лица «именного спряжения» (McAlpin 1981: 119-120). В традиционном понимании это типичный предикативный суффикс, аналогичный упомянутому выше селькупскому *-k*. Интересно, что из среднеэламской системы имени этот приименной показатель состояния (т.е. статива) в эпоху Ахеменидов переходит в глагольное спряжение в перфектно-претеритном значении, схожем с тюркским: *hutta-k* 'я сделал'.

Эти данные в рамках эламо-дравидийской теории соотносятся с описанными выше дравидийскими данными.

В афразийских языках реконструируется древнее местоимение **(a)ku*, которое можно рассмотреть с точки зрения родственных связей с указанными ностратическими формами.

В независимом положении личное местоимение прямого падежа 1 л. ед.ч. реконструируется в виде **ʔan-āku*. Эта форма выводится в прасемитском из аккадского *'an-āku* и древнееврейского *'anōkī* (Дьяконов 1967: 222). В древнеегипетском оно в виде *īnk* функционирует как независимое местоимение, происходящее, по мнению И.М.Дьяконова (1988), из формы прямого падежа, выражавшего значение субъекта именного сказуемого в формах типа *īnk nfr* 'я добрый' (прямой аналог значения эламского *-k* и селькупского *-k*, рассмотренных выше). Эта же форма засвидетельствована в берберских языках (ташельхит *nki*, диал. *nək*). В.Блажек приводит и возможные чадские эквиваленты в обоих числах в языках леле (1 л. ед.ч. *-ng*) и сокоро (1 л. мн.ч. *onoŋ*) (Blažek 1991: 38).

Так как в суффиксальной форме засвидетельствованы формы семит. **-āku* в том же значении (аккад. *gašr-āku* 'я сильный'), установлено, что местоимение **ʔan-āku* состоит из двух частей: собственно местоименной основы и препозитивной частицы **ʔan-*. Частица эта присутствует при местоимениях почти во всех группах афразийских языков, выступая в виде *n-* в берберских, *an-* или *'a-* в кушитских, *īn-* в древнеегипетском, *'an-* / *'a-* в кушитских и, возможно, также (*'a)n-* в чадских (1 л. ед.ч.)). И.М.Дьяконов называет её просто «указательным элементом» (1967: 217), а А.Б.Долгопольский

считал усилительным местоимением «сам» (Dolgopolsky 1984: 91), однако В.Э.Орел (1990: 54) убедительно доказал, что она скорее является основой субстантивного глагола, который сохранился в афразийских языках и в других формах. Таким образом, независимое местоимение абсолютного субъекта в афразийских языках логично происходит из старой глагольной словоформы, где личные суффиксы присоединяются к основе *verbum substantivum*.

Афразийское **(a)ku* реконструируется также в серии суффиксальных местоимений со стативным значением: помимо аккадской формы, среди его рефлексов можно назвать западносемитское **-ku* (геэз *-kū*), древнеегипетское перфективное *-kw / -ku*, берберское **-ay* (ND 19).

Синтаксическое значение афразийских форм, таким образом, повторяет реконструированное нами выше для ностратического праязыка – значение субъекта непереходного глагола состояния.

На основе анализа описанного выше материала языков четырех семей, относимых к ностратической макросемье, приведём следующую таблицу:

Таблица 3.10.

языки	аффиксы	значение
индоевропейские	<i>*-H(e)</i>	1 л. ед.ч. перфекта/медия
уральские	<i>*-k(V)</i>	1 л. субъекта непереходных глаголов, предикативный суффикс 1 л.
алтайские	<i>*-k</i>	1 л. мн.ч. претерита (древнего перфекта?)
дравидийские	<i>*-kV</i>	1 л. апеллатива
афразийские	<i>-(a)ku</i>	1 л. субъекта перфекта / статива, предикативный суффикс 1 л.

эскимосско-алеутские	<i>-ka / -qa</i>	1 л. субъекта абсолютива
чукотско-камчатские	<i>*-k</i>	1 л. непереходных глаголов
эламский	<i>-k</i>	предикативный суффикс 1 л. ед.ч.

Таким образом, можно сделать вывод о возможности реконструкции ностратического личного показателя 1 л. **qV*, имеющего значение субъекта непереходных глаголов и/или субъекта глагола состояния.

Отдельно необходимо сказать о картвельских данных, сравниваемых иногда с индоевропейским ларингальным показателем. В картвельских языках наиболее очевидным кандидатом на генетическое родство с индоевропейским ларингалом является **x(w)-*, префикс первого лица единственного и множественного числа эксклюзива в сванском языке (в основах с начальным гласным), зафиксированный также в ряде старогрузинских и диалектных форм грузинского языка.

Интересно, что элемент **x* в картвельских личных показателях глагола обнаруживается и во втором (префикс лица субъекта), и в третьем лице (префикс лица объекта). А.Бомхард считает такое «распространение значения 1 л.» уникальной особенностью картвельского (Bomhard 2003: 435). Между тем это позволяет сравнить картвельский с индоевропейскими формами перфекта с маркером **-H-* в 1-2 лицах и предположить, что распространение данной морфемы на другие члены парадигмы могло иметь место ещё в ностратическом, где она уже начинала играть более широкую роль видового форманта с перфективно-стативным значением. Вяч.Вс.Иванов (1981: 69) напрямую сравнивает картвельскую и индоевропейскую парадигмы с уральским типом не-

переходного спряжения на **-k*, предполагая их родство на уровне ностратического праязыка.

Отдельным вопросом является фонетическое соответствие картвельского **x* ностратическому увулярному **q*. Согласно сравнительно-фонетическим таблицам В.М.Иллич-Свитыча (1971: 149), ностратическому увулярному соответствует аналогичный картвельский **q*. Аналогичное мнение имеет А.Б.Долгопольский (Dolgopolsky 1998: 103). Однако, согласно последним исследованиям, существует ряд вполне надёжных лексических соответствий, указывающих на переход ностратического **q > *x* в различных картвельских языках:

ностр. **q[o]dV-* ‘двигаться, идти’, груз. *xad-*, лаз. *xt-* (ND 1856; Климов 1964: 263);

ностр. **mVqwV-* ‘двигать’, груз. *mx-* ‘валить, опрокидывать’, лаз. *xu-* (ND 1455; Климов 1964: 149);

ностр. **mVq(e)r-* ‘плечо’, груз. *mхар-*, мегр. *xuǰ*, лаз. *(m)xuǰ* (ND 1483; Климов 1964: 144).

Вместе с тем приходится признать, что картвельские данные остаются сомнительными именно с фонетической точки зрения, и прежде всего по двум причинам. Во-первых, пракартвельское **q* регулярно отражается в сванском **q* (Fähnrich 2002: 6), в то время как именно сванский наиболее последовательно отражает префикс 1 л. *xw-*. Во-вторых, в картвельских языках за пределами парадигмы личных местоимений так и не удалось обнаружить соответствий анлаутных сван. *xw-*, груз. или лаз. *v-*. Весьма вероятно поэтому, что картвельское *x-* в субъектных префиксах на самом деле происходит не из 1 л., а из неясного *x-* второго лица; исконной же формой 1 л. был префикс **w-*.

Объединение рефлексов ностратического **qV*, рассмотренных выше, и ларингального индоевропейского показателя

**H(e)* поддерживается рядом исследователей (Greenberg 2000: 67). Индоевропейский ларингал с ностратическими рефлексами в виде **k* сравнивал Е.А.Хелимский, проводящий параллель между субъектной парадигмой личного спряжения в уральском и индоевропейскими данными (Хелимский 1979: 17-18).

Необходимо отметить, что существует и версия о выведении индоевропейского **H(e)* из ностратического ларингального показателя. А.Б.Долгопольский в «Ностратическом словаре» предпринимает попытку реконструкции ностратического ларингального показателя первого лица. Но такой показатель находит лишь слабые параллели в ностратических языках, причём многие из них на сегодняшний день более чем сомнительны и плохо разработаны – в основном речь идёт об афразийских языках. Видимо, именно поэтому сам А.Б.Долгопольский ставит знак вопроса при реконструкции отдельного ностратического маркера лица **H* (ND 822).

Между тем описанная выше гипотеза о возведении индоевропейского **H(e)* к ностратическому **qV* является более надёжной альтернативой реконструкции.

Фонетический переход ларингального в велярный и обратно – частое типологическое явление в языках мира. Учитывая это, можно сделать предположение о том, что в случаях с показателями **qV* и **HV* мы говорим об одной и той же ностратической лексеме.

Сходство синтаксических значений между этими двумя показателями также очевидна: как ностратический **qV*, так и индоевропейский **H(e)* можно характеризовать как показатель субъекта при интранзитивном (стативном) глаголе (Blažek 1995: 12-14).

Интересную гипотезу предложил А.Б.Долгопольский: на основе ностратических данных он предположил, что ностратическое местоимение **qV* (в реконструкции А.Б.Долгопольского **k*) происходит из некоего «неместоименного слова, способного замещать личное местоимение» (Dolgopolsky 1984: 69-71). В своем «Ностратическом словаре», готовящемся в настоящее время к печати, он реконструирует ностратическую форму и определяет первоначальное значение этого слова: «**[o]kE* 'self > myself'» (ND 19), делая ссылку на семито-хамитский, индоевропейский, алтайский, эламский и чукотско-камчатский материал.

Таким образом, А.Б.Долгопольский сделал вывод, что **qV* восходит к эмфатическому «сам», семантически переходящему впоследствии в «я сам». Это синтаксическое объяснение происхождения ностратического **qV* представляется вполне приемлемым: данный показатель вполне можно рассматривать как отражение ранее полнозначной лексемы со значением «сам, я сам».

Устоявшееся мнение в ностратическом языкознании представляет ностратическую систему морфологии как преимущественно аналитическую. Это, в частности, на множестве примеров морфем показано в специальной работе А.Б.Долгопольского (Dolgopolsky 2005), а также в ряде работ И.Хегедюш (в частности, [Hegedűs 1997]). Процесс грамматикализации значимых лексем, начавшийся, очевидно, еще на ностратическом уровне, происходит затем во всех без исключения праязыках ностратической макросемьи. Этот процесс синтеза, о котором уже говорилось в Главе 1, детально описан с точки зрения общей типологии в работе П.Хоппера – Э.Трауготт о грамматикализации (Hopper – Traugott 2003: 9). В нашем случае и с учетом принятия нами гипотезы

А.Б.Долгопольского о происхождении ностратического $*qV$ процесс превращения лексемы «сам» в морфологический показатель первого лица можно представить в виде следующего процесса трансформации:

1. Стадия существования в языке полнозначного слова со значением «сам» – его существование в праязыке предполагает А.Б.Долгопольский. В дальнейшем данная лексема, очевидно, развивалась уже независимо в отдельных праязыках макросемьи, и развитие это шло по нескольким направлениям:

2.1. Направление развития «служебного слова» со значением личного местоимения 1 лица.

2.2. Направление трансформации полнозначной лексемы в местоименную приглагольную клитику. По всей видимости, это происходит ещё на этапе существования ностратической праязыковой общности, так как отражения $*qV$ во многих ностратических языках уже являются связанными формами.

3. Превращение местоименной клитики в аффикс личного спряжения статива / интранзитива первого лица. Это происходит в индоевропейском, тюркском и уральском глаголе. Очевидно, что данная фаза была хронологически наиболее поздней¹⁰.

Путь превращения полнозначной лексемы со значением «сам» в личное местоимение первого лица типологически хорошо иллюстрируется на примере различных языков мира.

¹⁰ В этом процессе можно при желании восстановить и т.н. «нулевую» фазу, на которой лексема имела некое конкретное именное значение. Типологически слова со значением «сам» (как и местоимения «я») обычно образуются в языках мира от обозначений «тела» или его частей (в алтайских: тув. *пот* 'тело', *под-ум* 'я-сам'; маньч. *бэжэ* 'тело', *би бэжэ* 'я сам'; кор. *мом* 'тело', *мом-ыль толлида* 'себя поворачивать' [Суник 1978, 242-266]), «головы» (груз. *tav-* 'голова > сам', хауса *kāj* 'голова > сам'), «мужа-господина» (лит. *pats* 'хозяин > сам').

В языке зулу личные абсолютные местоимения маркируются присоединенным к местоименной основе суффиксом *-na*, существующем в языке также как полнозначное слово *na* со значением 'сам' (Коуп 1963: 233).

В японском языке современное местоимение 1 л. ед.ч. *watakushi* ранее означало 'сам' (Dolgopolsky 1984: 90).

Очень показателен пример классического тибетского языка, в котором трансформация, подобная той, что восстанавливается нами для ностратических языков, произошла уже в период исторического развития по следующей хронологической схеме:

1) в старом письменном языке засвидетельствована полнозначная лексема *rang* со значением 'сам', употреблявшаяся в том числе и с местоимениями, однако действовавшая независимо от них;

2) на втором этапе (новый письменный язык) присоединение *rang* к личным местоимениям начинает служить для придания эмфазы, при этом значение 'сам' теряется (*nga-rang* 'я', *kho-rang* 'они');

3) в современном разговорном языке *rang* приобретает значение местоимения 1 л. ед.ч. 'я', заменяя таким образом более старые *nga* и *nga-rang*;

4) наконец, происходит окончательное освоение нового местоимения в составе парадигмы показателей лица: например, создаётся местоимение со значением множественного числа инклюзива: *rang-gnyis* 'я и ты' (Парфионович 1970: 82-83).

По аналогичной схеме диахронической типологии мог развиваться и ностратический личный показатель **qV*.

Если принять гипотезу о происхождении личного местоимения из ранее независимой лексемы со значением 'сам', то хорошим подтверждением ей могли бы стать рефлексы такой

лексемы в ностратических языках не только в качестве местоимения, но и в качестве полнозначного слова. Такие примеры можно привести. Прежде всего речь идёт о праторкском имени **ok* ‘сам’, которая выступает в различных языках группы либо как самостоятельная лексема, либо как энклитика при личных и указательных местоимениях, ср. др.-тюрк. *bän ök* ‘я (и никто другой)’, *öz-üm ök* ‘я сам’ (Clauson 1972: 76); кирг. *öz-um oq* ‘я сам, только я’ (Юдахин 1965: 564); якут. *-оx* ‘сам’; алт. *ol oq* ‘он же’.

В «Ностратическом словаре» А.Б.Долгопольский сравнивает тюркское слово с монгольской частицей **kü / gü* ‘ведь, же’ (ND 19)¹¹.

В.Блажек приводит пример северо-мансийского усиленного местоимения *am-ki* ‘я сам’, упоминая его параллели и в других уральских языках. Другим свидетельством, близким к уральскому ареалу, можно считать южно-юкагирское эмфатическое *mete-k^c* ‘я’ при стандартном личном местоимении *met* (Blažek 1995: 13).

Эти свидетельства могут служить ещё одним обоснованием подобного происхождения ностратического местоимения **qV*.

§ 14. Индоевропейское местоимение 1 лица единственного числа номинатива **eg’Ho(m)*

Праязыковая форма **eg’Ho(m)*, к которой восходят индоевропейские личные местоимения 1 л. ед.ч. в именительном

¹¹ Обращает на себя внимание ср.-яп. местоимение 1 л. ед.ч. *ako*, которое Т.Кавамото относит к детской речи, предполагая его существование и в древнеяпонском (Kawamoto 1977: 22). Ср. праяпонское личное местоимение **a-* (EDAL 1024).

падеже, на протяжении многих десятилетий остается одной из наиболее спорных форм в парадигме индоевропейских личных местоимений. В первую очередь в силу своей изолированности: данная форма прослеживается едва ли не во всех группах индоевропейских языков в качестве номинатива независимого личного местоимения, однако нигде не просматривается в качестве глагольного или приименного аффикса¹². Ни в одном индоевропейском языке эта основа не функционирует в косвенных падежах местоимения.

Архаизм и маргинальность данного местоимения подчёркивается его неустойчивостью в языке. Процесс выравнивания парадигмы личных местоимений, неуклонно происходящий в индоевропейских языках, нередко приводит к вытеснению обособленной формы номинатива супплетивной косвенной формой **mV*. Так происходит, в частности, в новоиранских, новых индоарийских, кельтских и некоторых других языках.

Наконец, интересно отметить, что, в отличие от индоевропейского показателя **me*, зафиксированного и в единственном, и во множественном числе, местоимение **eg'Ho(m)* употребляется сугубо в единственном числе.

Разнообразие рефлексов данной формы в индоевропейских диалектах делает невозможным реконструкцию какой-либо единой праязыковой формы; приходится признать, что в праязыке местоимение 1 лица существовало в нескольких несводимых друг к другу диалектных разновидностях.

Во-первых, отмечается наличие разновидностей данного местоимения с конечным **-m* и без него (напр., др.-инд. *aḥam*

¹² Если не брать в расчёт новейшие формы аналитических языков Европы, таких как французский, где в форме *j'aime* местоименный элемент является клиткой и находится на пути превращения в префикс синтетического личного спряжения.

vs. лат. *egō* и пр.). Форма с конечным носовым согласным объединяет славяно-германский и индоиранский ареалы, а также засвидетельствована в греческом $\acute{\epsilon}\gamma\acute{\omega}\nu$ и, возможно, восстанавливается для алб. диал. *utha* < **eukham* (Рокоту 1959: 291).

Другим диалектно варьирующим элементом является основной согласный местоимения **eg'Ho(m)*, который может быть восстановлен (в традиционном понимании фонологической системы индоевропейского праязыка) как **g'h* на основе индо-иранских и балто-славянских форм, либо как **g'* на основе форм германского, латинского и греческого (Савченко 1974: 238). В индоиранском придыхательный элемент вполне может быть вторичным на основании таких форм, как дат. *tahyam*.

Наконец, третьим элементом, несводимым к единой протеме на основе анализа различных и.-е. языков, является протетический гласный: по данным греческого, латинского и германского, этим гласным был **e*, в то время как литовский и хеттский скорее дают **o*, а славянское **azь* и вовсе заставило предположить индоевропейский долгий гласный **ō/*ā* (Мейе 1938: 339; Савченко 1974: 238), однако позже В.А.Дыбо доказал существующее здесь удлинение по закону Винтера и предположил «балто-славянскую тенденцию к смене *e-* на *a-*» (Дыбо 2002: 410). Как уже указывалось выше, протеза вообще свойственна индоевропейским личным местоимениям и, вероятно, имела эмфатический оттенок, что уже упоминалось выше при анализе местоимения **me*.

О.Семереньи называет **-m* единственным "значащим элементом" в номинативной форме и.-е. личного местоимения, к которому добавляется «префикс» **eg'(h)-*; по его мнению, форма с конечным **-m* была первичной и лишь позже в ряде

диалектов была укорочена по аналогии с глагольными формами 1 л. ед.ч. (Семереньи 1980: 231). В противовес этому можно сказать, что значение такого рода префикса остается неясной, а сам он выглядит единичным в этой конкретной форме.

Противоположную точку зрения высказывают Т.В.Гамкрелидзе и Вяч.Вс.Иванов: форма на **-m* является ареальной инновацией, а исходная форма имела форму **eg'ō* с основой **-g'-* (Гамкрелидзе – Иванов 1984: 383). Эта точка зрения подводит к выводу, что индоевропейское слово **eg'oH / eg'Hom* по своему строению и значению напоминает глагольную форму 1 л. ед.ч., с тематическим окончанием в одной группе диалектов и атематическим – в другой (Greenberg 2000: 77).

В индоевропейской лингвистической литературе высказывалось несколько гипотез относительно происхождения местоимения 1 л. ед.ч. Недостатком их, как можно заметить, является невозможность выдвижения системного доказательства на индоевропейском материале. Одной из таких гипотез является происхождение местоимения из древнего междометия **ehem / *ehēu / *eho*, выражающего «радостное удивление» (Pokorný 1959: 291). Другой, часто высказываемой этимологией является интерпретация **eg'Hom* как **e-gho-me* 'вот-он-я', состоящего из двух полнозначных составляющих: дейктической частицы **ghe/gho* (со значением третьего лица) и личного местоимения **me*. Впрочем, интерпретация и.-е. **ghe/gho* как указательного местоимения выглядит также небезупречно: это значение зафиксировано только в латинском языке, где основа **he-/ho-* формирует местоимение *hic* 'этот', в то время как генетически родственные ему лексемы можно найти только в древнеиндийском и гре-

ческом, где они служат усилительными частицами (др.-инд. *gha, ha*, присоединяемая к местоимениям, греч. послеложная частица χ ; Тронский 2001: 208). В индоевропейском значении этой частицы можно характеризовать как чисто эмфатическое, но её первоначальная семантика продолжает оставаться тёмной.

Й.Шмидт согласен с гипотезой о генетическом тождестве **eg'Hom* и частицы **gho/ghē* и вслед за К.Бругманом возводит указанное местоимение к праязыковому существительному среднего рода со значением «моё нахождение здесь» («*meine Hierheit*») (J.Schmidt, 1899: 405).

А.Бомхард сравнивает индоевропейское **eg'Hom* и особенно дейктические морфемы типа лат. *hic* с картвельскими указательными местоимениями *ege* 'тот', *igi* 'тот, вдали', выводя их из одного ностратического источника (Bomhard 2003: 443-444).

В числе других примеров можно назвать часто приводимое сопоставление индоевропейского **eg'Hom* и чукотско-камчатского личного местоимения 1 л. ед.ч. **γə-m* (Мудрак 2000: 39). Его строение представляется некоторым исследователям идентичным индоевропейской форме: усилительная частица, действующая в этом виде не только в первом, но и в других лицах, дополненная собственно показателем лица **-m*. К сожалению, данный аффикс не зафиксирован в чукотском глаголе, что дало бы нам возможность представить **γə-m* как глагольную форму – гипотеза, выдвигавшаяся и для индоевропейских языков.

Суммируя приведённый обзор данных и гипотез, можно сделать вывод, что на сегодняшний день происхождение индоевропейского местоимения **eg'Ho(m)* остаётся недоказанным. Данные внешнего сравнения не дают возможности про-

ещировать эту форму на ностратический уровень – материала для сравнения в ностратических языках пока не найдено.

В индоевропейской номинативной (прямой) форме личного местоимения 1 л. ожидался бы личный показатель **H(e)*, однако, в силу фонетических характеристик ларингальной фонемы такая форма в качестве независимого личного местоимения не могла бы существовать в индоевропейском языке, что, по-видимому, и привело к появлению супплетивного новообразования **eg'Ho(m)*.

§ 15. Индоевропейский показатель 1 лица **ne/o*

В индоевропейских языках местоимение **ne-* / **no-* обычно реконструируется как форма 1 лица не-единственного числа. За интересным исключением тохарского, о котором речь чуть ниже, его рефлексами в языках индоевропейской семьи являются формы номинатива местоимений двойственного числа, а также преимущественно косвенные падежные формы местоимения множественного числа.

В числе первых можно назвать форму номинатива дуалиса в греческом $\omega\omega$, гомер. $\omega\omega$. В категориях и двойственного, и множественного числа именительного падежа **ne/o* присутствует в древнеиндийском (в форме дательного и винительного падежей) *nai*, древнеиранском (авест. косвенные падежи *nā*, *nō*, *nē*), старославянском (вин.п. дв.ч. *na*, мн.ч. *ny*, *nasъ*) и кельтских языках (др.-ирл. энклитики *-nn*, *-ni*). Наконец, в албанском (*ne*, *na*) и латинском (*nōs*, род.п. *nostrum*) языках, не имеющих категории двойственного числа, данная основа служит местоимением 1 л. мн.ч.

В качестве косвенной основы местоимения 1 л. мн.ч. (при наличии иной, супплетивной основы в номинативе) мы нахо-

дим **ne/o* в славянском, германском, древнеиндийском, аنا-толийском и балтийском (древнепрусское *poison*, если это не единичное заимствование из славянского [Дини 2002]¹³). Точка зрения о том, что исходным значением данной индоевропейской праформы было косвенное значение, основана именно на этих данных – что с точки зрения диалектного распределения является вполне корректной реконструкцией (Pokorny 1959: 758; Beekes 1995: 209). Позже косвенная основа – возможно, по аналогии с единственным числом – в ряде языков вытесняет прямую. Так происходит в албанском, италийских языках и в кельтском, где форма **nī* реконструируется для бриттского местоимения (валл., брет. *ni*, корн. *nū*), а **snī* – для прагойдельского.

То, что **ne/o* не могло быть изначальной формой номинатива, легко доказуемо логически: существуют языки, где эта лексема функционирует в номинативе и косвенных падежах, и языки, где она существует только в косвенных. Но языков, где **ne/o* встречается только в номинативе, не существует. Таким образом, предположить, что она проникла в косвенные падежи из именительного (а потом в ряде языков была вытеснена из именительного), довольно трудно.

Единственным исключением из общего правила косвенности **ne/o* могут являться тохарские формы личного местоимения А м.р. *nāš* / ж.р. *ñuk*, а также В *ñās* (согласно С.А.Бурлак (2008, устное сообщение), формы двух языков не возводимы фонетически к единой праформе), представляю-

¹³ Многие древнепрусские факты в настоящее время пересматриваются в свете данных о существовании славяно-прусской языковой общности внутри балто-славянской группы языков, что логично объясняет многие факты морфологии и лексики, в том числе и данную форму (Топоров 2006: 19-20; Бурлак – Старостин 2005: 336).

щие собой единственное, а не множественное число и распространённые также на форму второго падежа парадигмы – генитива. Отметим, что в системе тохарского глагола личные аффиксы 1 л. мн.ч. и аффиксы меди 1 л. мн.ч. происходят из **-m / *-mә* (Бурлак 2000: 165).

Интерпретация тохарских местоимений остаётся открытым вопросом. Д.Адамс выводит их из косвенных форм на **m* типа **mene* > **mänä* > *mnä* > *nä* (Adams 1999: 255-256). С.А.Бурлак склонна предполагать, что при наличии несомненно важной роли субстрата в формировании тохарских языков местоимение первого лица может быть заимствованием (Бурлак 2000: 180-181), что представляется нам довольно сомнительным как с точки зрения определения источника заимствования, так и с точки зрения типологии – как уже отмечалось в настоящем исследовании, языков с заимствованным личным местоимением ‘я’ в мире крайне мало.

Предположение об уникальном сохранении группой тохарских языков древней индоевропейской формы первого лица А.Бомхард именует «спекуляцией» (Bomhard 2003: 436-437), а советские ностратисты В.М.Иллич-Свитыч и А.Б.Долгопольский даже не упоминают, хотя, к примеру, наличие формы личного местоимения **naj* в единственном картвельском языке (а именно сванском, см. ниже) возводится к пракартвельскому состоянию, и эту реконструкцию никто спекуляцией не называет.

Индоевропейская форма **ḡsmes*, реконструируемая на основании греческих, анатолийских и индоиранских форм, обычно рассматривается как контаминация двух личных показателей с плюральными аффиксами: **nos* и **mes*. В лингвистической литературе двадцатого века велась оживлённая

дискуссия по поводу этой формы и её происхождения. О.Семереньи считает данную форму эмфатической и предполагает её развитие из усилительно удвоенного **mes-mes*. Впоследствии, по его мнению, **nsmes* стало параллельной формой местоимения с **mes*, по аналогии с ней возникла форма косвенного падежа **nos*, из которой путём регрессивной ассимиляции **nos > *nōs > *nō* произошла форма дуалиса. На внутреннем индоевропейском материале эта гипотеза трудно доказуема и столь же трудно опровержима (Семереньи 1980: 232-233).

Таким образом, основываясь на индоевропейской реконструкции, **ne/o* можно характеризовать как показатель косвенной формы личного местоимения 1 лица неединственного числа.

Однако в качестве двух основных форм, в которых этот показатель выступает в различных языках, мы видим форму дв.ч. **nō* со стандартным для индоевропейского долгим окончанием дуалиса, и форму мн.ч. **n̥s* со стандартным маркером плюральности **-s*. Вывод, который на этом основании можно сделать, указывает на первоначальную семантику **ne/o* как форманта 1 лица без различения числа, к которой позже были добавлены аффиксы числа. Косвенным свидетельством этому могут являться возможные рефлексы **ne/o* в местоимениях единственного числа в тохарских языках.

§ 16. Ностратический личный показатель **nV*.

Проблема инклюзивности в ностратическом

В.М.Иллич-Свитыч (1971: 7) и А.Б.Долгопольский (Dolgopolsky 1984: 90) восстанавливают для ностратического праязыка местоимение 1 л. мн.ч. эксклюзива **nā*. Вместе с

тем сколько-нибудь подробного сравнительно-этимологического анализа местоимений, возводимых к этой ностратической праформе, пока не проводилось ни одним исследователем. Между тем вопрос о синтаксических оттенках значения местоимения **nV* фактически ведёт к ответу на вопрос о наличии или отсутствии категории инклюзивности / эксклюзивности в ностратическом языке в целом, который сам по себе является очень важным при реконструкции системы личных показателей как в ностратическом, так и в индоевропейском языке¹⁴.

Традиционная реконструкция В.М.Иллич-Свитыча и А.Б.Долгопольского постулирует для ностратического инклюзивное местоимение первого лица мн.ч. **mV* и эксклюзивное **nV*. Эту конструкцию поддерживает А.Бомхард (Bomhard 2003).

Эксклюзивное значение местоимения 1 л. мн.ч. **ne* (наряду с инклюзивным **we*) для древнейших стадий существования индоевропейского языка ещё в 1930 предположил М.Йенсен (Jensen 1930), которого поддержал Э.Прокош (Prokosch 1939), а затем и К.Уоткинс, который, тем не менее, сам считал эту свою гипотезу «в лучшем случае недоказанной» (Watkins 1969: 47). Его мнение было основано на том факте, что двойственное число в индоевропейском представляется явно поздней по происхождению категорией, и многие глагольные окончания для двойственного и множественного числа на самом деле происходят из единого источника. Эксклюзивный характер **ne*, по К.Уоткинсу, доказывается его наличием исключительно в формах первого лица, в то время как **we* существует и во втором лице. Такое совпадение

¹⁴ См. также отдельную работу по этому вопросу на английском языке в (Babaev, в печати).

функций, по мнению К.Уоткинса, объяснимо только при предположении о наличии в древности категории инклюзива.

В дальнейшем эта гипотеза была поддержана рядом исследователей, в т.ч. Вяч.Вс.Ивановым (Иванов 1981: 21-22; Гамкрелидзе – Иванов 1984: 292-293). Однако при постулировании выводов не учитывались свидетельства других ностратических языков и данные типологического развития парадигм личных местоимений в различных языках мира. В результате сам Вяч.Вс.Иванов задаётся вопросом, как объяснить существование наряду с эксклюзивным **nV* двух инклюзивных местоимений **mV* и **wV* (Иванов 1981: 24).

Между тем выводы эти противоречат типологическим закономерностям. Начнём с известного правила, процитировав М.Сисоу: «Почти во всех случаях эксклюзивное ‘мы’ маркируется той же морфемой, какая используется для 1 лица единственного числа» (Cysouw 2003: 84)¹⁵. О том же свидетельствует и Дж.Гринберг, приводя в пример параллелизм между монгольскими формами 1 ед. *bi* / 1 мн. экскл. *ba* vs. 2 ед. *či* / 2 мн. *ta* (Greenberg 2000: 16). Другим хорошим примером является образование эксклюзива множественного числа личного местоимения в тамильском языке, где форма *yāṅgal* ‘мы’ (экскл.) является расширением местоимения *yān* ‘я’ плюральной частицей – *gal* (Андронов 1994: 176).

В общей классификации парадигм личных маркеров языка, разработанной М.Сисоу, не встречается примеров парадигм с общим происхождением форм 1 л. ед.ч. и 1 л. мн.ч. инклюзива при отдельно маркированном эксклюзиве. Инклюзив, таким образом, является более маркированной категорией в системе личных показателей, и языков, не разли-

¹⁵ “In almost all cases, the exclusive ‘we’ is marked by the same morpheme that is used for the first person singular”.

чающих показателей лица по числу, но имеющих особую форму инклюзива, в мире встречается очень много. Одним из примеров такого рода парадигмы является сванская система субъектных префиксов при глаголе, приводимая М.Сисоу в следующем виде (Cysouw 2003: 97, 147-151):

Таблица 3.11.

	<i>l-</i>	1 инкл.
<i>xw-</i>		1
<i>x-</i>		2
<i>0/l-</i>		3

Таким образом, для ностратического $*mV$ во множественном числе, коррелирующего с наиболее распространённым маркером 1 л. ед.ч. $*m$, ожидалось бы скорее значение эксклюзива, но никак не инклюзива. Однако, как мы показывали выше при обзоре ностратических рефлексов $*mV$, в этом значении он не обнаруживается нигде в языках ностратической макросемьи. Напротив, «эксклюзивное» $*nV$ в единственном числе в ностратических языках употребляется крайне маргинально по сравнению с $*mV$.

Другая гипотеза, предлагаемая Т.В.Гамкрелидзе и Вяч.Вс.Ивановым (1984: 292), пытается объяснить аналогию форм 1 и 2 лица с основой $*wV$ как отголосок древней инклюзивности этого местоимения в индоевропейском праязыке: сочетание в категории инклюзива значений «я + ты» якобы могло способствовать переходу этого местоимения во второе лицо.

Типологически найти примеры подобного сдвига оказалось невозможно. М.Сисоу приводит лишь один пример языка, в котором фонетически совпадают местоимения 1 и 2 лиц – это язык виннебаго американской семьи хока-сиу. В не-

скольких языках по описаниям М.Сисоу засвидетельствованы омофоны связанных глагольных маркеров 1-2 лица, однако в большинстве случаев это совпадение в нулевом показателе (напр., современный английский язык), и сам автор называет такие совпадения «пограничным случаем» (Cysouw 2003: 48-50). Диахронический же переход из инклюзивно-эсклюзивной парадигмы к парадигме с омофонией 1-2 лиц типологически вообще не засвидетельствован в рассмотренных автором языках (там же, 260)¹⁶.

Однако не только типологические, но и сравнительно-исторические данные не дают весомых доказательств противопоставления, реконструированного В.М.Иллич-Свитычем.

В уральских языках не засвидетельствовано ни категории инклюзива, ни местоимений множественного числа от корня **nV*. Однако в самодийских языках местоименная основа **na-* в единственном числе фигурирует для образования косвенных падежей личных местоимений обоих лиц: нганасан. 1 л. ед.ч. им.п. *мәнә* 'я', латив *нанә*; 2 л. ед.ч. им.п. *тәнә*, латив *натә* и пр. (Сорокина 2001: 335). Значение косвенности повторяет то, что было выше реконструировано нами для индоевропейского **ne/o*.

Параллель самодийским формам обнаруживается в монгольских языках, где основа **na-(ta)-* служит основой косвенных падежей независимого личного местоимения 1 л. ед.ч. (монг. дат.п. *nada*, *namadur*, вин.п. *namayı*). В других алтайских языках родственных ей форм не найдено, однако существует ряд других рефлексов, позволяющих восстано-

¹⁶ Типологизыкового состояния или явления – они лишь могут служить дополнительным основанием для реконструкции или указывать на необычайную редкость явления, что делает его реконструкцию сомнительной (но не невозможной).

ливать для алтайского праязыка личное местоимение первого лица единственного числа **na* / **ŋa* (ND 1526; EDAL 1024). Так, пракорейская форма **nà* реконструируется для современного корейского *na* – основного местоимения 1 л. ед.ч. Древнеяпонское *a-* возводится к той же праформе и, по справедливому мнению авторов EDAL, значение этой основы является косвенным (объектным), т.к. яп. *a-* служит основой для множества композитов в качестве притяжательного префикса (*a-se* ‘моя супруга’, *a-duma* ‘моя жена’).

Таким образом, в алтайских языках мы снова не находим свидетельств об эксклюзивности данного показателя, и снова же приходим к выводу о праязыковом значении косвенности.

Надо сказать, что категория эксклюзивности / инклюзивности в алтайских языках существует: она является новообразованием монгольских и тунгусо-маньчжурских диалектов. Формирование инклюзивных форм происходит на основе контаминации показателей первого и второго лица в значении ‘я и ты’: **bi-tV* < **bi* + **tV* (солон. *biti*, монг. *bide*). К общеалтайскому архетипу подобные формы не возводятся.

Дравидийские языки, напротив, являются практически единственной семьёй в составе ностратической макросемьи, где категория и материальный вид праформ эксклюзивных и инклюзивных местоимений надёжно реконструируются на праязыковом уровне. Здесь к ностратическому эксклюзивному местоимению **nā* традиционно сводилась форма местоимения 1 л. мн.ч. **nām* – являющаяся, однако, как ни странно, не эксклюзивом, а инклюзивом. В результате В.М.Иллич-Свитычу и А.Б.Долгопольскому приходилось объяснять это несоответствие как «функциональный сдвиг», обоснования для которого не указываются (Dolgopolsky 1984: 90).

Реинтерпретация системы дравидийских личных местоимений была проведена Г.С.Старостиным (2006). Основываясь на внутренней фонетической реконструкции прадравидийских личных местоимений, автор предложил считать анлаутное **n-* в дравидийских языках аффиксом номинативных основ. Смысловым элементом, указывающим на лицо, по мнению Г.С.Старостина, является финальный элемент дравидийских местоимений. Таким образом, инклюзивное **nuāt* (в реконструкции Г.С.Старостина) относится им к рефлексам ностратического показателя **mV*, а ностратическое местоимение **nV* он видит в форме местоимения 1 л. ед.ч. **nuān*, косвенная основа **uen-* (Старостин 2006: 144). Эта реконструкция представляется весьма остроумным решением запутанной проблемы происхождения дравидийских личных местоимений, так как позволяет сравнить их с местоимениями 1 л. ед.ч. в алтайских языках (известна и фонетическая, и лексическая близость дравидийских и алтайских языков в составе макросемьи). Этот показатель 1 л. ед.ч. присутствует и в глагольных маркерах языков дравидийской семьи, восходя к **-Vn*.

Однако для реконструкции значения эксклюзива в ностратическом приходится вновь признать некий «функциональный сдвиг» от ностратического множественного числа эксклюзива к дравидийскому единственному числу с вытеснением древней формы 1 л. ед.ч. Типологически подобный сдвиг нельзя признать нормальным: естественным и распространённым в языках мира считается как раз обратное направление развития – от единственного числа к эксклюзиву множественного числа (Cysouw 2003). По нашему мнению, на основании анализа дравидийских местоимений нет воз-

возможности реконструировать ностратический эксклюзив для **nV*.

Общедравидийская эксклюзивность / инклюзивность в системе местоимений вполне может быть и относительно поздним явлением. Необходимо заметить, что эта категория отсутствует в языке брауи, который, согласно принятой реконструкции, был первым диалектным ответвлением от дравидийской праязыковой общности. Отделение брауи, произошедшее ещё до прихода древних дравидов на Индостан, датируется серединой третьего тысячелетия до н.э. (Андронов 1994). В то же время инклюзивность других дравидийских диалектов могла быть заимствована на позднем прадравидийским из мунда, автохтонных языков Индии. Морфологическая категория инклюзивности нередко заимствуется языками в результате ареальных контактов и субстратного взаимодействия (Jacobsen 1980, Nichols 2003: 304). Неудивительно, что на поздней стадии существования дравидийского праязыка (без брауи) эта характеристика могла развиться под влиянием мунда, где эксклюзивность/инклюзивность является одной из характерных черт местоименной морфологии. Приобретение и утеря категории эксклюзивности дравидийскими языками упомянуты С.Н.Сридхаром (Sridhar 1990: 203), который указывает, в частности, на пример языка каннада, потерявшего данную категорию под влиянием соседних индоарийских диалектов.

Обращает на себя внимание форма брауи *nan* 'мы'. Её происхождение остаётся неясным.

В картвельских языках личный показатель **nV* зафиксирован только в сванском языке в виде местоимений 1 л. мн.ч. эксклюзива (по различным диалектам) *näj*, *nä*, *naj*, а также глагольного префикса 1 л. мн.ч. эксклюзива объекта *n-*. Притяжательное эксклюзивное местоимение содержит его в

форме *nišgwej*. В других языках семьи эта форма не засвидетельствована, и тем не менее сванская форма реконструируется на пракартвельском уровне В.М.Иллич-Свитычем (1971: 7) и А.Б.Долгопольским (1984: 90; ND 1526). Оснований делать это на базе лишь одного языка мы не видим: эксклюзивность сванских местоимений можно с той же вероятностью считать инновацией, возникшей под влиянием соседних кавказских языков – категория инклюзивности / эксклюзивности присутствует в большинстве нахско-дагестанских языков. В то же время наличие префиксального местоимения **n-* в значении множественного числа объекта (в противопоставлении субъекту) может свидетельствовать о родстве этой формы с объектными местоимениями других ностратических языков.

Помимо перечисленных рефлексов, в анализ ностратического местоимения **nV* нередко включают данные афразийских языков, родственных ностратическим.

Довольно обширный корпус данных афразийских языков делает необходимым очень тщательный разбор каждой формы с тем, чтобы отделить реальные рефлексы древнего местоимения **nV* от многочисленных новообразований. Здесь данная основа функционирует как в независимом положении, так и в связанной приглагольной форме.

В глагольной системе личные аффиксы, производные от **nV*, употребляются практически во всех сериях (систематизация серий проводится по [Дьяконов 1967]). Легко показать при этом, что они действуют для выражения не только множественного, но и единственного числа.

Для префиксальной серии, выражающей значение субъекта глагола, восстанавливается форма 1 л. мн.ч. **nV-* (аккад. *ni-*, араб. *na-*; ташельхит *n-*; бедауйе *ni-* и проч.). Праафразийский вокализм остаётся неясным.

Суффиксальная серия, выражающая субъект глагола состояния в прямом падеже или предикативный суффикс, также позволяет реконструировать праафразийское **-nV* (аккад. *-āni*, геэз *-nā*; др.-егип. *n*).

В серии притяжательных суффиксальных местоимений также имеются вполне надёжные рефлексы для восстановления праформы **-nV*: аккад. *-ni* / *-ni*, араб. *-na*; др.-егип. *-n*; ташельхит *-na*; беджа (кушит.) *-n*, яку *-ni*. В чадских языках, впрочем, данная притяжательная форма может быть восстановлена для 1 л. ед.ч. на основании сура-герка **-na*, болектангале **na-u*, тера **-na*, мандара **-na*, она же, по-видимому, с помощью расширений перенесена в парадигму 1 л. мн.ч. эксклюзива.

Суффиксальные местоимения прямого объекта дают нам формы 1 л. ед.ч. аккад. *-na*, а также в чадских языках хауса *ni*, сокоро **na*, *-no*, а также 1 л. мн.ч. ташельхит *-na*.

Самостоятельные личные местоимения прямого падежа (значение субъекта состояния) демонстрируют аналогичную расплывчатость рефлексов по числам: 1 л. ед.ч. хауса *ni*, сомали (кушит.) *ana*, 1 л. мн.ч. семит. **naḥna*, др.-егип. *n*, *in-n*, сомали (экскл.) *anna*, (инкл.) *inna*. Напомним, что элемент *In-* здесь представляет собой древний афразийский префикс, вероятно, представляющий старую глагольную связку.

Аналогичная основа **nV* используется при формировании самостоятельных объектных и притяжательных местоимений, причём как в единственном числе (напр., хауса *ni* ‘меня’), так и – в основном – во множественном (напр., сомали *na* ‘нас’) (Дьяконов 1967: 225; Blažek 1991, Dolgopolsky 1984: 90, ND 1526).

Суммируя эти многочисленные формы афразийских языков, можно сделать вывод, что местоимением 1 л. множественного числа в праафразийском было именно **nV*, способ-

ное выступать в различных значениях как в префиксальной, так и в суффиксальной, и в независимой форме (в виде старой глагольной словоформы). Распределения между личным маркированием переходного и непереходного глагола не отмечается – **nV* функционирует при обоих. Интересными являются факты, позволяющие предположить наличие **nV* и в единственном числе в афразийском праязыке. Если это предположение верно (а этот вопрос остаётся спорным), объяснимо развитие значения **nV* как эксклюзивного местоимения в чадских языках. Кушитские языки, как легко заметить, демонстрируют **nV* как в эксклюзиве, так и в инклюзиве. Праафразийская реконструкция категории инклюзивности может, таким образом, базироваться только на чадских данных, что методологически представляется весьма и весьма натянутым.

Любопытная аналогия чадским данным обнаруживается в нивхском языке, который А.Б.Долгопольский и А.Бомхард включают в состав ностратических. Мы находим в нивхском языке личное местоимение 1 л. ед.ч. *n'u* 'я' и 1 л. мн.ч. эксклюзива *nyŋ*, *n'in* 'мы' с местоименными суффиксами плюральности (Груздева 1997: 149; Gruzdeva 1998: 25).

Эскимосско-алеутская посессивная аффиксальная морфема *-n*, приводимая К.Бергсландом, может быть отнесена к этому же списку (Bergsland 1986: 88).

Таким образом, распределение рефлексов ностратического личного показателя **nV* в 1 лице по различным языкам и синтаксическим значениям можно отразить в следующей таблице:

Таблица 3.12.

языки	праформа	значение
индоевропейские	<i>*ne-/no-</i>	дв.ч. и мн.ч. в косвенных падежах
уральские	<i>*na-</i>	основа косвенных падежей
алтайские	<i>*na / *ηa, *na-</i>	ед.ч., косвенная основа ед.ч.
дравидийские	<i>*nyān, *uēn-</i>	ед.ч.
кارتвельские	<i>*n-, *naj</i>	мн.ч. эксклюзива объекта (сван.)
афразийские	<i>*nV</i>	ед.ч., мн.ч. эксклюзива (чад.)
нивхский	<i>n'u-</i>	ед.ч., мн.ч. эксклюзива
эскимосско-алеутские	<i>-n ?</i>	ед.ч. посессива

Выводы о значении праформы, которая может быть воссоздана по итогам такого анализа, делаются следующие.

Ностратическая праформа **nV* не может быть однозначно отнесена к средствам выражения множественного числа. Подобное значение может быть предположено лишь на материале индоевропейских и картвельских данных, в то время как дравидийские, уральские и алтайские факты позволяют реконструировать и форму сингуляриса.

Значение эксклюзивности **nV*, предположенное ранее для ностратического праязыка, опирается лишь на сванские и чадские данные, в то время как ни один из праязыков семей ностратических языков не позволяет подтвердить этой гипотезы.

Представляется, что реконструкция этой категории для ностратического стала лишь попыткой объяснить в ностратических языках наличие сразу нескольких лексических корней показателей первого лица. На сегодняшний день убедительных данных для доказательства существования эксклюзивности / инклюзивности в системе показателей лица в но-

стратическом праязыке явно недостаточно. В индоевропейских языках категория эксклюзивности / инклюзивности не имеет доказательной базы, и гипотеза о её реконструкции опирается в основном на данные внешнего сравнения.

Скорее можно предположить, что показатель **nV* носил общее значение первого лица. При этом другим выраженным синтаксическим значением, которое может быть восстановлено для ностратического **nV*, является оттенок объектности, косвенности (obliquity). Это значение для **nV*, видимо, было первоначальным в индоевропейском, уральском и алтайском праязыках, значение косвенности / объектности присутствует и в сванском языке. В ряде афразийских языков **nV* является основой притяжательного или общекосвенного аффикса.

§ 17. Происхождение индоевропейского показателя 1 лица **we-*

В индоевропейских языках не зафиксировано ни одного личного местоимения единственного числа, восходящего к показателю на **w-*. Весь материал относится к формам двойственного (с основой **wē-*) и множественного (с основами **weĵ-* / **wes-*) числа, что даёт объективную возможность реконструировать индоевропейскую праформу личного местоимения со значением первого лица не-единственного числа.

Индоарийская форма личного местоимения номинатива двойственного числа *vām* < **wēm* ‘мы двое’ дополняется формой множественного числа др.-инд. *vayam* < **weĵom*. В косвенных падежах используется основа от показателя **ne/o*. Глагольные окончания др.-инд. дв.ч. *-vas* (первич.) и *-va* (вторич.), *-vahi* / *-vahe* (средний залог) свидетельствуют о

праформе **we-*. Этим данным соответствуют древнеиранское (авестийское) местоимение дв.ч. в им.п. *əvāt*, мн.ч. авест. *vaēt*, др.-перс. *vaumat*, а также глагольные аффиксы авест. дв.ч. *-vahī* (первич.), *-va* (вторич.).

В германских и балтийских языках форма двойственного числа личного местоимения образована слиянием основы **we-* с числительным **dwo* (гот. *wit*, лит. жемайт. *vedu*) и является новообразованием. В глагольной системе балтийских языков *-va* является маркером 1 л. дв.ч.

Во множественном числе германские языки показывают **weis* в номинативе (но не в других падежах). Наряду с индоиранскими эта форма – единственная, позволяющая реконструировать индоевропейскую основу **weǵ-* наряду с **we-*.

В славянских языках существует форма номинатива местоимения ст.-слав. дв.ч. *vě* < **wē* (косвенные падежи образованы от **ne/o*), а также глагольное окончание дв.ч. *-vě*. Во множественном числе употребляются показатели **tu* (в номинативе) и *na-* < **no-* (в косвенных падежах).

В хеттском языке основным местоимением 1 л. мн.ч. является *wes* (иер. лув. *waza?* [Meriggi 1980: 317]), в косвенной основе находим рефлекс показателя **ne/o*. В качестве родственной формы в системе глагола можно назвать анатолийское окончание 1 л. мн.ч. *-weni*, пал. *-wani*. Его интересно сравнить с формами двойственного числа других индоевропейских языков, особенно с учётом широко цитируемой глоссы *šaku-wa* ‘глаза’, в которой видят отголоски (или зачатки?) двойственного числа в анатолийских языках. При наличии параллельного *-men(i)* в системе глагола окончания *-wen*, *-weni* могут свидетельствовать о следах дуалиса в хеттском (Иванов 1981: 17-18).

В тохарских языках **wo-* формирует формы независимых местоимений двойственного (в тохарском В) и множественного числа. В двойственном числе мы видим тох. В *wene* с аффиксом дв.ч. *-ne*, в тохарском А *wi* или *we*, т.е. просто числительное «два» в роли местоимения дв.ч. Во множественном числе оба языка возводят свои формы к **wes*. В тохарском глаголе также засвидетельствовано окончание 1 л. ед.ч. претерита *-wā*, которое Д.Адамс реконструирует на пратохарском уровне как перфектный аффикс **-wā* (Adams 1988: 57), хотя более правильной фонетической реконструкцией было бы **-wā* (С.А. Бурлак, устное сообщение).

В связи с тохарским материалом необходимо отметить, что с личным местоимением **we-* можно сравнить ряд глагольных форм первого лица различных индоевропейских языков на **-u-* / **-w-*. Речь, в частности, идёт об анатолийских формах настоящего времени типа лувийского 1 л. ед.ч. настоящего времени *-wi*, в ликийском *-u* / *-v*. Эти формы уже довольно давно сравнивали с тохарским претеритным окончанием 1 л. ед.ч. *-wā*, которое, в свою очередь, может быть генетически родственным латинскому перфектному окончанию 1 л. ед.ч. *-uī* / *-vī*, др.-инд. перфекту 1 л. ед.ч. *-u* и албанскому аористу на *-va* (Иванов 1981: 48), а также литовским формам прошедшего времени на *-au*.

Однако именно сравнение этих окончаний не позволяет выделить в них показатель первого лица **we-* по причине того, что **-w-* явственно проявляется и в других лицах: в латинском окончания перфекта содержат *-v-* во всей парадигме, а в древнеиндийском перфектная форма типа *paṃrāu* 'наполнил' означает и первое, и третье лицо. Кроме того, в перечисленных примерах (кроме лувийского) **-w-* явно тяготеет к не-презентным видо-временным конструкциям.

Лувийская форма может рассматриваться как контаминация *-u- и показателя актуальности *-i (он присутствует во всей парадигме), где первый может быть выведен из индоевропейского *-ō. Это окончание в данном контексте сравнивается с хетт. претеритным -un, ликийским и лидийским -u / -v (Семереньи 1980: 262-263).

В этой связи представляется более обоснованным опираться на другие гипотезы о происхождении глагольного *-w- / *-u в не-презентных формах. В.Краузе полагал, что сонант *-u- мог образоваться чисто фонетически перед перфектным показателем *H, в качестве модели мог выступать глагол *bhū-: лат. *fuī* < **fuvai*. Под влиянием таких форм возникает перфект латинских каузативов типа *tonui*, *doui* (Krause 1955).

Г.Шмидт, отрицая фонетическую гипотезу происхождения *-u-, считает этот элемент маркером «не-презентности» и сравнивает его с указательным местоимением, к которому восходят скр. *asaui* ‘тот’, слав. *овъ* (Schmidt 1984). Этой точки зрения придерживается и К.Г.Красухин (2004: 110-111). Вероятнее всего, глагольное *-u / *-w- с местоименным показателем лица связано не было.

Итак, систематизируя вышесказанное, мы получаем следующую таблицу соответствий:

Таблица 3.13.

языки	форма местоимения	форма глагольного аффикса
анатолийские	мн.ч. <i>wes</i>	мн.ч. *- <i>wen(i)</i>
индоарийские	дв.ч. *(<i>e</i>) <i>wēm</i> , мн.ч. * <i>wejom</i>	дв.ч. *- <i>we(s)</i>
иранские	дв.ч. * <i>e-wem</i> , мн.ч. * <i>wejom</i>	дв.ч. *- <i>we-</i>

германские	дв.ч. <i>wit</i> < <i>*we-dwo</i> , мн.ч. <i>*weis</i>	
балтийские	дв.ч. (жемайт.) <i>vedu</i> < <i>*we-dwo</i>	дв.ч. <i>-va</i>
славянские	дв.ч. <i>vě</i> < <i>*wē</i>	дв.ч. <i>-vě</i>
тохарские	дв.ч. <i>*we-</i> , мн.ч. <i>*wes</i>	мн.ч. перфекта <i>*-wā</i> ?

То есть индоевропейский личный показатель **we-* обнаруживается в местоимениях и глагольных формах:

- а) только двойственного числа в славянских и балтийских;
- б) только множественного числа в анатолийских (при отсутствии дуалиса в языке в целом);
- в) в обоих этих числах в индоарийских, иранских, германских и тохарских.

Таким образом, единственным языком, где **we-* не засвидетельствовано в двойственном числе, является хеттский, где этого числа не существовало вовсе. Так как существует множество языков, где **we-* функционирует в дуалисе и плюралисе, или же только в дуалисе, но нет ни одного, где он был бы только в плюралисе, можно считать доказанным, что первоначальным значением основы было именно значение двойственности, позже перенесённое на множественное число. И возражение о том, что морфологическое двойственное число, как полагают, развилось в индоевропейском только после выделения анатолийских диалектов, здесь не играет роли: значение двойственности может выражаться в языке синтаксически, причём очень тривиально: с помощью числительного «два».

Противопоставление показателей 1 л. во множественном и двойственном числах номинатива **me*, **ne/o* и **we-* по-разному объясняется в современных исследованиях.

Т.В.Гамкрелидзе и Вяч.Вс.Иванов (1984: 254) считают **we-* инклюзивной основой – отсюда сдвиг на значение двойственного числа, – при этом **ne/o* рассматривается как эксклюзив. Но, как мы говорили выше, ни то, ни другое значение в индоевропейском языке реконструировано быть не может по причине тотального отсутствия категории инклюзивности / эксклюзивности в индоевропейских языках. К тому же в этом случае игнорируется местоимение множественного числа от показателя **me*, что, конечно, недопустимо. А включение его в парадигму сделало бы её абсолютно несистемной.

Обычно считается, что индоевропейское местоимение **wes* могло быть стандартной формой номинатива множественного числа, вытесненного в ряде языков (напр., итальянских и тохарских) косвенной основой **ne/o*, а в ряде других (балтийском, славянском и армянском) – основой ед.ч. **me* с частицей плюральности **-s*.

Однако более логично было бы вслед за О.Семереньи (1980: 232-234) придать **we-* «вторичный и неместоименный характер», справедливо указав на одну важную его особенность: эта лексема существует и во втором лице двойственного и множественного числа. Местоимение 2 л. мн.ч. **we-/wo-* ‘вы’ восстанавливается для праиндоевропейского и рассмотрено нами ниже в § 24. Нам, таким образом, приходится иметь дело с местоимением, выражающим значения и первого, и второго лица, причём общим значением при этом является значение не-единственного числа.

Если мы будем искать лексические источники происхождения индоевропейского местоимения двойственного числа, то логичнее всего предположить, что изначальное значение этого показателя парности в индоевропейском – числитель-

ное «два», употреблявшееся в качестве синтаксического маркера ещё до создания в языке морфологического маркирования категории дуалиса. Позже числительное распространилось на формы множественного числа с расширением плюральными частицами **-i-* и **-s-*.

Подобная модель – употребление числительного «два» для обозначения двойственного числа с его последующей грамматикализацией в качестве личного местоимения – имеет типологические параллели в языках мира. Так, в североамериканских языках мивок (Miwok) в качестве личного местоимения дв.ч. закрепилось старое числительное **ʔoti-* ‘два’: ср. бodega-мивок *ʔoc.i* ‘мы двое’, юж. сьерра-мивок *ʔoti.me-* ‘мы двое’, где *-me* является аффиксом 1 л. мн.ч., присоединённым для различения формы дв.ч. от другого местоимения *ʔoti.c.i-* ‘я, ты и он’ (Callaghan 1974: 385-386).

Переход местоимения дв.ч. в домен множественного числа с добавлением плюрального аффикса – также распространённое типологическое явление. В нганасанском языке местоимения мн.ч. системно образуются от местоимений дв.ч. с помощью добавления суффикса *-ŋ* (*mi* ‘мы двое’ – *miŋ* ‘мы’ и т.д.). Аналогичный пример засвидетельствован в южноамериканском языке дамана (семья чибча): *nabi* ‘мы двое’ – *nabi-nyina* ‘мы’; *tabi* ‘вы двое’ – *tabi-nyina* ‘вы’ и т.д. Эти и другие примеры приводит М.Сисоу (Cysouw 2003: 195-199).

Помимо типологической, для подобной гипотезы существует надёжная фонологическая база. В.М.Иллич-Свитыч (1976: 54), поддержавший точку зрения о происхождении индоевропейского **we-* из форм дуалиса, ориентируется на более ранние доводы А.Кюни в пользу рассмотрения **we-* как морфемы со значением «два» (Cuny 1924).

Ряд рефлексов этого числительного в индоевропейском показывают, что в праязыке существовал не только надёжно реконструируемый корень **dwō* (Pokorny 1959: 228-232), но и его алломорф с анлаутным **w-*. Можно сравнить лат. *vīginti* ‘двадцать’, греч. эол. *ἑκατὶ*, арм. *k`san*, ирл. *fiche*, тох. А *wiki* < **wi-dkmtī* (Тронский 2001; Бурлак 2000: 257), галл. этнонимы *Vo-corii* и *Vo-contii* (ср. *Tri-corii*), тох. А *wi*, *we*, В *wi* ‘два’, др.-инд. *u-bhau* ‘оба’, а также, возможно, др.-инд. *vi-* ‘раздельно, надвое’ (Walde – Hoffman 1938: 789). Эти данные никак нельзя назвать диалектными – они относятся ко всей индоевропейской общности и позволяют реконструировать несколько вариантов анлаута в лексеме «два» на праязыковом уровне.

На основании значительного фонетического расхождения между различными рефлексам начального согласного индоевропейского числительного «два» Т.В.Гамкрелидзе и Вяч.Вс.Иванов делают попытку реконструировать специфическую праязыковую фонему – «глоттализованную дентальную с признаками лабиализации» (Гамкрелидзе – Иванов 1984: 133). Впрочем, других надёжных лексем, подтверждающих существование этой фонемы, авторы не представляют. В другом своём исследовании Вяч.Вс.Иванов склонен постулировать фонетический переход **dw-* > **w-* (Иванов 1981: 20), сравнивая глагольное окончание дв.-мн.ч. на **-w-* с падежным окончанием им.п. дв.ч. имени в лексемах типа др.-инд. *pādau* ‘обе ноги’, и.-е. **ok`tō-u* ‘восемь’. Сходство данного именного показателя дуалиса с рассмотренными выше местоименными и глагольными формами заставляет предположить их генетическое родство между собой и общее происхождение.

Приведённые данные ещё раз подтверждает гипотезу: в индоевропейском существовал аллофон лексемы **dwe-* / **dwo-* с анлаутным **w-* и значением «два, двое», значение которой, по-видимому, позже трансформировалось в «мы двое», «вы двое».

Гипотеза об индоевропейском происхождении личного показателя **we-* косвенно подтверждается и тем, что его внешние связи в ностратических языках надёжно не прослеживаются.

Реконструируемое А.Б.Долгопольским ностратическое личное местоимение **wIyV* 'мы' (ND 2555), из которого автор выводит индоевропейские формы, не находит надёжных параллелей в других языках семьи. В качестве его рефлексов привлекаются данные афразийских южно-омотских языков, для которых вряд ли возможно предположить надёжную праафразийскую реконструкцию (древнеегипетскую форму зависимого местоимения 1 л. ед.ч. *wy* сам же А.Б.Долгопольский помечает как более чем сомнительную с точки зрения происхождения). Указывается также на *-w-* в картвельской форме личного и притяжательного местоимения 1 л. мн.ч. **čwen-*, происхождение анлаутного *č-* в которой до сих пор вызывает серьёзные разногласия. При анализе родственных сванских форм *gu-šgwej* и *ni-šgwej* с префиксами 1 л. мн.ч. инклюзива/эксклюзива становится понятно, что форма **čwen-* была нейтральна по отношению к этой категории (Климов 1964: 219-220). Конечно, южно-омотских и индоевропейских данных, мягко говоря, недостаточно для реконструкции общеностратической морфемы.

Другие исследователи (в частности, В.М.Иллич-Свитыч, А.Бомхард, Дж.Гринберг, В.Блажек) не склонны постулировать для ностратического праязыка существования местоимения на **w-*.

Представляется, что индоевропейский личный показатель **we-* является не ностратическим наследием, а индоевропейской инновацией и скорее всего восходит к числительному «два», применявшемуся в индо-хеттский период в качестве синтаксического маркера двойственности местоимений (затем и множественности), а в собственно индоевропейский период послужившему основой нового показателя дв.ч. в имени, местоимении и глаголе, распространившегося позже на формы множественного числа. По замечанию И.М.Тронского, «двойственное число индоевропейских языков... в известной мере тяготеет к множественному; в корневой оппозиции супплетивных личных местоимений корню единственного противостоит общий корень двойственного и множественного» (цит. по: [Иванов 1981: 20]).

§ 18. Реконструкция ностратических показателей первого лица

Выше нами были рассмотрены различные лексемы, несущие в индоевропейских языках значение первого лица, и проанализировано их происхождение. В ряде случаев для сравнения привлечены данные других языков ностратической макросемьи, сделаны предположения о ностратическом происхождении ряда индоевропейских личных показателей.

Попробуем систематизировать приведённый материал, с тем чтобы осуществить задачу реконструкции ностратических личных показателей первого лица. Сделав выводы на ностратическом праязыковом уровне, мы сможем затем яснее представить себе картину развития и трансформации показателей лица в индоевропейском праязыке.

1. Личный показатель **mV* (предположительно *te* или *tä*) служит в ностратических языках для обозначения субъекта переходного глагола. В некоторых случаях при этом **mV* трансформируется в объектный показатель при транзитивном глаголе – так происходит в картвельском префиксальном спряжении. В мегрельском языке показатели прямого объекта могут довольно свободно переходить к обозначению субъекта и наоборот в зависимости от типа спряжения (Кипшидзе 1914). Эта черта типологически присуща многим языкам мира (Cysouw 2003).

Опираясь на данные различных семей языков Евразии, можно предположить, что в ностратическом праязыке показатель **mV* не носил связанного характера и выступал в качестве независимого личного местоимения.

Транзитивное значение **mV* сохранилось в индоевропейском праязыке, где данный показатель также маркирует неперфектные, транзитивные глаголы. В этом качестве **mV* стало основой личного местоимения 1 л. в косвенных падежах **me-*.

По всей видимости, значение конкретного числа у личного показателя **mV* в ностратическом языке отсутствовало. При формировании парадигмы индоевропейских личных местоимений множественное число личных показателей как в виде местоимений, так и в виде глагольных аффиксов формируется с помощью плюралных маркеров – как и во многих других ностратических языках. Следовательно, подобная парадигма показателей лица начинает формироваться уже в период существования ностратической языковой общности.

Ту же хронологическую глубину можно установить и для притяжательной (общекосвенной) формы данного показателя **mV-nV-*, реконструируемой на основе данных сразу не-

скольких семей ностратических языков. Эта форма является контаминацией показателя лица и показателя косвенности $*nV$.

2. Личный показатель $*qV$ противостоит $*mV$ по своему синтаксическому значению. В отличие от последнего, он выражает значение субъекта непереходного глагола. Его происхождение может быть увязано с первоначальным конкретным эмфатическим значением «сам», в котором он, очевидно, мог фигурировать на ранних этапах развития ностратического праязыка в качестве независимой лексемы. Впоследствии, после оформления в различных ностратических языках личного глагольного спряжения – очевидно, это случилось в ряде диалектов уже после распада ностратической языковой общности – $*qV$ стал маркировать абсолютивные, стативные, перфектные формы глаголов.

Данные реконструкции ностратической фонетической системы позволяют предположить, что индоевропейский перфективно-медальный личный показатель $*-H_2e > *-Ha$ должен быть возведён к ностратическому $*qV$, что логично объясняет многие из описанных выше фактов глагольного словоизменения в анатолийских и других индоевропейских языках. Вывод об их генетическом родстве подкрепляется и синтаксическим сходством форм с индоевропейским $*-Ha$ и форм других ностратических языков, восходящих к $*qV$.

В индоевропейских языках ностратический показатель $*qV$ сохранился как основа для формирования глагольных аффиксов так называемой второй серии – перфектно-стативного спряжения. При этом уже на ранних стадиях, даже в анатолийских языках, где вторая серия сохранилась лучше всего, строгое морфологическое различие между стативными и активными, переходными и непереходными гла-

голами начинает размываться. В прочих же индоевропейских языках формируется ряд видо-временных и залоговых категорий, в разной степени наследующих синтаксические характеристики прежнего статива: перфект, средний залог, тематическое спряжение настоящего времени.

Необходимо отметить безразличие $*qV$ к категории числа, особенно хорошо заметное на материале тех ностратических языков, которые имеют рефлекс $*qV$ в обоих числах.

Гипотеза Л.Палмайтиса, выдвинутая в 70-е годы XX века (Палмайтис 1972), призвана была объяснить многообразие ностратических личных местоимений и тот отмеченный уже нами факт, что число в местоимениях на праязыковом уровне не различалось. Л.Палмайтис предположил, что в ностратическом праязыке (который автор именуется «бореальным») существовало два ряда местоимений. Эти ряды он восстанавливает как эргативный (активный) и абсолютный (стативный). Вслед за ним В.Блажек (Blažek 1995) предположил, что данные ряды впоследствии контаминируются в единую систему в связи с отмиранием бинарного противопоставления в системе местоимений, что объясняет супплетивизм основ личных местоимений в таких потомках ностратического, как индоевропейский и дравидийский (в частности, брауи).

При анализе рассмотренного выше материала можно подтвердить вывод, что наиболее частыми оттенками значения форм ностратического $*qV$ являются стативность и интранзитивность.

При переходе стативного местоимения в глагольную систему результирующий глагольный показатель логично маркирует формы с непереходно-стативным значением. Возможно, аналогичное развитие имел $-k$ и в тюркских языках, где он оформляет претерит (бывший перфект?).

Интересно также отметить, что с типологической точки зрения весьма частым случаем грамматикализации личных местоимений является формирование глагольной флексии инфекта из косвенной основы местоимения, в то время как прямые (абсолютные) основы местоимений маркируют формы перфектива/абсолютива (Cysouw 2003).

Так происходит и в индоевропейских, а также в уральских языках: в частности, П.Хайду при анализе венгерского языка указывает, что местоимение с аккузативным значением, указывающее на объект глагола, стало со временем выполнять функцию личного аффикса переходных глаголов (т.о., венг. *látja* 'он видит' < *lát-azt* 'видит-это', *lát-őt* 'видит-его') (Хайду 1985: 245 и след.). Возможно, в таком случае объяснимо отсутствие либо рудиментарный характер показателя **q* в глагольном спряжении тех языков, которые потеряли распределение между субъектным и объектным спряжением.

3. Два указанных показателя составляли, таким образом, основную дихотомическую оппозицию в ностратическом праязыке, которая была сильно трансформирована во всех языках-потомках, включая индоевропейские языки.

Что касается остальных личных формантов, рассмотренных подробно в данной главе, то можно предположить их инновационное происхождение в период существования индоевропейской праязыковой общности.

В частности, индоевропейское местоимение 1 л. номинатива **eg'Ho(m)*, как мы видели выше, не находит надёжных параллелей в других ностратических языках в качестве личного показателя и скорее всего является индоевропейской инновацией, созданной для замещения личного показателя **-Ha* в независимом положении по чисто фонетическим причинам.

Индоевропейский личный показатель **we-* / **wej-* характеризуется рядом особенностей, позволяющих предположить его позднее происхождение на почве индоевропейского праязыка. Данный показатель употребляется в формах преимущественно двойственного, а также множественного числа, и не различает лица, присутствуя в местоимениях и первого, и второго лица – для индоевропейского праязыка реконструируется также показатель 2 лица не-единственного числа **w-* (подробнее об этом см. ниже).

Как показывают данные внешнего сравнения, в других ностратических языках убедительных параллелей индоевропейскому **we-* не обнаруживается, как, собственно, и не может быть реконструировано единого ностратического показателя двойственного числа. Категории двойственного числа в ностратическом праязыке не существовало – в тех же диалектах, где оно образуется, его источником нередко также служит числительное «два». Делается вывод, что показатель **wV* является индоевропейской инновацией.

Нет оснований предполагать особого «инклюзивного» характера индоевропейского **we-*.

Если признать, что показатель **we-* зародился на индоевропейской почве, он, вероятнее всего, происходит из синтаксически независимого числительного «два». Образование личных местоимений двойственного числа с помощью лексем «два» – известный феномен в языках мира, при этом типологически нормальным является образование от неё также показателя множественного числа с дополнительным аффиксом плюральности.

Происхождению показателя **wV* из синтаксически независимого числительного «два» хорошо соответствует рекон-

струкция одного из вариантов корня данного индоевропейского числительного как **wV-*.

Индоевропейский личный показатель косвенных падежей не-единственного числа **ne/o-* реконструируется на ностратическом уровне также по материалам уральских, алтайских, картвельских, дравидийских языков. В отличие от индоевропейского, в этих языках он не имеет чёткой привязки к категории числа и функционировал в формах как единственного, так и множественного числа. Основной характеристикой ностратического показателя **nV* может считаться синтаксическое значение косвенности.

4. Анализ языкового материала ностратических языков позволяет утверждать, что не существует весомых доказательств наличия в ностратическом праязыке категории эксклюзивности / инклюзивности. Местоимение **nV*, которому обычно приписывается значение эксклюзивности, зафиксировано в этом качестве только в одном из картвельских языков, а также в чадских языках, что не позволяет построить надёжную ностратическую реконструкцию. Мы показали, что типологически эксклюзивная форма 1 л. мн.ч. обычно строится на основе того же лексического корня, что и местоимение 1 л. ед.ч. – между тем в ностратических языках нет примеров образования эксклюзивных форм от местоимений ед.ч. **mV* или **qV*. С точки зрения сравнительного анализа реконструкция категории эксклюзивности / инклюзивности также нецелесообразна, учитывая её полное отсутствие в уральском, индоевропейском, алтайском праязыке и довольно сомнительную реконструкцию для пракартвельского и прадравидийского.

Представляется, что опыты реконструкции этой категории для ностратического праязыка вызваны лишь стремлением

объяснить существование сразу нескольких основ показателей первого лица, восстанавливаемых для праязыка.

Для того, чтобы ограничить количество ностратических показателей первого лица, необходимо провести также анализ прочих гипотез реконструкции, предложенных различными исследователями.

А.Б.Долгопольский в «Ностратическом словаре» восстанавливает семь (!) личных местоимений со значением первого лица:

<i>*mi</i>	1 л. ед.ч. (ND 1354);
<i>*mi ʔa</i>	1 л. мн.ч. (ND 1354a);
<i>*nV</i>	1 л. мн.ч. эксклюзива (ND 1526);
<i>*g(u)</i>	1 л. мн.ч. инклюзива (ND 580);
<i>*hoʉV</i>	1 л. ед.ч. косвенная форма (ND 822);
<i>*(o)kE</i>	1 л. ед.ч. рефлексив (ND 19);
<i>*wVyV</i>	1 л. мн.ч. (ND 2555).

В основном те же формы реконструирует и А.Бомхард для ностратического праязыка:

1 л. ед.ч. (актива): <i>*mi</i> (*-m);
1 л. мн.ч. (инклюзива, актива): <i>*ma</i> (*-m);
1 л. (статива): <i>*kha</i> (*-kh);
1 л. (статива): <i>*Ha</i> (*-H);
1 л. ед.ч.: <i>*na</i> (*-n);
1 л. мн.ч. (эксклюзива, актива): <i>*na</i> ;
1 л. (посессива / агентива): <i>*ʔya</i> (Bomhard 2003: 533).

Из них в проведенном нами выше анализе большинство было использовано. Так, **mi* и **mi ʔa* А.Б.Долгопольского (**mi*, **ma* А.Бомхарда) восходят к ностратическому показателю **mV*; **nV* (**na*) восстанавливается нами как косвенный маркер неместоименного происхождения; гипотетический показатель **wVyV* имеет довольно шаткие основания для ре-

конструкции на ностратическом уровне, являясь новообразованием индоевропейского. Местоимение **(o)kE*, постулируемое А.Б.Долгопольским (**kha* у А.Бомхарда), мы склонны обозначать как **qV*, где ностр. **q* являет собой некий увулярный (или поствелярный) звук, устанавливаемый соответствием и.-е. **H₂* и уральского **k*.

Да и два оставшихся показателя в списке А.Б.Долгопольского представляют лишь иное фонетическое толкование тех же рефлексов: так, **g(u)* восстанавливается им на основе сравнения тюрк. **-k* и картвельского объектного префикса 1 л. мн.ч. **gw-*, а также неясных чадских форм **gy-*, что, по нашему мнению, представляет собой недостаточно надёжную репрезентативную выборку. Местоимение **houV* выводится из соответствия индоевропейского ларингального показателя **-Ha*, дравидийского **y-* (которое, как показано Г.С.Старостиным, скорее всего восходит к **ny-* неместоименного происхождения) и картвельского префикса 1 л. **xw-*.

Отметим, что эти сопоставления ни в коем случае не считаются нами неверными. Они вполне могут представлять собой как диалектные формы личных показателей, так и рудименты более древних парадигм личных местоимений. Однако для установления их синтаксического значения и синхронного места в праязыке необходимо более солидное обоснование на материале языков-потомков.

Для ностратического праязыка, таким образом, восстанавливаются два основных показателя лица, различающихся по признаку маркирования интранзитивного / транзитивного глагола, а также вспомогательный общекошвенный / посесивный маркер для транзитивного показателя лица:

Таблица 3.14.

	статив/интранзитив	актив/транзитив
прямая форма	$*qV$	$*mV$
косвенная / по- сессивная форма	-	$*mV-nV$

Глава 4

Реконструкция и происхождение показателей второго лица

§ 19. Индоевропейский показатель 2 лица *-s

Одна из самых больших загадок сравнительно-исторической морфологии индоевропейских языков – материальное несоответствие между личным местоимением и основным глагольным показателем второго лица в единственном числе. Зеркального соответствия, подобного существующему между формантами первого лица в виде производных от **m-*, во втором лице не наблюдается. Основное местоимение второго лица реконструируется как **tu-* / **te-*, в качестве глагольного показателя выступает **-s(i)*.

Этот последний реконструируется на индоевропейском уровне для т.н. «первой» серии личных глагольных окончаний и зафиксирован практически во всех группах индоевропейских языков.

Таблица 4.1.

	наст.вр. актива (первичные)	имперфект актива (вторичные)	медий	перфект
греч.	<i>-si</i>	<i>-s</i>	<i>-ēi < -e-sai</i> <i>-ou < *-eso</i>	<i>-as < *H₂e-s</i>
др.- инд.	<i>-si</i>	<i>-s</i>	<i>-se < *-sai</i>	
др.- иран.	<i>-hi < *-si</i>		<i>-he < *-sai</i> <i>-ša < *-so</i>	
хетт.	<i>-ši</i>	<i>-š</i>		<i>-š-ta < *-s- tH₂e</i>

лат.	-s	-s	-ri-s	-i-s-tī < *-s-tH ₂ e
гот.	-s			
ст-слав.	-si	-θ < *-s		
лит.	-si			
тох.				-(ä)stā
арм.	-s			
алб.	-sh	-sh		

По данным приведённой выше таблицы реконструируются «первичная» форма (с актуально-презентным маркером) **-si*, «вторичная» **-s*. В формах аффиксов среднего залога заметна контаминация **-s* с личным показателем **-H-*, который, как мы указывали выше, был переосмыслен как показатель перфектно-медиальных форм. На основании анатолийских, италийских и тохарских форм есть возможность реконструировать индоевропейский контаминированный аффикс 2 л. ед.ч. перфекта **-s-tH₂e*, где элемент **-t-* унаследован из перфектной парадигмы, а **-s-* проник по аналогии из активной серии окончаний.

Схожая схема унификации аффиксов, возможно, заметна в греческом, где окончания среднего залога 2 л. дв.ч. -σθον, мн.ч. -σθε могут содержать **-s-* из сингулярных форм. Нужно отметить, что это единственные гипотетические следы индоевропейского **-s-* в не-единственном числе.

В системе личных местоимений единственного числа форм, родственных глагольному **-s*, не встречается, попытки некоторых исследователей найти его в греческом συ 'ты' не могут быть приняты из-за общеизвестного системного перехода и.-е. **-s-* > греч. *h-*.

Во множественном числе личных местоимений мы можем видеть некое **-s-* в формах, происходящих, по-видимому, из

индоевропейских диалектных форм **s-mes* и **s-wes*, а именно в хетт. *šummeš*, др.-ирл. *sí*, *sissi* ‘вы’, а также притяжательного *úaib* ‘ваш’, гот. *izwis* (вин.п.) ‘вас’, *izwara* ‘ваш’ (Гамкрелидзе – Иванов 1984: 254; Рокорну 1959: 514). В.Блажек реконструирует древнейшую основу как **su*, дополняя анализ фактами индоиранских императивных окончаний 2 ед. др.-инд. *-sva*, авест. *-hva* и сопоставляя с этим формы возвратного местоимения и.-е. **swe* (Blažek 1995: 9-10), что, по-видимому, неправомерно. Ещё одна точка зрения на происхождение **s-wes* предполагает контаминацию с местоимением 2 л. мн.ч. на **w-*, о котором речь пойдёт ниже (Иванов 1981).

Следы **s-* в индоевропейской системе личных местоимений представляются, в любом случае, достойными анализа, хотя на сегодняшний день при опоре на собственно индоевропейские данные восстанавливать местоимение на **s-* не представляется возможным.

Асимметрию между **t-* в системе местоимений и **s-* в глаголе пытались объяснить гипотезой о фонетическом переходе **s < *t*, имевшем место в период индоевропейской языковой общности или даже раньше, в ностратическом. Одна из гипотез такого рода выдвигается А.Эрхартом (Erhart 1989: 39). По его мнению, исконная флексия 2 л. ед.ч. **-t* мутировала на стыке с консонантным ауслаутом основы глагола, в результате чего возникла эпентеза **-s-*. Окончание *-σθa* известно из гомеровского греческого. Впоследствии, в результате создания оппозиции между маркерами 2 и 3 лица, определяющим во флексии **-st-* становится именно **s*.

Однако данная гипотеза является в корне ошибочной, хотя бы потому, что системного фонетического перехода такого рода в индоевропейских языках не обнаружено (Seebold

1971), и ни одного примера подтверждения подобной гипотезы со стороны фактического материала индоевропейских языков не находится. Необходимо признать наличие в индоевропейском языке двух независимых друг от друга показателей лица: **s-* в глаголе и **t-* в глаголе и местоимении. Это подтверждается и данными внешнего сравнения с языками ностратической макросемьи.

§ 20. Ностратический показатель 2 лица **si*

Ранее в ностратике превалировало мнение, аналогичное рассмотренному выше, о фонетическом переходе **t > *s* или об их общем происхождении из ностратической фонемы, которую В.М.Иллич-Свитыч реконструирует как **t̥* (1971: 6, 227), приводя лишь ещё один пример подобного чередования **s/*t*, а именно ностр. **gäti* ‘рука’ (1971: № 80).

А.Б.Долгопольский вслед за В.М.Иллич-Свитычем склоняется к этой гипотезе, называя **sV* «ассибилрированным вариантом» **tV* (ND 2312) и рассматривая эти два показателя лица в рамках единой праязыковой морфемы.

Однако основным препятствием для такого предположения является отсутствие системного фонетического чередования такого рода и невозможность обоснования единой прафонемы. Кроме того, из ностратических лишь один индоевропейский имеет дополнительное распределение между показателями **t-* и **s-* (как мы увидим позже, и это распределение лишь кажущееся). Другие языки макросемьи показывают стабильные рефлексии двух различных фонем, не нуждающихся в искусственном сведении их к одной.

По этой причине большинство современных исследователей считают **sV* независимой лексемой, имеющей нострати-

ческое происхождение. Среди сторонников такого подхода – С.А.Старостин, А.В.Дыбо и О.А.Мудрак (EDAL), А.Бомхард (2003: 441-442), В.Блажек (Blažek 1995), Дж.Гринберг (Greenberg 2000: 74-76) и другие ностратисты.

Проследим основные схождения с индоевропейскими данными в ностратических языках, свидетельствующие о наличии показателя 2 лица **sV* на уровне ностратической праязыковой общности.

В алтайских языках **si* реконструируется в качестве основного личного местоимения 2 л. ед.ч. В тунгусо-маньчжурских языках оно сохранилось в именительном падеже (тунг., маньч. *si*), а в большинстве тюркских языков его косвенная основа **sin-* / **sän-* распространилась по аналогии на форму номинатива, как и в 1 л. ед.ч. (EDAL 225, 1237). Подтверждением общетюркского **si* является чувашская форма *esě*, вновь с популярным в ностратических языках протетическим гласным в личных местоимениях.

Притяжательным и предикативным аффиксом 2 л. ед.ч. в тунгусо-маньчжурских языках является **-s(i)*, во множественном числе **-su(n)*, что является поздним новообразованием: простым добавлением личного местоимения к имени.

В тюркских языках для образования местоимения множественного числа используется стандартный аффикс **-r'*: тур. *siz* 'вы'. В тунгусо-маньчжурских языках в качестве местоимения 2 л. мн.ч. употребляется форма с удлинением гласного **sū* (негид. *sū*, тунг. *su*), косвенная основа **sun-*. Впрочем, маньчжурскую форму *sue* Г.Рамстедт возводит к **sur'*, сравнивая её с тюркской (Рамстедт 1957: 71). Это местоимение в маньчжурском становится составным элементом новообразованного инклюзива *muse* < **mu* + **sue*.

Родственным тюркским и тунгусо-маньчжурским формам является и древнеяпонское местоимение 2 л. ед.ч. *si* (Itabashi 1998: 130-135). К сожалению, оно довольно часто смешивается исследователями с омофоничным указательным местоимением *si*, служащим для обозначения 3 л. Однако это всего лишь совпадение, родственное индоевропейскому соотношению: ср. слав. **-si* 2 л. ед.ч. в глаголе и **si-* в качестве ближайшего дейктического местоимения.

Напротив, корейское *si-* в формах типа *si-nim*, на которое указывает Рамстедт (1957: 69), по-видимому, не имеет значения второго лица, так как с этим же формантом зафиксированы и формы третьего лица.

В глагольной системе алтайских языков показатель **si(n)* встречается только в новообразованиях. В тюркских языках личное местоимение **sin* становится агглютинативным глагольным маркером 2 л. ед.ч. первой серии спряжения, распространяясь на формы множественного числа с дополнительным плюралным аффиксом **-r'* (тур. *-siniz*).

Общеалтайская форма, таким образом, может быть реконструирована в виде **si* (форма прямого падежа личного местоимения 2 л. ед.ч.), **sVn-* (форма косвенного падежа). Во множественном числе использовалась та же лексема с изменением огласовки или добавлением плюралного аффикса, при этом единой праалтайской формы 2 л. мн.ч. не восстанавливается.

В картвельских языках местоимение 2 л. ед.ч. **si* (Fähnrich – Sardshweladze 1995: 300) функционирует в лазском, мегрельском и сванском языках, при этом в лазском одна из его диалектных форм звучит как *sin*. По мнению Г.А.Климова, исходной пракартвельской формой является **sen* (Klimov 1998: 164), но огласовка этой реконструкции, установленной

ещё А.Чикобавой, не совсем понятна: логичнее на основе лазской диалектной формы было бы постулировать **sin*, происходящее из древней косвенной основы, что полностью соответствует формам других ностратических языков. Грузинское притяжательное местоимение *šen* происходит скорее из посессива **č-sen* (ND 2312) с добавлением притяжательного префикса.

В грузинском глаголе префикс *s-* маркирует 2 л. ед.ч. субъекта переходных глаголов, синтаксически соответствуя значению **-s* в индоевропейских языках. В других языках картвельской семьи он, возможно, был вытеснен показателем *x-*, пришедшим по аналогии из форм первого лица. Однако столь же реален и аналогический переход груз. *s-* из системы местоимений: при сравнении двух различных форм картвельских языков более древней обычно считается архаичная сванская.

Единственным реликтом ностратического показателя на **s-* в дравидийских языках можно считать глагольный аффикс субъекта 2 л. ед.ч. в языке брауи *-s*, происхождение которого неясно. Его вряд ли можно принять за позднее индоевропейское заимствование, как это делает Ж.Блок (Bloch 1954: 53), так как типологически единичное заимствование материальной формы личного аффикса 2 л. – нехарактерное явление в языках мира. Предположить же фонетическое развитие брауи *us* ‘ты еси’ < **уи*, как делает М.С.Андронов (1978: 352), представляется недоказуемым из-за общей непроработанности данных брауи. Тем не менее, предположение о ностратическом или даже прадравидийском происхождении данного форманта (McAlpin 1981: 120) может на данном этапе считаться лишь гипотетическим.

Дж.Гринберг (Greenberg 2000: 75-76) указывает на ряд данных чукотско-камчатских и эскимосско-алеутских языков, соответствующих **s* ностратических языков, в том числе камчадал. *-s* как аффикс 2 л. мн.ч. глагола, вост-камчадал. местоимение 2 л. мн.ч. *size*, юж-камчадал. местоимение 2 л. ед.ч. *si*, эскимосский аффикс 2 л. мн.ч. глагола и посессива при имени *-si*.

Рефлексы, сводимые к единому показателю ностратического праязыка, отражены в следующей таблице:

Таблица 4.2.

	местоимения	аффиксы глагола
индоевропейские		2 ед. актива <i>*-s(i)</i>
алтайские	им.п. 2 ед. <i>*si</i> , 2 мн. маньч. <i>*su</i> , тюрк. <i>*sir'</i> косв.п. <i>*sin-</i> / <i>*sän-</i>	
картвельские	<i>*si(n)</i>	груз. 2 ед. транзитива <i>s-</i>
дравидийские		брауи 2 ед. <i>-s</i>
чукотско-камчатские	камчадал. 2 ед. <i>si</i>	камчадал. 2 мн. <i>-s</i>

Имеются все основания установить происхождение указанных рефлексов из ностратического личного показателя 2 л. **si* в форме прямого падежа, **sIn-* в косвенной форме.

Как и большинство показателей первого лица, рассмотренных выше, на ностратическом уровне показатель **si*, по видимому, не различал категории числа. В алтайских и, возможно, картвельских, а также в эскимосско-алеутских и чукотско-камчатских языках он употребляется как в единственном, так и во множественном числе. Плюралис, как правило, строится с помощью добавления стандартных маркеров

множественности (аффиксация и изменение огласовки), что можно назвать двумя универсальными способами для системы местоимений ностратических языков.

Можно отметить черты, позволяющие предположить транзитивное значение ностратического **si*, проявляющееся прежде всего в индоевропейском и старогрузинском, где с его помощью формируются формы транзитивного глагольного спряжения.

Вместе с тем обращает на себя внимание, что поздние процессы фонетического смешивания двух зубных согласных фонем в отдельных ностратических языках (в частности, алтайских), а также морфологического выравнивания, свойственного местоименным парадигмам, в ряде языков вытесняют **sV* из системы личных показателей. Именно этим, по-видимому, должно объясняться отсутствие **si* в уральских языках.

§ 21. Индоевропейский показатель 2 лица **t(u)e-*

Показатель **tu*, **t(u)e* восстанавливается как основное личное местоимение 2 л. ед.ч. в индоевропейском языке. Обычно считается, что его номинативной основой была форма **tū* или **tuH*, которая в косвенных падежах могла функционировать в одном из двух видов: **te* или **tue* (Beekes 1995: 209; Семереньи 1980: 228-231; Pokorny 1959: 1097). Приведём сводную таблицу местоимений 2 л. ед.ч. в различных языках семьи.

Таблица 4.3.

	им.п.	род.п.	дат.п.	вин.п.
греч.	σῦ, эол. τῦ	σοῦ	σοι	σε
др.-инд.	<i>tvam</i>	<i>tava, te</i>	<i>tubhyam, te</i>	<i>tvām, tvā</i>
авест.	<i>tvām, tū</i>	<i>tava</i>	<i>taibyā</i>	<i>θvaṃ</i>
анат.	лув. <i>ti</i>	хетт. <i>tuel</i>	лув. <i>tu</i>	хетт. <i>tuk</i>
тох. В	<i>tuwe</i>	<i>ci</i>		<i>tāñ</i>
лат.	<i>tū</i>	<i>tuī</i>	<i>tibī</i>	<i>tē</i>
др.-ирл.	<i>tū</i>		<i>-t-</i>	
гот.	<i>þu</i>	<i>þeina</i>	<i>þus</i>	<i>þuk</i>
ст-слав.	<i>ty < *tū</i>	<i>tebe</i>	<i>tebě, ti</i>	<i>tebe, te</i>
лит.	<i>tu</i>	<i>tavęs</i>	<i>tau, др.-прус. tebei</i>	<i>tave, др.-прус. ten</i>
арм.	<i>du</i>			
алб.	<i>ti</i>	<i>ty</i>	<i>ty, të</i>	<i>ty, të</i>

Анатолийские и албанский языки – единственные, где в номинативе засвидетельствован другой гласный, по остальным диалектам форма **tū* кажется абсолютно надёжной.

Хорошо видно, однако, что общие праформы косвенных падежей восстановить значительно сложнее. Нередко падежные окончания явно заимствованы из системы именного склонения (лат. род.п. *tuī*, греч. род.п. *σοῦ*, дат.п. *σοι*, слав. дат.п. *tebě*, хетт. род.п. *tuel*). Одним из таких примеров, вероятно, является и использование окончания с наращением **-bh-* во флексии дат.п. (др.-инд. *tubhyam*, авест. *taibyā*, лат. *tibī*, слав. *tebe*, др.-прус. *tebei*). Можно заметить, тем не менее, что и здесь мы наблюдаем две различных праформы **tu-*

bh- и **te-bh-*. Весьма часто можно наблюдать и унификацию звучания с соответствующей формой местоимения 1 л. (др.-инд. им.п. *tvam* – 1 л. *aham*, гот. *þeina* – 1 л. *meina*, лит. вин.п. *tave* – 1 л. *mane*). Пожалуй, единственной надёжной праформой можно считать **t(u)e* для выражения функции прямого объекта.

Интересно, что, в отличие от парадигмы местоимений первого лица, во втором лице единственного числа мы не видим характерного индоевропейского супплетивизма лексем: номинатив и косвенные падежи образуются от единой формы. Ещё одним характерным отличием является отсутствие косвенно-притяжательной формы на **-n-* типа 1 л. ед.ч. **mene* – эту форму мы видим лишь в германских языках, где она явно аналогического происхождения.

В системе глагольного спряжения индоевропейских языков **-t-* маркирует 2 л. ед.ч. второй, стативно-перфективной серии глаголов, где фиксируется окончание **-tHa* < **-tH₂e*.

Таблица 4.4.

язык	флексия перфекта
др.-инд.	<i>-thās</i>
авест.	<i>-θa</i>
хетт.	<i>-ta</i>
тох. В	<i>-ās-tā</i> , имперф. <i>-ta</i>
лат.	<i>-is-tī</i>
др.-ирл.	имперф. <i>-tha</i> , <i>-ta</i>
гот.	<i>-t</i>

Окончание **-tHa* является составным из ларингального элемента (обобщённого на вторую серию глагольного спряжения из первого лица, см. выше § 12) и показателя **-t-*, коррелирующего с личным местоимением. В инфективных фор-

мах спряжения этот показатель на индоевропейском уровне не восстанавливается.

Другим отражением **t-* в индоевропейской глагольной системе является стандартное окончание 2 л. мн.ч. **-te* (реконструируемое также как **tHe* на основании придыхательного в древнеиндийском и ряда древнегреческих данных, ср. [Бурлак – Старостин 2005: 200, 233]) и его аналог в двойственном числе **-ta* (**-tH₁a*) (Beekes 1995: 232-234):

Таблица 4.5.

	флексия 2 л. мн.ч.	флексия 2 л. дв.ч.
греч.	действ. залог -τε	действ. залог -των ср. залог -σθων
др.-инд.	действ. залог -t(h)a	-thas, -tam, -the
авест.	действ. залог -ta, -θa	
хетт.	действ. залог -ten(i)	
тох. В	действ. залог -cer ср. залог -tär	
лат.	действ. залог -tis, -te	
др.-ирл.	-t(h)e	
гот.	-iþ	
ст-слав.	-te	-ta
лит.	-te	-ta
алб.	аор., имперф. -t	

Исходной праформой здесь является **-te* или **-tHe*, несущее значение 2 л. мн.ч. действительного залога. Другие варианты можно считать усложнением с помощью ряда аффиксальных элементов. К примеру, латинское окончание *-tis*, также как и древнеиндийское *-thaḥ*, как видно, получили приращение с плюральным значением по аналогии с формой первого лица **-mes*.

Единственным языком, где **-tV* существует в качестве универсального личного показателя 2 л. ед.ч. глагола, является тохарский, где, однако, **-tV* в глаголе может представлять собой постпозитивное личное местоимение, маркирующее формы 2 л., где древние ауслатные личные показатели ранее отпали в силу фонетических закономерностей (С.А. Бурлак, устное сообщение).

Интересно, что в глагольной системе не найдено следов гласного **-и-*, восстанавливаемого для местоименных форм. Очевидно, этот элемент является своего рода наращением, так как формы с его отсутствием в местоимениях также являются регулярными. Разницу между ними традиционно принято объяснять как противопоставление ударных и безударных клитик (Cowgill 1965: 169-170).

Обобщая рефлексы данного личного показателя, можно вывести следующую таблицу:

Таблица 4.6.

местоимение 2 л. ед.ч.	<i>*tu</i> , косв. форма <i>*t̥e</i> , <i>*te</i>
окончание 2 л. ед.ч. перфекта	<i>*-t-H₂e</i>
окончание 2 л. мн.ч. актива	<i>*-te</i> / <i>*-tHe</i>
окончание 2 л. дв.ч. актива	<i>*-ta</i> , <i>*-tHa</i>

Показатель 2 л. **t-*, таким образом, кажется индифферентным к категории числа: он обнаруживается во всех трёх числах, хотя это распределение и неравномерное: местоимения обобщили его в ед.ч., в то время как глагольные формы – в ед.ч. в перфекте и в не-единственном – в активе. Глагольное распределение может носить дополнительный характер: оно могло быть создано в языке с целью различения форм перфекта и актива, двух основных серий глагольных аффиксов.

§ 22. Ностратический показатель 2 лица **tV*

В уральских языках этот показатель является основным личным местоимением второго лица обоих чисел (Rédei 1988: 539-540; Хайду 1985: 225; ND 2312). Здесь вновь, как и при анализе местоимения 1 л. на **m-*, существует дискуссия относительно огласовки форм единственного и множественного числа. Например, огласовка сингулярной формы, как справедливо замечает К.Редеи, на прауральском уровне не восстанавливается из-за разброса рефлексов: если в финском, саамском и марийском мы фиксируем **i*, то в коми и венгерском это скорее **e*, а в пермском и вовсе **o*. Вполне возможно, что прауральский, развивший наряду с некоторыми другими ностратическими диалектами морфонологические чередования гласных, допускал два варианта местоимения – с палатальным и велярным гласными, а общая праформа может быть восстановлена лишь в виде **tV* (Rédei 1988: 539). Примерно тот же разброс вариаций вокализма мы видим в плюральных формах – что заставляет нас постулировать праформу **tV* для обоих чисел, хотя, по-видимому, огласовкой они всё же различались уже в праязыке.

Отличие формы множественного числа достигается также факультативным добавлением плюральных аффиксов (напр., **-k* в фин. **te* < **te-k*, лив. **teg*, парадигматически тождественного венг. *mek* ‘мы’; **-n* в морд. *tiń*).

Позже, при окончательном оформлении падежной парадигмы личных местоимений, косвенная форма ед.ч. **tinV*, созданная при помощи ностратического показателя косвенности **nV* по аналогии с формой первого лица **minV*, была в ряде уральских языков обобщена для единственного числа, в т.ч. в прямом падеже. Так появились формы номинатива типа

фин. *sinä* < **tinV*, морд. *ton*, камасин. *tan* ‘ты’, изначально бывшие по происхождению косвенными.

Так как форм местоимений с показателем **sV* в уральских языках не обнаруживается, можно предположить согласно фонетическим законам развития прауральского, что по фонетическим причинам слились воедино рефлексы ностратических показателей **tV* и **sV* (Collinder 1965: 144).

С уральскими данными перекликаются и юкагирские личные местоимения 2 л. ед.ч. *tet* и мн.ч. *tit*.

Уральским личным местоимениям в глагольной системе соответствует усечённый личный аффикс 2 л. ед.ч. **-t*, он же выступает в качестве посессивного маркера 2 лица при имени практически во всех языках уральской семьи. Во множественном числе к данному показателю во многих случаях присоединяется показатель плюральности **-k*, реконструируемый для уральского праязыка как местоименный. Впрочем, употребляются связанные показатели и без дополнительных аффиксов плюральности, как, например, хант. 2 л. мн.ч. (диал.) *-ta*, *-ti* (Rédei 1988: 540). Эти факты говорят о том, что формирование суффиксального глагольного спряжения происходило по принципу присоединения прямых форм личных местоимений к глагольной основе (ср. личное спряжение в алтайских языках).

Среди алтайских языков монгольские сохранили местоимение 2 л. ед.ч. *či*, восходящее к более раннему **ti*. Косвенная основа *čin-* также возводится к праязыковому уровню: налицо полная материальная и функциональная аналогия уральскому соотношению **tV* – **tinV*. Во множественном числе ассимиляции древнего **t* перед заднеязычным гласным не происходит, и мы видим местоимение 2 л. мн.ч. с иной огласовкой *ta*, с косвенной основой *tan-* (EDAL 1424). Мож-

но сказать, что монгольская парадигма данного местоимения практически полностью повторяет уральскую.

В исторический период от указанных личных местоимений в монгольских языках начинают формироваться личные предикативные и посессивные аффиксы. Так, в бурятском языке посессивными аффиксами являются *-и* для 2 л. ед.ч. и *-т-най* для 2 л. мн.ч., напрямую производные от соответствующих личных местоимений бурят. *ши, таа* < **či*, **ta*. В качестве аффиксов формирующегося глагольного спряжения можно назвать бурят. 2 л. ед.ч. императива-оптатива *-ыш*, 2 л. мн.ч. *-ыт* (Дарбеева 1997: 47-48).

Как и в уральских языках, ностратическое личное местоимение **sV* в монгольских языках не зафиксировано. Авторы «Этимологического словаря алтайских языков» в связи с этим предполагают, что прамонг. **ti* было косвенной основой личного местоимения, заместившей в монгольском исходную прямую основу (EDAL 1424). Впрочем, эта гипотеза не находит подтверждений: признаков косвенности в монгольских языках **ti* не обнаруживает.

Монгольские местоимения восходят к алтайскому праязыковому состоянию: об этом свидетельствуют уже упоминавшиеся инклюзивные формы местоимений в тунгусо-маньчжурских языках *bi-ti*, *mi-ti*, *mün-ti* (Rédei 1988: 294). Безусловно, это один из наиболее распространённых в языках мира механизм образования инклюзивных форм. В филиппинском языке илокано инклюзивное местоимение *tayo* представляет собой простое сложение *ta* 'мы двое' и *yo* 'вы', что находит параллели (не генетического, а типологического свойства) в других австронезийских языках (Cysouw 2003: 90). Уместно упомянуть и инклюзивную форму *yu-mi* местоимения новогвинейского пиджина ток-писин (из англ. *you-me*). Этот механизм находит аналогию в монгольском 1 л.

мн.ч. инклюзива *bide, bida* < **bi* 'я' + **ta* 'вы' (Рамстедт 1957: 71). Очевидно, таким образом, что на раннем этапе существования тунгусо-маньчжурского праязыка, когда формировался инклюзив, формой номинатива личного местоимения 2 л. ед.ч. являлось **ti*, которое, по-видимому, было позже вытеснено личным показателем **si*.

Противники алтайской теории обычно объясняют поразительные сходства местоименных систем в алтайских языках «звуковым символизмом» (Doerfer 1985: 2) или процессами заимствования (Клосон 1969: 38). При этом сторонники последнего объяснения предполагают путь заимствования сначала из тюркского в монгольский, а затем из монгольского в тунгусо-маньчжурский праязык. Однако именно местоимения второго лица дают понять, что это не так: ведь в этом случае невозможно объяснить, каким образом тюркские и тунгусо-маньчжурские языки используют личное местоимение **si*, в то время как монгольские демонстрируют **ti* (Greenberg 1997).

Для прадравидийского языка В.Блажек восстанавливает энклитическое аппеллативное приглагольное местоимение 2 л. ед.ч. **-ti* (Blažek 1995: 11), 2 л. мн.ч. **-t-um*. Д.Мак-Алпин сопоставляет его с эламским **-tə* (McAlpin 1981: 120). В дравидийских языках этот элемент, не имеющий параллелей в системе местоимений, разработан пока довольно слабо и остаётся сомнительным для праязыковой реконструкции, хотя его приводит и В.М.Иллич-Свитыч (1971: 6). Однако интересно, что в той же парадигме функционирует форма 1 л. ед.ч. **-ku*, ностратическую праформу которого **qV* мы выше определили как ностратическое стативно-интранзитивное местоимение.

Что же касается эламского языка, то для него *-t* является стандартным аффиксом 2 л. ед.ч. «предикативных слов», т.е.

глагола и именного сказуемого (Дьяконов 1967: 101-102). Тем не менее, несмотря на существование эламо-дравидийской гипотезы, вопрос определения генетического статуса эламского языка пока остаётся открытым, и на его материал нельзя опираться при реконструкции ностратических форм.

В афразийских языках **tV* прослеживается как в независимых, так и в аффиксальных формах местоимений и глаголов. В семитских языках эта основа является одним из двух компонентов местоимения 2 л. ед.ч.: аккад. м.р. *attā*, ж.р. *attī*, геэз *'an-ta*, ж.р. *'an-tī*. Схожие личные местоимения с основой *n-t-* функционируют в позднем древнеегипетском языке. Префиксальное **'an-* как уже говорилось выше, скорее всего является корнем глагольной связки, хотя существуют и другие мнения (Moscati 1964).

В семитских, берберских и кушитских языках личный показатель **tV* играет роль аффикса 2 л. обоих чисел, функционируя как в префиксальной, так и в суффиксальной позициях: угаритский перфект *-t*, имперфект *t-*; ташельхит (бербер.) показатель 2 л. *t- ... -t*; бедауйе (кушит.) префикс 2 л. личного спряжения глагола *-te* (Lipiński 1997: 360-371). Практически во всех кушитских языках показатель **t* употребляется в обоих числах: К.Эрет реконструирует южно-кушитские прформы 2 л. ед.ч. **-ito*, мн.ч. **-ite* (Ehret 1980: 65).

Рефлексы **tV* в афразийских языках довольно разнообразны и пока ещё недостаточно систематизированы. Стоит провести отдельную их классификацию по морфологическому принципу (ND 2312):

Таблица 4.7.

праформа	значение	языки
<i>*tV-</i>	префикс 2 л. обоих чисел глагола	семитские, берберские, кушитские
<i>*-t(i)</i>	суффикс перфекта 2 л. обоих чисел глагола	семитские, кушитские
<i>*-ti</i>	маркер лица в составе личного местоимения 2 л. ед.ч.	семитские, древнеегипетский, кушитские, омотские?
<i>*ti</i>	маркер 2 л. в предикативных формах имени	семитские, берберские, древнеегипетский

Указанные данные вполне позволяют нам реконструировать праафразийский показатель 2 л. **tV* с предположительным стивно-перфективным значением. Важно для реконструкции также и то, что в афразийском **tV* не имеет закреплённой позиции в словоформе, что позволяет предположить его аналитическое, независимое положение в системе местоимений афразийского праязыка.

Ещё одной заманчивой ностратической параллелью можно назвать сравнение между индоевропейскими данными и чукотско-камчатскими формами личных местоимений. Выше (§ 11) уже указывалось на возможное родство между индоевропейским личным местоимением **eg'Nom* и чук.-камч. **γə-t* 'я'. Форма местоимения второго лица чукотского местоимения *γyt* < **γə-t* сближает данные чукотского и индоевропейского уже на уровне всей парадигмы. Это же местоимение употребляется в предикативной связанной форме - *iγət*. Впрочем, согласно устному сообщению О.А.Мудрака, в данном случае форма **γə-t* происходит из **əγne* и не является родственной ностратическому **tV* – последнее зафиксирова-

но лишь в форме независимого личного местоимения 2 л. мн.ч. **turi*, с аффиксом *-r-*, напоминающим алтайский плюралис (Мудрак 2000: 145-146).

В.Блажек упоминает алеутские формы композитных личных местоимений с исходом на *-t*, однако их морфологический разбор, по-видимому, нельзя считать зрелым (Blažek 1995: 13).

Наконец, можно отметить формы нивхского (амурский диалект) местоимения 2 л. ед.ч. *či*, мн.ч. *čij* (Gruzdeva 1998: 26). Подобная аналогия формам ностратических языков, наравне с другими данными морфологии, заставила Дж.Гринберга относить нивхский к ностратической макросемье («евразийской» в его терминологии) (Greenberg 2000: 72, 75).

Таблица 4.8.

языки	форма	значение
индоевропейские	<i>*tī, *(u)e</i>	личное местоимение 2 л. ед.ч. во всех падежах
	<i>*-t-H₂e</i>	аффикс 2 л. ед.ч. перфектной серии глагола
	<i>*-t(H)e</i>	аффикс 2 л. дв.-мн.ч. обеих серий глагола
уральские	<i>*tV</i> , косв. <i>*tV-nV-</i>	личное местоимение 2 л. ед.-мн.ч.
алтайские	<i>*ti</i> , косв. <i>*ti-n-</i>	личное местоимение 2 л. ед.ч.
	<i>*ta</i> , косв. <i>*ta-n-</i>	личное местоимение 2 л. мн.ч.
дравидийские	<i>*-ti</i> , мн.ч. <i>*-t-um</i>	личный аффикс 2 л. именного сказуемого
эламский	<i>-t</i>	аффикс 2 л. ед.-мн.ч. глагола и именного сказуемого

афразийские	<i>*tV</i>	аффикс 2 л. ед.-мн.ч. глагола и имени
чукотско-камчатские	<i>turi</i>	личное местоимение 2 л. мн.ч.
нивхский	<i>či</i> , мн.ч. <i>čiŋ</i>	личное местоимение 2 л.

Таким образом, на основании рассмотренных данных мы имеем возможность реконструировать ностратическое местоимение 2 л. **tV*. Его древнее синтаксическое значение кажется сильно затемнённым разбросом рефлексов и, в ряде языков, ранним смешением с другим показателем на зубной – **s-*. Индоевропейские, а также отчасти дравидийские и афразийские факты позволяют нам отнести **tV* к стативно-интранзитивным местоимениям. Данное значение сохраняется в индоевропейских языках в личном глагольном окончании второй (перфектно-медиальной) серии. Кроме того, показатель **tV* представлен прямой основой личного местоимения 2 л. ед.ч., которая позже могла по аналогии распространиться и на формы косвенных падежей, вытеснив транзитивный показатель **sV* из системы местоимений.

В дравидийских языках **tV* в своём значении сохраняется в виде глагольной энклитики апеллатива **-ti*. Кроме того, в родственных ностратическим афразийских языках **tV* функционирует в виде перфективного аффикса 2 лица, а в чукотско-камчатских языках (предположительно) – в качестве прямой основы личного местоимения 2 л.

В то же время легко заметить, что не существует оснований реконструировать для **tV* значение только единственного числа: этот показатель активно используется для выражения обоих чисел в системах местоимений и глагольных аффиксов ностратических языков, с изменением огласовки или

добавлением специальных маркеров плюральности. Это подтверждает гипотезу о том, что показатели лица в ностратическом языке изначально не различали числа.

Восстановление вокализма показателя **tV* значительно более проблематична: наиболее надёжная база существует для реконструкции **ti* по материалам алтайских, уральских, дравидийских и отчасти индоевропейских (анат. **ti* ‘ты’) языков. Однако процессы гармонизации гласных, вокалических чередований и морфологического выравнивания сильно затемнили первоначальную огласовку. Загадкой остаётся также происхождение индоевропейской огласовки **-u-* в личном местоимении **iī*. Сходных форм в других ностратических языках не обнаруживается, и элемент **-u-* кажется инновацией индоевропейского праязыка.

§ 23. Индоевропейский показатель 2 лица единственного числа **-eHi* (**-ei*)

Нормальное окончание тематических форм активного залога индоевропейского глагола **-es*, находимое в большинстве индоевропейских диалектов, соседствует с рядом любопытных примеров, на основании которых ряд исследователей реконструирует отдельное индоевропейское тематическое окончание 2 л. ед.ч. **-ei* или **-eHi*. Реконструкции данного личного окончания придерживались многие выдающиеся индоевропейцы, в частности, А.Мейе (1938: 242), Р.Бикс (Beekes 1995: 233), У.Шмальштиг (Schmalstieg 1980: 103), Вяч.Вс.Иванов (1981: 58-59).

Прежде всего речь идёт о греч. *-εις* (напр., *φέρεις* ‘несёшь’), где финальная *-ς*, по общему убеждению, носит вторичный характер. Ауслаутный согласный мог быть добавлен

по аналогии с другими окончаниями 2 л. ед.ч. в глагольной системе, а также для различения с окончанием 3 л. ед.ч. $-\epsilon i < *-eti$.

Другим примером флексии, возводимой к $*-eHi$, является др.-ирл. $-i-$, выводимое из кельтского аффиксального $*-i$ в *dobir* 'несёшь' $< *beri$.

Наконец, особенно любопытным является восточно-балтийское (литовское и латышское) окончание 2 л. ед.ч. $*-i$, восходящее, по-видимому, к $*-ei$, согласно реконструкции В.Н.Топорова (1961: 63). Реконструкция праязыкового $*-ei$ по балтийским данным наиболее показательна и реальна. К реконструкции $*-eHi$ привлекаются и близкородственные славянские данные, где окончания 2 л. ед.ч. $*-ši$ и $*-si$ могут представлять собой контаминацию нормального окончания $*-s$ и $*-ei$ (Beekes 1995: 233).

В то же время возведение всех этих форм на праязыковой уровень представляется сомнительным. Так, фонологически верным было бы предположить, что греческое окончание 2 л. $*-\epsilon i-$ происходит из $*-esi$ с закономерным выпадением свистящего, точно так же, как это произошло в форме $\epsilon i < *essi$ 'ты еси' (Савченко 1974: 272).

Древнеирландская форма также вполне надёжно возводится к $*-es > *-is$, согласно нормальным законам развития гойдельской фонологии (Thurneysen 1946: 49, 361). Наконец, литовская форма вполне может являться на самом деле балтийской диалектной инновацией.

Кроме того, данные внешнего сравнения не позволяют сравнивать гипотетическое индоевропейское окончание $*-ei$ с другими языками ностратической макросемьи.

Ф.Бадер было доказано, что элемент $*-i$ в окончании 2 л. ед.ч. $*-eHi$ является дейктическим и носит вторичный характер, появляясь в составе флексии под влиянием формы импе-

ратива (Bader 1976: 65-74) или же парадигмы первичных окончаний. Следовательно, если признать *-e- тематическим гласным звуком на индоевропейском уровне, мы приходим к выводу, что либо в окончании *-eHi мы на самом деле имеем дело с выпавшим ранее *-s-, либо речь идёт о нулевом окончании. Теоретически последнее может представляться логичным для системы стативных (инактивных) маркеров, которые в языках мира довольно часто маркированы нулевым показателем, схожим с именным показателем абсолютива. В таком случае единственным маркером в парадигме второй серии индоевропейских личных показателей глагола был *H в первом лице ед.ч.; позже он мог быть переосмыслен как формант второй серии. Наличие нулевого показателя или даже вовсе чистой основы в 3 л. второй серии представляется исследователям очевидным для индоевропейского праязыка, в т.ч. по материалам балтийских языков (Дини 2002; Иванов 1981: 58).

§ 24. Происхождение индоевропейских показателей 2 лица *i-, *wV

Для выражения значения второго лица множественного числа в индоевропейских языках используются два личных местоимения. Мы сознательно объединяем их в рамках единого анализа, так как на основании приведённого ниже материала можно предположить наличие между ними генетического родства.

Индоевропейские данные демонстрируют различное распределение *i- и *wV по диалектам индоевропейского праязыка.

В древнеиндийском и древнеиранском языках **ju-* выступает в качестве формы именительного падежа личных местоимений 2 л. двойственного числа др.-инд. *yuvam* и множественного числа др.-инд. *yūyam*, авест. *yūžəm*. В косвенных падежах тех же местоимений употребляется корень, возводимый к **we-* или **wo-*: др.-инд. *va-*, авест. *vā*.

Греческое эол. *υμε* ‘вы’, выводимое из **us-sme* (Pokorny 1959: 513-514) или **us-me* (Blažek 1995: 2; Иванов 1981: 22-23), сравнивается с формой аккузатива др.-инд. *yusman*. То же **us-*мы видим в готском *izwis*, чаще всего возводимом к **us-wes*, как и хетт. *šummeš*, происходящее из **us-wes* с фонетическим переходом **w > m* после *-u-* (Савченко 1974: 246), Форма **us*, конечно, является редуцированным **wes* (Beekes 1995: 209).

Армянские формы местоимений *duk* ‘вы’, род.п. *jer* возводятся к **ju-* (Blažek 1995: 1), при этом форма номинатива должна в этом случае возводиться к **jūs*. То же, по видимому, можно сказать об албанском *ju* ‘вы’.

В тохарских языках А *uas*, В *ues* являются основными местоимениями 2 л. мн.ч. А. ван Виндекенс делает попытку объяснить эти формы контаминацией прямой основы **ju-* и косвенной **wes* (Van Windekens 1976: 587-588), что неверно: нет никаких оснований реконструировать в тохарских формах морфему **wes*.

Латинский язык использует корень **wes/wos* в формах всех падежей личного местоимения 2 л. мн.ч. *vōs*, род.п. *vestrum*. Легко показать, что эта форма проникла в номинатив из косвенных падежей (форма *vōs* по происхождению – аккузатив) в результате выравнивания местоименной парадигмы и под несомненным влиянием формы 1 л. мн.ч. *nōs* (Тронский 2001: 197).

О кельтском **swes* и его возможном отношении к **s-* см. выше, но по аналогии с формами местоимения 1 л. мн.ч. **s-nes* существует гипотеза о его возведении к **wes* с неким препозитивным элементом, возможно, родственным показателю 2 л. **s-*.

Германские языки показывают распределение, аналогичное индоиранским: форма номинатива (гот. *jus*) восходит к **jūs*, в косвенных падежах (гот. вин.п. *izwis*) используется основа **eswes*. Последнюю форму иногда возводят к редуцированному **wes-wes* > **us-wes* (Семереньи 1980; Blažek 1995: 3-4).

В балтийских формы множественного числа как в именительном, так и в других падежах происходят из **jūs*: лит. и лтш. *jūs*, др.-прус. *ioūs* 'вы'. Форма двойственного числа лит. *ju-du* 'вы двое' является позднейшим новообразованием. В то же время в древнепрусском зафиксирована форма местоимения 2 л. мн.ч. вин.п. *wans* 'вас', перекликающаяся со славянскими местоимениями, что является, как уже указывалось выше, очередным подтверждением гипотезы о ранней диалектной общности между древнепрусским и славянским, выделившейся из балто-славянской группы диалектов.

Славянское местоимение 2 л. мн.ч. *vy*, род.п. *vas*, по мнению А.Мейе, могут восходить как к **vos*, так и к **us* (Мейе 1951: 365). Однако именительный падеж *vy*, скорее всего, генетически близок древнепрусскому *wans* так же, как *tu* перекликается с *tans* 'нас'. Эти славянские формы могут происходить из формы вин.п. множественного числа со стандартным именным окончанием **-ons*.

В итоге мы видим, что основные группы индоевропейских языков позволяют установить следующие праформы:

**jūs* в именительном падеже;

**us* в именительном падеже;

**wes/wos* в косвенных падежах.

При этом последние две из них представляют собой различные ступени аблаута: **wes* может содержать именное окончание род.п. *-*es*, которому в номинативе соответствует *-*s* – либо маркер именительного падежа, либо показатель плюралиса. Исконную лексему можно обозначить как **u-*/**ue-*.

В сравнительном языкознании уже много десятилетий сохраняется тенденция связывать местоимения **iū-* и **u-* общим генетическим происхождением. Действительно, довольно логично предположить, что *-*ū-* в основе номинатива генетически родственно **ue-* в косвенных падежах, и что **wes* является полной огласовкой формы *(*i*)-*us*, второй элемент которого виден и в греческом $\omega\mu\epsilon < *us-me$ и других родственных формах. Х.Педерсен и А.Вайян склонны видеть переход **iwes* > **iws* (Pedersen 1932: 264-268; Vaillant 1950-1966, II: 543).

Основной проблемой на пути к доказательству генетического родства двух основ остаётся происхождение анлаутного **i-*. Помимо фантастических теорией его появления здесь, необходимо вспомнить гипотезу о привлечении указательного местоимения **i-* (см. обзор в [Семереньи 1980: 233]).

Возможно также, что протетическое **i-* могло произойти из более широкого гласного **e-*, сравнимого с частым **e-* в других индоевропейских местоимениях (**e-g'Hom*, **e-me* и пр.). Сужение могло иметь место перед другим сонантом: **e-us* > **iws* > **iws*.

Гипотеза о фонетическом объединении двух сонантов (**w* > **i*), хоть и имеет широкие типологические параллели по-

добных фонетических переходов и ряд подтверждающих фактов среди индоевропейских языков, не может считаться удовлетворительным объяснением характера генетических связей между двумя основами хотя бы потому, что системного чередования такого рода на уровне индоевропейскому праязыка не существует. Процессы такого рода развились уже на почве отдельных индоевропейских диалектов: стоит назвать, к примеру, гипотезу о возведении албанского личного местоимения 2 л. ед.ч. *ju* к более раннему **wes* (Blažek 1995: 2).

Приходится констатировать, что материал индоевропейских языков не даёт нам возможности доказать общий генезис двух основ личного местоимения 2 л. мн.ч.

В глагольной системе индоевропейских языков нам не встречается рефлексов показателей **ju-* и **we-*, за исключением, возможно, формы 2 л. мн.ч. среднего залога, которую на основании древнеиндийского *-dhvam*, авестийского *-dvam*, греческого *-(σ)θε* реконструируют обычно в виде **-dhwe* (Семереньи 1980: 254-255; Beekes 1995: 252). Другими данными, подтверждающими эту реконструкцию, можно считать древнеирландское окончание депонентных глаголов *-id*, а также готское окончание 2 л. мн.ч. пассива *-anda*, для которого О.Семереньи предполагает цепочку трансформаций **-e-dhwe > *-edu > *-eda > *-ada > -anda* (Семереньи 1980: 257). Сюда же можно привлечь данные хеттского языка, где окончание 2 л. мн.ч. среднего залога *-dumat* может происходить из **-dhwe-t* с закономерным переходом **m > w* после *u*.

Происхождение этого окончания неясно. Очень вероятно, однако, что залоговым показателем здесь является **-dh-*, который мы видим также в форме 1 л. мн.ч. среднего залога **-medhH₂*. В этом случае финальный элемент **-we* вполне мо-

жет каким-то образом происходить из местоименной системы. Впрочем, вопрос этот пока следует оставить в качестве неразрешённого.

Данные внешнего сравнения позволяют пролить некоторое количество света на взаимоотношения и генезис основ индоевропейских личных местоимений 2 л. мн.ч.

Прежде всего, можно с уверенностью сказать, что корень **ju-* не находит надёжных параллелей в других семьях ностратических языков. Согласно принятой системе фонетических соответствий (Dolgopolsky 1998: 105) между ностратическими языками, индоевропейский среднеязычный сонант может происходить из ностратических **u* или **i* – ни та, ни другая фонема не найдена среди личных показателей других ностратических языков (кроме, пожалуй, дравидийских, где эти фонемы в анлауте являются новообразованиями). А.Б.Долгопольский предлагает гипотетическую возможность реконструкции ностратического маркера 2 л. **Hi ju* (ND 755a) на основании картвельского префикса 2 л. **x-* и индоевропейских данных. Однако следовало бы ожидать скорее анлаутного фонетического соответствия и.-е. **u* ~ картв. **u*.

С большей вероятностью можно постулировать неличное значение **i-*, которое легко находит родственные связи в языках ностратической макросемьи. Отметим в этой связи сванские притяжательные формы 2 л., которые Я.Г.Тестелец реконструирует как **i-Sk-u* ‘твой’, **i-Sk-wē-* ‘ваш’ при 1 л. **mi-Ķk-u* ‘мой’ (Тестелец 1995: 19). Здесь анлаутный элемент **i-*, сравнимый с индоевропейским, является энклитической частицей с демонстративным значением. Тем более что демонстратив на **i-* (по В.М.Иллич-Свитычу **i / i̯e*) присутствует во всех семьях ностратических языков, в т.ч. в картвель-

ских – в виде связанной частицы $(h)i-$, $(h)e-$ (Климов 1964: 77, 99).

Картвельский показатель субъектной версии $*i-$, легко выводимый из указательного местоимения, также может быть кандидатом на сравнение (Климов 1964: 100) с индоевропейской местоименной основой. Для индоевропейского праязыка, местоименная парадигма которого строилась на противопоставлении субъектной (номинативной) и косвенной форм, добавление субъектного маркера $*i-$ к основе 2 л. $*w$ могло служить отражением этого противопоставления.

В этом качестве $*i-$ можно было бы связать с данными дравидийских языков, для которых одним из объяснений местоименного анлаутного $*у-$ является его выведение из показателя агентива (McAlpin 1981: 112-114; Bomhard 2003: 438). В брауи видим местоимение 1 л. ед.ч. \bar{i} , возможно, происходящее из демонстратива (Андронов 1994: 265). Другие исследователи не объясняют происхождение $*у-$, считая его «неясным» (Старостин 2006; Krishnamurti 2003: 245 и след.).

По мнению Г.С.Старостина, разнообразие рефлексов в различных дравидийских языках позволяет реконструировать прямую основу местоимения 2 л. ед.ч. $*ну\bar{i}$, при этом начальный $*n-$, присутствующий в разных лицах, автор считает безличным показателем прямой основы. Таким образом, согласно Г.С.Старостину, чистой основой является $*у\bar{i}$, аналогичное индоевропейской основе¹⁷. Если $*у-$ в обоих языках действительно являлся демонстративным или агентивным маркером, возникает возможность сравнить индоевропей-

¹⁷ Хотя для этого Г.С.Старостину приходится постулировать «сдвиг» значения с 2 л. мн.ч. ностратического праязыка к единственному числу в прадравидийском.

ский показатель лица **we-* с дравидийскими формами 2 л. (Старостин 2006: 139, 145-146).

Таким образом, ряд данных внешнего сравнения подтверждают, что номинативная форма местоимения **īūs* в индоевропейском может происходить из **i-us*, сочетания анлаутного указательного элемента и личного местоимения **we-*.

Что касается этого последнего, то относительно него можно констатировать, как мы уже указывали выше в § 17, что местоимение **we-* второго лица мн.ч. генетически родственно аналогичному местоимению 1 л. дв.-мн.ч. **we-*. Тем самым подтверждается вывод о том, что эта основа первоначально восходит не к показателю лица, а к независимому числительному «два», ставшего показателем дуалиса после формирования этой категории как новообразования индоевропейской системы морфологии.

§ 25. Реконструкция ностратических показателей второго лица

Двумя показателями второго лица в индоевропейских языках, восходящими к ностратическому праязыку, являются **-s* и **tu*, ностратическими предками которых были, соответственно, **si* и **tV*. Их бинарное противопоставление имеет древнее происхождение и уходит корнями в ностратическое языковое состояние, так как рефлексы двух указанных показателей присутствуют в большинстве ностратических языков.

Представляется, что на основании сравнения рассмотренного материала с данными о местоимениях первого лица можно предположить аналогичное распределение и для второго лица: дихотомию интранзитивно-стативного показателя **tV* и транзитивного **si*.

Действительно, стативная природа $*tV$ отчётливо проявляется в индоевропейских перфектных окончаниях, восходящих к стативу, в дравидийских формантах именного сказуемого $*-ti$ и $*-tum$, а также в афразийских перфективных префиксах и эламских предикативных суффиксах. Производные от $*tV$ чаще выступают в функции независимого личного местоимения в прямом падеже. Во многих языках рефлексы показателей 1 л. субъекта интранзитива $*qV$ и 2 л. $*tV$ функционируют в составе одной парадигмы. К сожалению, ситуация в ностратических языках во многом затемнена процессами аналогического выравнивания и, возможно, поздним смешением зубных $*t$ и $*s$, их поздней взаимной ассимиляцией (но не на уровне ностратического!) – так, к примеру, в тюркских и тунгусо-маньчжурских языках сохраняется только $*si$, а в монгольских – только $*tV$, и лишь ранняя контаминация инклюзивной формы монг. *bida*, тунг. *biti*, где $*t$ оказывается в инлауте, позволяет реконструировать для алтайского праязыка оба показателя.

В то же время показатель $*si$ реже играет роль личного местоимения – можно назвать лишь те случаи, где эта косвенная основа в парадигме местоимений вытесняет прямую. В глагольной же системе $*sV$ появляется чаще, служа маркером субъекта транзитивных глаголов. При перестройке морфологической структуры и появлении противопоставления актива / перфекта, а далее к созданию временной системы настоящее / прошедшее время $*si$ логично становится показателем субъекта презентных форм глагола. Особенно чётко это проявилось в индоевропейских языках.

Местоимение $*si$ добавляет показатель косвенности $*nV$ для формирования косвенно-притяжательной формы. Форма $*sinV$ засвидетельствована в алтайских и картвельских язы-

ках, в то время как в уральских и монгольских она была вытеснена под действием выравнивания инновационной формой **tinV*.

Помимо проанализированных в данной главе показателей второго лица, исследователями ностратического языкознания восстанавливается ещё ряд праформ, которые необходимо перечислить здесь.

Так, А.Б.Долгопольский приводит реконструкцию личного местоимения 2 л. **kV ~ *gV* (ND 839) на основе афразийских местоимений и картвельского префикса 2 л. **g-*. А.Бомхард, возможно, более справедливо, относит эти и другие формы к ностратическому показателю императива **kV* (Bomhard 2003: 503-505), который – нельзя этого исключить – мог произойти из более раннего личного показателя. Но картвельский и афразийский материал не дают, конечно, оснований возводить его к ностратическому праязыку в качестве личного местоимения.

Личное местоимение 2 л. **ni*, приводимое А.Бомхардом (Bomhard 2003: 533), как мы показали выше, скорее всего родственно **nV* первого лица и представляет собой древний косвенно-притяжательный формант.

Суммируя вышесказанное, для ностратического праязыка можно восстановить два основных показателя второго лица, основным признаком различения которых был признак транзитивности / интранзитивности:

Таблица 4.9.

	статив/интранзитив	актив/транзитив
прямая форма	<i>*tV</i>	<i>*si</i>
косвенная форма	-	<i>*si-nV</i>

Другие показатели 2 лица, употребляющиеся в индоевропейских языках, имеют, по-видимому, позднее происхождение и являются собственно индоевропейскими инновациями.

Так, показатель **we/o-* во множественном и двойственном числах имеет абсолютную параллель в системе первого лица и, наиболее вероятно, происходит из числительного «два», морфологизированного в личное местоимение и позже распространившегося на формы множественного числа обоих лиц.

Показатель **i-* наименее понятен, находит немного убедительных параллелей в ностратических языках и может представлять собой демонстративный элемент, префигированный к местоимению **we-*.

Глава 5

Опыт реконструкции парадигмы показателей лица в ностратическом праязыке

§ 26. Исследования показателей лица в ностратическом языкознании

Сравнительно-исторические исследования личных местоимений в ностратических языках являются очень серьёзным инструментом для обоснования ностратической гипотезы в целом. Забавно отметить, что в различных трудах по критике дальнего родства – и не только ностратического, но и, например, алтайского – авторы (такие, как Дж.Клосон [Clauson 1972]) старательно обходят вопрос соотношения личных местоимений в различных языках Евразии. Любые лексические сходства можно при желании объявить заимствованиями, но как даже типологически объяснить заимствования целых парадигм (таких, как урал. **mi*, **min-*, **si*, **sin-* ~ алт. **bi*, **män-*, **si*, **sän-*), удовлетворительного ответа у противников ностратической теории пока не нашлось.

Но для того, чтобы личные показатели действительно легли в основу ещё одного надёжного доказательства генетического родства ностратических языков, необходима максимально аккуратная и выверенная реконструкция их парадигмы в праязыке.

Между тем опыты реконструкции системы ностратической морфологии в истории сравнительного языкознания, на которые сегодня может опираться дальнейший анализ, нельзя назвать многочисленными. На сегодняшний день нет общепринятого объяснения грамматической структуры пра-

языка, и исследование идёт в основном в направлении анализа отдельных личных показателей.

Можно назвать лишь несколько монографий, в которых делается попытка проанализировать морфологическую систему ностратического праязыка в целом, однако глубина и качество анализа в них не представляется удовлетворительными.

Речь идёт прежде всего о недавнем фундаментальном труде Аллена Бомхарда (Bomhard 2003), которому предшествовал ряд более ранних работ, в т.ч. совместно с А.Кернсом (Bomhard – Kerns 1994). При подготовке работы использован гигантский объём материала, привлечены сотни источников литературы. Ошибкой автора, однако, является прежде всего методология. Так, при нерешённости вопроса о составе ностратической макросемьи автор предпочёл слить воедино данные языков ностратического «ядра», генетическое родство которых не подлежит сомнению – индоевропейских, уральских, алтайских, дравидийских, картвельских – с языками, представляющими более удалённую степень родства (афразийские, чукотско-камчатские, эскимосско-алеутские), а также совсем уж сомнительными данными таких языков, как эламский, шумерский, этрусский, нивхский. В результате в качестве «ностратического праязыка» А.Бомхарда читатель получает продукт, замешанный из языковых данных различного синхронного уровня и наполненный неясной, малоизученной фактурой. Вполне естественно, что научная надёжность такого продукта вызывает справедливые сомнения.

Отдельной критике подвергается система фонологической реконструкции А.Бомхарда, проведённая недостаточно глубоко и потому вызывающая массу нареканий у сторонников строгого метода восстановления фонетических соответствий.

При анализе семантики сопоставляемых лексем возникает явное впечатление, что автор весьма произвольно «притягивает» друг к другу данные разных языковых семей исключительно для подтверждения своих фонетических предположений. Элегантная критика такого, совершенно недопустимого в изучении дальнего родства подхода содержится, к примеру, в (Хелимский 2000: 476-480).

В итоге исследование А.Бомхарда в области морфологии представляет интерес для изучения с точки зрения объёма собранных языковых фактов, но не практической значимости результата. Данные раздела «Морфология» (Bomhard 2003: 429-538) можно использовать, таким образом, в качестве строительного материала, но никак не готового изделия.

Другим масштабным произведением, в котором автор сделал попытку свести воедино данные морфологического анализа ностратических языков, является труд Дж.Гринберга (Greenberg 2000). Выше уже отмечалось, что Дж.Гринберг использует несколько отличный от традиционной ностратики набор языковых семей для реконструкции «евразийского» праязыка. В том числе и поэтому, к сожалению, методологические ошибки А.Бомхарда повторяются и в данном исследовании.

Кроме того, оба анализа – и это, пожалуй, является основным недостатком всех существующих трудов по ностратической морфологии – ограничиваются перечислением отдельных морфем, их реконструкцией и выделением набора синтаксических значений. При этом не делается попыток выстроить логичные, типологически оправданные парадигмы морфологических подсистем – в том числе и системы личных показателей.

Такой описательный подход вполне оправдан для словарных трудов, учитывая особенно тот факт, что ностратические лексемы от морфем на данном этапе исследований неотделимы. основополагающие работы В.М.Иллич-Свитыча (1971, 1976, 1984) и А.Б.Долгопольского (Dolgopolsky 1984, 2005) и особенно «Ностратический словарь» последнего (ND, в печати) также придерживаются описательного принципа и не дают обобщённого парадигматического анализа морфологии. Этот принцип, безусловно, логичен на первом этапе исследований, когда внимание уделяется реконструкции отдельных морфологических показателей. Однако за этой реконструкцией не следует восстановление парадигматической модели, а без неё реконструированные данные остаются лишь нагромождением маркеров, не связанных друг с другом логикой языка. Исследование такого рода, по нашему убеждению, должно включать в себя три стадии:

1) анализ материала максимально возможного количества языков-потомков, проверка реконструкции форм личных показателей «промежуточных» праязыков (напр., германского, индоевропейского) и реконструкция материальной формы и семантических значений праязыкового показателя;

2) построение полноценной и подтверждённой типологическими параллелями парадигмы на основании как реконструированных ранее отдельных показателей, так и сравнения засвидетельствованных комплексных парадигм в языках-потомках;

3) реконструкция путей развития и трансформации парадигмы в языках-потомках от праязыка к исторически засвидетельствованным формам, с привлечением данных диахронической типологии.

Недостатки, проистекающие из пренебрежения этой последовательностью анализа, хорошо заметны при взгляде на

существующие реконструкции показателей лица в ностратических языках. К примеру, А.Б.Долгопольский восстанавливает для праязыка (логично предположить, что имеется в виду некое синхронное состояние) три личных местоимения со значением «я», четыре со значением «мы» и четыре со значением «ты». Как соотносятся между собой четыре синонимичных «я» А.Бомхарда, не объясняется, хотя вряд ли автор готов с ходу назвать хоть один известный язык ностратической макросемьи, в котором синхронно существовала бы такая ситуация (при том, что в языках мира такое, безусловно, встречается, но во всех случаях имеет своё объяснение).

Безусловно, огромный разброс – как географический, так и хронологический – языковых данных даёт почву для такого рода предположений. Но что делать с набором отдельных показателей, реконструируемых на базе корпуса множества языковых данных разного хронологического уровня? Ответ на этот вопрос должен быть логически и, опять же, доказательно увязан в рамках единой системы. Должны быть найдены ответы на множество вопросов, включая противопоставление персональных маркеров по числу, категории инклюзивности / эксклюзивности, роду или классу, или степени вежливости, а также о наличии и соотношении в языке связанных и независимых показателей лица.

На сегодняшний день можно отметить несколько публикаций, где делаются попытки построить такого рода парадигматическую структуру. Прежде всего выделим уже упоминавшуюся небольшую статью Л.Палмайтиса (1972), содержащую гипотетические данные, далеко небезукоризненные с фонетической точки зрения, но сущностно очень прогрессивные – именно в этом исследовании, по-видимому, впервые делается предположение о двух сериях личных по-

казателей в ностратическом языке; исследование Вяч.Вс.Иванова (1981), где с опорой на данные внешнего сравнения автор даёт возможность реконструкции первоначальной системы личных местоимений в праиндоевропейском; наконец, качественный анализ в статье В.Блажека (Blažek 1995) – к сожалению, предельно сжатой и схематичной, а потому содержащей немало фактов, нуждающихся в подробном обосновании. В этой связи, следует указать, что целью настоящего раздела является суммировать языковые данные, изложенные в Главах 3 и 4, после чего реконструировать и обосновать парадигму показателей лица в ностратическом языке.

§ 27. Реконструкция парадигмы личных показателей ностратического языка

Изложенный в настоящем исследовании материал позволяет предположить, что основным критерием противопоставления личных показателей в ностратическом был признак транзитивности. В рамках парадигмы личные показатели делились на две серии, значением первой из которых являлось выражение субъекта переходного глагола (транзитив), а второй – как субъекта непереходного глагола действия (интранзитив), так и субъекта глагола состояния (т.е. статив).

Подобная система находит надёжные типологические параллели в языках мира. Так, в языке диегеньо (Diegueño) североамериканской семьи юман находим следующую парадигму личных префиксов субъекта (Langdon 1970: 139-140):

Таблица 5.1.

	интранзитив	транзитив
1 л.	<i>ʔ-</i>	<i>nʰ-</i>
2 л.	<i>m-</i>	<i>nʰm-</i>

Признак транзитивности как база дихотомии парадигм личных местоимений (или даже местоимений в рамках единой парадигмы) играет важную роль во многих языках Америки и Австралии. В последних по признаку транзитивности / интранзитивности распределены как независимые, так и связанные форманты лица (Heath 1991, 1998). Словоизменение транзитивных и интранзитивных (стативных) глаголов является основным различительным признаком спряжения в языках центральной Америки (Campbell 1979).

Подобное распределение в системах показателей лица характерно для языков эргативного строя и противопоставлением форм по признаку активности / инактивности, где доминирующим признаком является противопоставление не субъекта и объекта, а агентива и фактитива. Мы видим, к примеру, практически аналогичную ностратическому ситуации в дакота, языке с элементами активной типологии (пример из [ЛЭС: 272]):

Таблица 5.2.

	актив	инактив
1 л.	<i>wa-ti</i> 'живу'	<i>ma-ʔa</i> 'умираю'
2 л.	<i>ya-ti</i> 'живёшь'	<i>ni-ʔa</i> 'умираешь'
	<i>ni-wa-kaʃka</i> 'тебя я связываю'	<i>ma-ya-kaʃka</i> 'меня ты связываешь'

Впрочем, поиск типологических параллелей облегчён уже самими фактами ностратических языков: в индоевропейских и уральских языках мы находим две «серии» личных показателей для интранзитивных (в т.ч. стативных) и транзитивных глаголов, которые были подробно описаны выше.

Для ностратического праязыка реконструируется парадигма показателей 1-2 лиц в следующем виде:

Таблица 5.3.

		статив/интранзитив	актив/транзитив
1 лицо	прям.	$*qV$	$*mV$
	косв.	-	$(*mV) *nV$
2 лицо	прям.	$*tV$	$*si$
	косв.	-	$(*si) *nV$

В такой системе семантическое поле показателя статива / интранзитива включает в себя следующие сферы употребления:

1. Употребление в качестве личного показателя при глаголах состояния, т.е. непереходных (конструкции типа «я сплю»). Во многих ностратических языках происходит синтаксическая трансформация системы местоимений: противопоставление транзитив / интранзитив меняется на противопоставление актив / статив, актив / перфектив, актив / медий. Стативная функция остаётся крайне значимой в языках, где происходит оформление глагольного спряжения, и два типа ностратических личных показателей формируют две серии глагольного спряжения. Так происходит в индоевропейских языках, а также в алтайских и уральских языках. При этом стативный маркер становится связанным глагольным показателем статива-перфекта, позже из перфективного значения развивается значение предшествования и оформление прете-

рита (в индоевропейских, алтайских, афразийских языках). В языках, где развивается полиперсональное спряжение, стативный маркер принимает значение субъекта (картвельские языки) и противопоставляется маркеру прямого объекта.

2. Употребление в качестве абсолютивной формы личного местоимения (в конструкциях типа «Кто здесь вождь?» – «Я»). В этой функции личный показатель чаще всего приобретает эмфатический оттенок и впоследствии, при оформлении падежного склонения местоимений, занимает нишу номинативной (прямой) формы независимого личного местоимения. То же местоимение используется в качестве предикативного маркера при именном сказуемом в конструкциях типа «я отец». Такое грамматическое значение показатели **qV* и **tV* имеют в уральских, дравидийских, эламском, эскимосско-алеутских языках.

С другой стороны, транзитивный личный показатель несёт следующую функциональную нагрузку:

1. Использование в качестве показателя субъекта переходного глагола (т.е. глагола, подразумевающего наличие прямого объекта: «я бью кого-либо»). В этом значении транзитивные показатели становятся универсальными маркерами субъекта в глагольном спряжении форм настоящего времени в тех языках, где дихотомия «переходность – непереходность» сменяется дихотомией «настоящее – прошедшее». Именно так происходит в индоевропейских и ряде других ностратических языков (уральских, алтайских, дравидийских). В то же время в глагольных системах с маркированием нескольких актанта (а именно картвельских) транзитивный маркер логично берёт на себя обозначение объекта (типологические параллели такого перехода широко засвидетельствованы в языках мира [Corbett 2006: 99-100]).

2. Отсюда логично следует употребление транзитивного местоимения и независимо в функции прямого или косвенного объекта («меня бьёт», «мне даёт»). Представляется верным, что на этапе ностратического праязыка в его морфологии начинает формироваться падежная парадигма местоимений, и транзитивный маркер, изначально употреблявшийся в общекосвенной функции, начинает принимать падежные клитики типа посессивного **nV*. Транзитивный личный показатель в большинстве ветвей ностратического языкового древа трансформируется в основу для формирования косвенных падежей независимых личных местоимений, которая весьма часто затем вытесняет супплетивную ей форму номинатива, ставшую изолированной в рамках падежной парадигмы.

3. Приименное употребление в значении притяжательного местоимения («мой дом»). Общекосвенное употребление включало в себя и обозначение посессивности, и в этом качестве транзитивный показатель позже клитизируется к имени в качестве притяжательного маркера (в некоторых индоевропейских, а также в уральских, алтайских, эскимосско-алеутских языках).

§ 28. Происхождение ностратического показателя косвенности **nV*, развитие косвенных форм транзитивных местоимений

Отдельным вопросом является происхождение и синтаксическое значение показателя **nV*, функционирующего и в первом, и во втором лице во множестве ностратических языков.

В § 16 описаны рефлексы ностратического личного показателя **nV* в первом лице, для которого восстанавливается чёткое значение косвенности (притяжательности) и отсутствия противопоставления по числу.

Однако материал ностратических языков позволяет восстановить тот же показатель **nV* и для второго лица.

В алтайских языках **nV* выступает в виде независимого личного местоимения 2 л. ед.ч. в корейском *ne* и японском *na* (Itabashi 1998: 130-131), а также (с не вполне ясной веляризацией) в тюркском в виде личного аффикса 2 л. ед.ч. глагола **-ŋ*. Необходимо отметить, что и алтайский показатель 1 л. реконструируется в двух вариантах **nV* и **ŋV*. Авторы «Этимологического словаря алтайских языков» считают алтайскую форму местоимения 2 л. **na* изначально косвенной формой (EDAL 225, 959), с чем согласен и А.Б.Долгопольский (ND 839).

В уральских показатель **nV* демонстрируют прежде всего обско-угорские языки в формах личных местоимений 2 л. обоих чисел (хант. *naŋ* 'ты', *nin* 'вы', *manl-an* 'ты идёшь'). Объектный характер обско-угорского **n* виден в использовании его для выражения посессивности: хант. *ula-n* 'твой лук'. Ю.Янхунен справедливо сравнивает этот показатель с юкагирским предикативным окончанием 2 л. ед.ч. *-n* (Janhunen 1998: 471).

Дравидийские формы местоимений 2 л. ед.ч. **nī(n)*, мн.ч. **nīt* также демонстрируют параллелизм с формами 1 л. Д.Мак-Алпин сравнивает указанные формы с эламским личным местоимением 2 л. ед.ч. *ni / nu* (McAlpin 1981: 114-115).

Существуют все основания утверждать, что ностратическая лексема **nV* во втором лице, как и в первом, имеет неместоименное происхождение и является одним и тем же по-

казателем косвенности (притяжательности), не различавшим в праязыке категорий лица и числа.

В этой связи появляется возможность сопоставить местоимение $*nV$ с уже упоминавшимся в настоящей работе ностратическим показателем косвенного падежа $*-nV$. Этот формант, о котором говорилось выше при анализе индоевропейской косвенной основы местоимения $*mV-nV-$ и сравнимых с ней форм других ностратических языков, употребляется также с ностратическим местоимением 2 лица в форме $*sV-nV-$, везде функционируя в качестве показателя косвенной основы личных местоимений.

А.Б.Долгопольский рассматривает $*nV$ в качестве независимой лексемы ностратического праязыка. В качестве её рефлексов автор называет как связанные формы, так и независимые (Dolgopolsky 2005: 14):

Таблица 5.4.

языки	форма	значение
индоевропейские	$*-n-$	аффикс основы косвенных падежей «гетероклитических» имён
	лит. <i>тuo</i> , лтш. <i>no</i>	предлог со значением удаления
уральские	$*-n$	показатель род.п.
алтайские	монг. $*-ni$, $-n-$ тунг.-маньч. $*-n-$	показатель род.п.
	яп. <i>no</i>	показатель род.п.
дравидийские	$*-in-$	«инкремент» – аффикс основы косвенных падежей
афразийские	омот. $*-nV$	показатель род.п.
	бербер. $*n$	предлог со значением удаления

К этому ряду можно добавить ещё несколько интересных сравнений.

Так, различные оттенки пространственных значений **nV* зафиксированы в уральских языках. Здесь **nV* восстанавливается в качестве основы послелого пространственных падежей: нганасан. *na* 'к' (Костеркина и др. 2001), венг. (диал.) *ni*, *nyi* 'к', *-nöl* 'от' и другие (Rédei 300-301). П.Хайду восстанавливает на этом основании общеугорскую самостоятельную основу со значением «место вблизи, сторона» (Хайду 1985: 302), и это значение может быть воспроизведено на прауральском уровне, т.к. в прасамодийском также реконструируется основа **nä-*, производными от которой являются послелоговые основы пространственных падежей: дат. **näŋ*, мест. **näñä* 'у', отл. **näťä* 'от' (Janhunen 1977: 99).

Логичным предположением о происхождении данной основы в ностратических языках является восстановление ностратического праязыкового значения «сторона». Типологически лексема «сторона» вполне логично трансформируется в показатель косвенности / притяжательности, что действительно не только для местоимений, но и для имён существительных, в системе которых показатель **-nV* приобретает синтаксическое значение генитива.

В самодийских языках мы видим явление, которое, весьма возможно, проецируется на ностратический уровень: образование косвенных основ личных местоимений обоих лиц от пространственного послелого с присоединением притяжательных показателей лица и числа: нганасан. 1 л. ед.ч. им.п. *мәнә* 'я', латив *нанә*; 2 л. ед.ч. им.п. *тәнә*, латив *наптә* и пр. (Сорокина 2001: 335). Вторым существенным примером сохранения **nV* как личного показателя в косвенном значении являются монгольские данные. Форма **ната* реконструируется как прамонгольская косвенная основа личного место-

имения 1 л. ед.ч. и функционирует в одной парадигме с номинативной формой **bi*. Наконец, аналогом такого рода развития является ситуация в чукотском языке, где местоимению прямого падежа 2 л. *гы-т* соответствуют формы косвенных падежей от основы *гы-н-*.

Типологически именно такова могла быть функция показателя косвенности в ностратическом языке. При этом по понятным причинам показатель **nV* мог употребляться исключительно в парадигме транзитивных местоимений **mV* и **sV*, служа в качестве показателя косвенности (притяжательности). Таким образом, парадигма транзитивных местоимений изначально выглядела следующим образом:

Таблица 5.5.

	1 лицо	2 лицо
прямая форма	<i>mV</i>	<i>si</i>
косвенная форма	<i>(mV) nV</i>	<i>(si) nV</i>

Впоследствии при оформлении падежной парадигмы личных местоимений трансформация может проходить в различных направлениях:

1. Показатель **nV* присоединяется к собственно местоимениям **mV* / **si* для оформления их косвенных основ **mVnV-* / **sinV-* (в индоевропейских, алтайских, картвельских языках).

Таблица 5.6.

	1 лицо	2 лицо
прямая форма	<i>mV</i>	<i>si</i>
косвенная форма	<i>mVnV-</i>	<i>sinV-</i>

Позже в ряде языков косвенные основы в процессе парадигматического выравнивания вытесняют прямые, и показа-

тель $*nV$, став элементом основы местоимения, перестаёт восприниматься носителями языка как самостоятельная морфема. Интересным результатом этого иногда является вторичное добавление $*-n$ при создании формы генитива от основы $*mVn-$ – например, в финском *minin* ‘меня, мой’.

2. Показатель $*nV$ вытесняет прямую форму, выравнивая парадигму одного из двух лиц: либо первого (в латинском, албанском, японском и др. языках), либо второго лица (в афразийских, корейском, ряде финно-угорских и др. языках). При этом другое из этих двух лиц, естественно, сохраняет противопоставление или выравнивает его в другую сторону, с тем чтобы сохранить материальное различие форм лица.

Таблица 5.7.

	1 или 2 лицо
прямая форма	nV
косвенная форма	$nV-$

3. Показатель $*nV$ сохраняется в своей изначальной форме косвенных падежей при наличии основы $*mV$ в номинативе.

Таблица 5.8.

	1 лицо	2 лицо
прямая форма	mV	si
косвенная форма	$nV-$	$nV-$

Такая архаичная ситуация засвидетельствована в самодийских языках, а для 1 л. также в славянских, индоиранских, монгольских языках. В самодийских языках сохранилась уникальная ситуация, при которой $*nV-$ сохраняется и как основа пространственных послелогов, и как основа форм косвенных падежей личных местоимений 1 и 2 лица.

§ 29. Процессы трансформации парадигмы личных показателей в ностратических языках

Свидетельства языков – потомков ностратического демонстрируют различные пути трансформации и развития реконструируемой нами парадигмы показателей лица. Направления этой трансформации являются естественными языковыми процессами и находят параллели в диахронической типологии.

Одним из них является известный типологический процесс выравнивания личных местоимений в составе парадигм. Личные местоимения-«соседи» по парадигме нередко уподобляются друг другу как по горизонтали (формы прямого и косвенных падежей), где они чрезвычайно часто полностью уподобляются друг другу, так и по вертикали (первое и второе лицо), где они «рифмуются» друг с другом по вокализму, ударению, количеству слогов. Латинское соотношение *nōs – vōs* ‘мы – вы’, финское *minä – sinä* ‘я – ты’, турецкое *ben – sen* тж. представляют собой «вертикальное» рифмование в составе парадигмы, наиболее обычную ситуацию в языках мира, а формы типа венет. *eχo – teχo* ‘я – меня’ и гот. *ik – mik* тж. заставляют предположить, что падежное рифмование существовало уже на праязыковом уровне.

Эти процессы можно предположить и для ностратического праязыка и его потомков. В индоевропейском втором лице интранзитивное местоимение **tV* вытеснило транзитивный показатель **si*, сохранившийся лишь в глагольной системе; в первом же лице, напротив, в ряде индоевропейских языков происходит обратный процесс – вытеснение изолированного личного местоимения номинатива **eg’Ho(m)* косвенной формой **me-* – что произошло и во многих других языках

ностратической макросемьи. В этом конкретном случае роль, по-видимому, сыграла универсализация **te* как показателя первого лица.

Примеры взаимного уподобления форм разных лиц типа латинского *nōs – vōs* или чувашского *epĕ – esĕ* также свидетельствуют о том, что изменения систем личных местоимений (и – шире – показателей лица) представляют собой структурные перестройки парадигм, а не хаотические сдвиги отдельных форм и граммем. Необходимо поэтому при диахроническом анализе рассматривать не отдельные показатели лица – их реконструкция может являться лишь первым этапом исследования – но *системы* показателей в комплексе. Именно отсутствие системного, парадигматического подхода при описании ностратических местоимений являлось причиной неудач многих предыдущих исследований.

Во многих языках ностратические соотношения были нарушены в связи с коренной перестройкой морфологии, в ходе которой многие показатели могли выпасть из системы или испытать сдвиг значения в связи с модификацией синтаксического строя. Ностратический показатель интранзитива-статива первого лица **qV* в алтайских языках повсюду отмирает в связи с элиминированием старого перфекта, и лишь в тюркских языках его след рудиментарно сохраняется – вполне логично – в парадигме претерита (ср. параллель в эскимосско-алеутских языках, которые в последнее время принято сближать с алтайскими). Дальнейшее выравнивание парадигмы вполне может привести к исчезновению и его, как это и происходит в историческое время в ряде тюркских языков, выравнивающих две серии пратюркских личных аффиксов.

Фонетические процессы, обычные при грамматикализации, также существенно видоизменили первоначальное состояние показателей лица. Сильно затемнены многие фонетические процессы, в частности, приведшие в ряде языков к смешению близких по месту образования фонем **s* и **t* в анлауте в различных ностратических языках (напр., в уральских, алтайских), в то время как на ностратическом уровне этого смешения не отмечается. Как известно, фонетическое развитие в рамках грамматикализации всегда приводит к укорачиванию и звуковому выравниванию морфем (ссылка?), особенно связанных, и ностратические языки не являются исключением.

Важно также указать, что местоимения, хотя и принадлежат к числу наиболее стабильных единиц базовой лексики языка, не являются вечными и точно так же подвержены выпадению и замене, как и другие лексемы. Ошибкой многих исследователей ностратики (в т.ч. А.Бомхарда, Дж.Гринберга, отчасти А.Б.Долгопольского) является именно подход к местоимениям как к «извечной» категории – что не может не приводить к реконструкции десятка параллельных форм одного лица и числа с неясными синтаксическими различиями.

По нашему же мнению, члены парадигмы показателей лица, как и любой элемент морфологии, со временем начинают испытывать давление новых форм и формировать новые парадигмы. Это особенно касается связанных прилагольных форм показателей лица, произошедших из прежде независимых ностратических лексем. В процессе грамматикализации эти маркеры, прежде употреблявшиеся независимо, трансформируются в клитические, а затем и аффиксальные формы, в то время как на их месте могут возникнуть новые неза-

висимые местоимения. «Новые формы конкурируют с более старыми, потому что кажутся более выразительными, чем те, что имелись ранее. Эта конкуренция позволяет и даже способствует угасанию или потере более старых форм. Свидетельства письменного языка скорее подтверждают точку зрения о сосуществующих и конкурирующих друг с другом формах и конструкциях, нежели о циклах утери и обновления»¹⁸ (Hopper – Traugott 2003: 124).

Этим процессом объясняется принятие в домен показателей лица новых и новых лексем, которые мы видим в различных ностратических языках. Источниками новых местоимений являются независимые лексические единицы: как уже подробно описывалось выше в Главе 1, а также при анализе показателя **nV* (§ 16), это могут быть имена (индонез. *saya* ‘я’ < малай. *sahaya* ‘слуга’) (Cysouw 2003: 13), сочетания с именем (исп. *Usted* ‘Вы’ < *vuestra merced* ‘ваша милость’; поль. *pan* ‘господин’ > ‘Вы’), другие местоимения (тибет. *rang* ‘сам’ > ‘я’), а также числительные, к которым относится и индоевропейский личный показатель 1-2 л. дв.ч. и мн.ч. **we/o-*. В семантическую сферу личных местоимений могут добавляться (в т.ч. в качестве связанных морфем) демонстративные, анафорические и прочие частицы, которые со временем, безусловно, затемняют первоначальную картину праязыкового состояния. При их анализе очень важно отделять рудименты древнего состояния от инноваций, а не сводить все показатели к единому синхронному состоянию.

¹⁸ “...Innovated forms compete with older ones because they are felt to be more expressive than what was available before. This competition allows, even encourages, the recession of coexisting competing forms and constructions, rather than a cycle of loss and renewal”.

В качестве ещё одного процесса, трансформирующего систему показателей лица, можно назвать процесс контаминации морфем в системах личных местоимений и глагольных аффиксов. Это явление, классическим случаем которого является построение множественного числа с помощью плюральных маркеров (индоевропейское *-s), а двойственного числа с помощью добавления числительного «два», широко засвидетельствовано в ностратических языках. Существуют и более редкие случаи контаминации, напр. приводимый Г.Корбеттом пример новоиндийского языка майтхили:

tohar *bār* *aeth-un*
 твой отец пришёл.3.2
 ‘пришёл твой отец’

В этом предложении глагол содержит персональный аффикс, выражающий как второе лицо (адресата), так и третье (субъекта высказывания), причём разных стилей вежливости (Corbett 2006: 61). Разумеется, речь здесь идёт о поздней контаминации, а не об индоарийском архаизме.

Сочетания маркеров разных лиц – также один из примеров контаминации при образовании, например, инклюзива, ср. уже цитировавшиеся в данной работе монгольскую форму *bida* < **bi-ta* ‘я и вы’ и тунг. *biti*, *miti*, маньч. *muse* с инклюзивным значением.

§ 30. Плюральность показателей лица

Отдельным вопросом является проблема противопоставления ностратических показателей лица по числу. Рассмотренные нами рефлексy не позволяют постулировать изна-

чальный признак определённого числа ни для одного из реконструированных показателей лица. Все корневые лексемы, обозначавшие лицо, употреблялись и в единственном, и во множественном числе: если плюральность и обозначалась, то это происходило факультативно или на уровне отдельных диалектов. Ни супплетивизма показателей разных чисел, который мы видим в индоевропейских или картвельских языках, ни стандартизованных аффиксальных форм плюралиса, восстанавливаемых для индоевропейского праязыка, мы в ностратическом не видим.

Обычный метод образования множественного числа в ностратических языках – с помощью аффиксации. Так происходит в дравидийских, алтайских, частично индоевропейских языках. Тот же механизм – в палеоазиатских языках, как и в языках других народов Евразии. Типологически эта черта характерна для языков Северной и Восточной Азии, и везде, по-видимому, её более древним состоянием является клитизация прежде независимых лексем, грамматикализованных для обозначения множественности. Эта черта, возможно, развивается уже в ностратическом праязыке, но, тем не менее, материальное выражение плюральных частиц во всех языках разнится.

Во многих случаях плюральный маркер местоимений не соответствует именным формантам множественного числа, что для языков мира является нормальным: как писал Э.Бенвенист, «в подавляющем большинстве языков местоименное множественное число не совпадает с именным»¹⁹ (Benveniste 1966: 233). Тем не менее при оформлении парадигм влияние имён приводит к взаимным заимствованиям

¹⁹ «Dans la grande majorité des langues, le pluriel pronominal ne coïncide pas avec le pluriel nominal».

морфологических показателей – как из местоимений в имя, так и обратно, что хорошо видно на примере индоевропейских падежных парадигм. Не являются исключением и показатели множественности.

Супплетивизм основ, который вырабатывают картвельские и индоевропейские языки, находит параллели в кавказских языках. В абхазском языке личные местоимения имеют следующий вид:

Таблица 5.9.

	ед.ч.	мн.ч.
1 л.	<i>сара</i>	<i>ҳара</i>
2 л.	<i>уара, ж.р. бара</i>	<i>шгара</i>
3 л.	<i>иара, ж.р. лара</i>	<i>дара</i>

Типологическая параллель вполне может объясняться конвергентным влиянием между кавказскими и индоевропейскими языками, создавшим синтаксические схожести, отмечаемые многими исследователями (Kortlandt 2002).

В уральских языках обозначение плюральности осуществлялось с помощью различных вариантов огласовки того же корня.

То, что местоимения единственного и множественного числа для ностратического праязыка восстанавливаются в одном и том же материальном облике, вовсе не является типологически уникальным. Можно назвать немало языков мира, где наблюдается аналогичная парадигма: североамериканский язык марикопа (семья юма), древнеяванский (кави), новогвинейский язык салт-юи (Salt-Yui), а также классический древнекитайский язык. Существует и ряд более экзотических случаев такого типа – к примеру, в американском языке керес существует лишь два личных местоимения

hínun'é 'я' и *hišun*'é 'ты', других местоимений просто не существует (Siewierska 2004: 79; Cysouw 2003: 83-84, 116-117).

Среди современных ностратических языков подобные явления тоже не редкость. К примеру, в ряде монгольских языков, где личная флексия глагола находится в стадии формирования, часто парадигма личных аффиксов состоит из двух форм – первого и не-первого лица, без каких-либо различий по числу: баоан. *ju-dži* 'иду, идём', *ju-džo* 'идёшь, идёт, идёте, идут' (Тодаева 1997: 32).

Надо отметить, что неразличение числа в парадигме местоимений особенно характерно для языков изолирующего типа, где плюральность выражается лексическими средствами, что ставит перед нами ещё один важный вопрос – о степени аналитизма морфологии ностратического праязыка.

§ 31. Аналитический строй ностратической морфологии. Падежи в ностратическом праязыке

Приводимые в диссертации свидетельства аналитического характера ностратической морфологии доказывают независимый характер личных показателей в ностратическом праязыке.

Система глагольного спряжения, развитое состояние которой наблюдается во множестве более поздних языков различных семей, является инновацией, основы которой, тем не менее, были заложены ещё на ностратической почве.

Разбор модели ностратической грамматической структуры произведён А.Б.Долгопольским в его статье (Dolgopolsky 2005). В ней обозначены следующие типологические крите-

рии аналитизма праязыковой морфемы, основные из которых мы попробуем разобрать на примерах показателей лица:

1. Мобильность: в некоторых дочерних языках морфема предшествует лексической единице, в других – следует за ней. Здесь можно указать на префиксальный характер картвельских (и афразийских) личных показателей при суффиксальных маркерах аналогичного происхождения в других языках макросемьи. Недостаточная представительность «префиксальных» языков среди ностратических легко объяснима: в языках мира префиксальные системы вообще встречаются на порядок реже суффиксальных (Плунгян 2003: 89-90; Siewierska 2004: 164-165). Картвельские языки явно позаимствовали свою префиксальность из языков соседей по Большому Кавказскому хребту.

2. Морфема хранит следы первоначального аналитизма. Действительно, многие глагольные формы в ностратических языках сохраняют аномальное фонетическое развитие на стыках морфем, о чём свидетельствует и И.Хегедюш (Hegedűs 1997).

3. В отдельных языках морфема сохраняет своё первоначальное независимое состояние, в то время как в других является связанной. Это правило верно в огромном множестве ностратических языков, сохранивших независимое личное местоимение наряду с однокоренным связанным глагольным или именным показателем – напр., индоевропейский глагольный аффикс **-te* и уральское (как и картвельское) личное местоимение **te*. Стоит упомянуть в качестве примера и морфему **nV*, которая фигурирует в качестве притяжательного маркера как в связанных формах (напр., в индоевропейских языках), так и в независимом качестве (в яп. генитивной частице *no* и пр.).

4. Наконец, важно сохранение в ностратических языках порядка слов, отчётливо заметного в т.ч. в системе личных показателей. В частности, говоря словами А.Б.Долгопольского, местоименное подлежащее в большинстве языков следует за сказуемым, а местоименное определение (притяжательный аффикс) – за именем существительным. Такой порядок слов сохраняется в индоевропейских, уральских, алтайских, дравидийских, а также в некоторых афразийских (кушитских) языках. Он же, весьма вероятно, может быть реконструирован для пракартвельского состояния.

Таким образом, система показателей лица даёт ещё одно весомое подтверждение тезису о том, что ностратический праязык был языком изолирующего типа. Такие языки характерны для Юго-Восточной и Восточной части Евразии – сино-тибетские, австроазиатские, таи-кадайские языки, – в то время как западные регионы материка склоняются к агглютинативно-флективной структуре. Не может ли это давать новую почву рассуждениям о ностратической прародине?

Представляется очевидным, что в ностратическом праязыке уже начиналось формирование падежных отношений как в системе имён, так и в системе личных местоимений. Полезно дать короткий анализ того фактического материала, который подтверждает эту точку зрения.

Прежде всего, личные показатели, как представляется, дают важный фактический материал для ответа на вопрос о том, был ностратический праязык эргативным или номинативным, или содержал элементы активного строя. Об эргативном или активном прошлом индоевропейского праязыка в двадцатом веке рассуждали достаточно активно (Тронский 1967; Гамкрелидзе – Иванов 1984). Черта эргативности или

активности видна в противопоставлении транзитивных (т.е. активных) местоимений интранзитивным (т.е. стативным). Между тем из всех ностратических эргативные черты присутствуют, пожалуй, лишь в картвельских, да и то рудиментарно и явно под воздействием соседних языков Кавказа. Как известно, сравнение типологических характеристик двух языков не является надёжным источником постулирования генетического родства – эргативность, как и другие черты синтаксической структуры, вполне может возникнуть в языке под влиянием языковых контактов. Именно этим объясняется, в частности, то, что на карте языков мира легко идентифицируются целые «номинативные» и «эргативные» ареалы. Тем не менее отсутствие эргативных черт в большинстве языковых семей, причисляемых к ностратическим, может являться косвенным подтверждением того, что эргативности не было и в ностратическом.

Система личных показателей подтверждает эту точку зрения, даже несмотря на то, что основным различительным признаком в парадигме личных местоимений мы считаем признак переходности – ключевой для глагольной системы эргативного языка. Как известно, в эргативных языках при глаголе функционируют два основных актанта: субъект состояния (т.е. непереходного глагола), выражаемый абсолютным падежом, и субъект действия (транзитива), выражаемый эргативным падежом. При этом в предложении с транзитивным глаголом на месте прямого объекта находится субъект состояния, то есть прямой объект также обозначается маркером абсолютива. Ср. шумерское предложение *lu-e* (эрг.) *ḡidru* (абс.) *i-b-ḡar-e* ‘человек палку положил’, т.е. буквально ‘человеком (эрг.) палка (абс.) положена’. Маркирование прямого объекта действия в эргативных языках всегда происходит

аналогично маркированию субъекта состояния, таким образом, показатель лица субъекта статива идентичен показателю лица объекта действия. И субъект, и объект всегда маркируются (Дьяконов 1967: 29-33).

Именно этого-то мы в ностратическом языке не видим. Во-первых, потому, что полиперсональное спряжение в языке не восстанавливается, и из всех ностратических оно имеется лишь в картвельских языках, где, конечно же, было сложено по образу и подобию кавказских параллелей. При этом и картвельские не стали полностью эргативными языками. На другом конце евразийского материка некоторые палеоазиатские языки также развили полипредикативность; основные же семьи, включаемые в состав ностратических языков, маркируют только субъект. Во-вторых, даже если предположить, что картвельские языки сохранили маркировку объекта, унаследованную от ностратического праязыка, то объектным маркером должен был бы служить стативный показатель **qV* для 1 л. и **tV* для второго лица. Мы же видим в картвельских языках префикс объекта 1 л. **m-*, происходящий из ностратического маркера субъекта действия. Всё это говорит о том, что ностратический не был языком эргативной типологии и принадлежал скорее к номинативному строю.

О том же свидетельствуют и данные о падежном формоизменении. Зачатком будущего местоименного склонения была прежде всего «общекосвенная» или притяжательная конструкция, оформляемая независимой постпозитивной частицей **nV*. Впоследствии эта морфема оформляет родительный падеж в большинстве семей ностратических языков (Иллич-Свитыч 1971: 10; Дубо 2004: 117). Выше проводится обоснование её происхождения из ностр. **nV* 'сторона'.

Древнее происхождение имеет и форма определённого прямого объекта с показателем **-m*. Она восстанавливается как один из наиболее стабильных маркеров именного объекта во всех семьях ностратических языков (ND 1351). Что же касается системы местоимений, то оформление аккузатива с её помощью заметно в индоевропейских языках (др.-инд., др.-ир. *mām*, слав. **mę*, др.-прусс. *man*, алб. *tua*) (Порциг 1964: 267), а также в алтайских (монг. **čima-* ‘тебя’). То, что в ностратическом данный аккузативный формант имел форму клитики, подтверждается его тунгусо-маньчжурским рефлексом **-ba / *-bä*, так как переход **m > *b* в односложных лексемах в алтайском происходил лишь в анлауте. Лексическое происхождение ностратического **ma* неясно.

Имеются основания к реконструкции ностратического дательного падежа с клитическим формантом **-kV*, именного по происхождению: ср. драв. **-kkV* (Андронов 1994: 135-150), урал. латив **-k* (Хайду 1985: 229), алт. дат.п. **ga(i)* (Рамстедт 1957: 39-42). Возможно, именно его мы видим в системе индоевропейских личных местоимений в таких формах, как лат. **mihī* ‘мне’ < **meghei*, др.-инд. *mahyam*. Интересно предположение М.С.Андропова о том, что исконной праформой для формирования этого падежного аффикса в дравидийских языках было общедравидийское слово **kau* ‘рука’, которое надёжно восходит к ностратической лексеме **gasV- / *kasV-* (Иллич-Свитыч 1971: 227; ND 653). Значение латива могло возникнуть у конструкции с этим существительным уже в ностратическом праязыке.

Ещё один пример древнего заимствования локативного форманта из системы имени – следы местной или аблативной частицы **da* в склонении личных местоимений. Эта частица обнаруживается в качестве клитической частицы с местоимениями в картвельских языках (груз. *šen-da* ‘к тебе’, мег-

рел. *skan-da*), в аналогичном положении в алтайских языках (тур. *sen-de* ‘у тебя’, *sen-den* ‘от тебя’), в уральских языках (фин. *sinu-l-ta* ‘от тебя’), а также в индоевропейских, где в ряде языков этот формант приобрёл значение отложительно-го падежа как имён, так и местоимений (лат. *mēd* ‘от тебя’, др.-инд. *mad*, хетт. *amedaz*, авест. *mat*. Славянский и балтийский генитив происходит из сращения с древним аблативом: лит. *vilko* ‘волка’ < **wlk-ad*. В клитическом положении мы видим эту же частицу в греч. -δε, -δεν (οικαδε ‘дома’). Более подробно аналитический характер данного морфологического показателя исследовала И.Хегедюш (Hegedűs 1997: 108-112). Ностратическое происхождение форманта с локативным значением, происходящего, очевидно, из лексемы со значением ‘место’ может считаться доказанным, что подтверждают и словари (Иллич-Свитыч 1971: 212-215; ND 579).

Падежное склонение в парадигме личных местоимений развивается в большинстве ностратических языков. Однако разнообразие рефлексов позволяет предположить, что процесс его формирования был сравнительно поздним, а сами падежные формы в большинстве случаев заимствованы из именного склонения. Именные элементы прослеживаются в склонении местоимений во всех без исключения семьях ностратических языков. Для ностратического праязыка мы можем восстановить лишь клитики, которые присоединялись к личным местоимениям для уточнения значения по аналитическому принципу.

Библиография

Андронов 1978 – Андронов М.С. Сравнительная грамматика дравидийских языков. М., 1978.

Андронов 1994 – Андронов М.С. Сравнительная грамматика дравидийских языков. М., 1994.

Бабаев 2007 – Бабаев К.В. К вопросу о происхождении личных показателей в языках Евразии. // Восточные языки и культуры. Материалы I международной научной конференции. М., 2007. Стр. 15-21.

Бабаев 2008 – Бабаев К.В. Ностратический личный показатель *qV. // *Orientalia et Classica XIX*. Труды Института восточных культур и античности. Аспекты компаративистики 3. М., 2008. Стр. 473-498.

Баскаков 1981 – Баскаков Н.А. Алтайская семья языков и ее изучение. М., 1981.

Блумфилд 1999 – Блумфилд Л. Язык. Благовещенск, 1999.

Бурлак 2000 – Бурлак С.А. Историческая фонетика тохарских языков. М., 2000.

Бурлак – Старостин 2001 – Бурлак С.А., Старостин С.А. Введение в лингвистическую компаративистику. М., 2001.

Бурлак – Старостин 2005 – Бурлак С.А., Старостин С.А. Сравнительно-историческое языкознание. М., 2005.

Бюлер 2000 – Бюлер К. Теория языка. Репрезентативная функция языка. М., 2000.

Гамкрелидзе – Иванов 1984 – Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Т. 1-3. М., 1984.

Головко 1997 – Головко Е.В. Алеутский язык. // Языки мира. Палеоазиатские языки. М., 1997. С. 101-116.

Гранде 1972 – Б.М. Гранде "Введение в сравнительное изучение семитских языков". М., 1972.

Груздева 1997 – Груздева Е.Ю. Нивхский язык. // Языки мира. Палеоазиатские языки. М., 1997. С. 139-154.

Дельбрюк 1904 – Дельбрюк Б. Введение в изучение языка. СПб., 1904.

Дини 2002 – Дини У. Балтийские языки. М., 2002.

Долгопольский 1964 – Долгопольский А.Б. Гипотеза древнейшего родства языковых семей Северной Европы с вероятностной точки зрения. // Вопросы языкознания, 1964, 2.

Долгопольский 1965 – Долгопольский А.Б. Методы реконструкции общеиндоевропейского языка и сибироевропейская гипотеза. // Этимология 1964. М., 1965, стр. 259-270.

Долгопольский 1972 – Долгопольский А.Б. Опыт реконструкции общеностратической грамматической системы. // Материалы Конференции по сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков. М., 1972. 32-34.

Дыбо 2006 – Дыбо А.В. Реконструкция праогузского спряжения. // *Orientalia et classica*. Труды Института восточных культур и античности. Аспекты компаративистики 2. М., 2006. С. 257-281.

Дьяконов 1967 – Дьяконов И.М. Языки древней Передней Азии. М., 1967.

Дьяконов 1979 – Дьяконов И. М. Эламский язык. Языки Азии и Африки. Т. III. – М., 1979. – С. 37-49.

Дьяконов 1988 – Дьяконов И.М. Афразийские языки. М., 1988.

Дьяконов 1991 – Дьяконов И.М. Афразийские языки. Кн. I. Семитские языки. М., 1991.

Иванов – Поливанов 2001 – Иванов А.И., Поливанов Е.Д. Грамматика современного китайского языка. М., 2001.

Иванов 1959 – Иванов Вяч.Вс. Тохарские языки. М., 1959.

Иванов 1979 – Иванов Вяч.Вс. Сравнительно-исторический анализ категории определённости – неопределённости в славянских, балтийских и древнебалканских языках в свете индоевропеистики и ностратики. // Категория определённости – неопределённости в славянских и балтийских языках. М., 1979. 11-63.

- Иванов 1981* – Иванов Вяч.Вс. Славянский, балтийский и раннебалканский глагол: индоевропейские истоки. М., 1981.
- Иллич-Свитыч 1971, 1976, 1984* – Иллич-Свитыч В.М. Опыт сравнения ностратических языков. Т.1-3. М., 1971, 1976, 1984.
- Канева 2006* – Канева И.Т. Шумерский язык. СПб., 2006.
- Кипшидзе 1914* – Кипшидзе И. Грамматика мингрельского языка. СПб., 1914.
- Климов 1964* – Климов Г.А. Этимологический словарь картвельских языков. М., 1964.
- Климов 1977* – Климов Г.А. Типология языков активного строя. М., 1977.
- Клосон 1969* – Клосон Дж. Лексикостатистическая оценка алтайской теории. // Вопросы языкознания, 5. М., 1969. Стр. 22-51.
- Кононов 1980* – Кононов А.Н. Грамматика языка тюркских рунических памятников VII-IX вв. Л., 1980.
- Костеркина и др. 2001* – Костеркина Н.Т., Момде А.Ч., Жданова Т.Ю. Словарь нганасанско-русский и русско-нганасанский. СПб., 2001.
- Котвич 1962* – Котвич В. Исследование по алтайским языкам. М., 1962.
- Коуп 1963* – Коуп А.Т. Грамматическая структура языка зулу. // Африканское языкознание. М., 1963.
- Красухин 2004* – Красухин К.Г. Аспекты индоевропейской реконструкции. М., 2004.
- ЛЭС* – Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
- Майсак 2002* – Майсак Т.А. Типология грамматикализации конструкций с глаголами движения и позиции. Диссертация на соискание учёной степени кандидата филологических наук. М., 2002.
- Майтинская 1955* – Майтинская К.Е. Венгерский язык. Т. 1. М., 1955.

Мейе 1938 – Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М., 1938.

Мейе 1951 – Мейе А. Праславянский язык. М., 1951.

Мельчук 1997-2006 – Мельчук И.А. Курс общей морфологии. Т. 1-5. Москва – Вена, 1997-2006.

Меновщиков 1997 – Меновщиков Г.А. Азиатских эскимосов язык. // Языки мира. Палеоазиатские языки. М., 1997. С. 75-80.

О'Коррань 2007 – О'Коррань А. Перфектные конструкции в островных кельтских языках. // Вопросы языкознания, 5, 2007. Стр. 73-88.

Ониани 1965 – Ониани А.А. Относительно категории эксклюзива-инклюзива в картвельских языках. // Вестник ООН, 1965, 1.

Орел 1990 – Орел В.Э. К происхождению личных местоимений в семито-хамитском. // Сравнительно-историческое языкознание на современном этапе. Конференция памяти В.М.Иллич-Свитыча. М., 1990, стр. 54.

ОФУЯ – Основы финно-угорского языкознания. Марийский, пермские и угорские языки. М., 1976.

Палмайтис 1972 – Палмайтис Л. Личные местоимения в связи с вопросом реконструкции бореальной грамматической системы. // Материалы Конференции по сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков. М., 1972. Стр. 63.

Палмайтис 1975 – Палмайтис Л. О личных местоимениях в бореальных языках. // Африканский этнографический сборник, 10, 1975, стр. 165-174.

Парфионович 2003 – Парфионович Ю. Тибетский письменный язык. М., 2003.

Перельмутер 1953 – Перельмутер И. А. Общеиндоевропейский и греческий глагол. М., 1953.

Перельмутер 1977 – Перельмутер И.А. Общеиндоевропейский и греческий глагол. Л., 1977.

Плунгян 2003 – Плунгян В.А. Общая морфология. М., 2003.

Поливанов 1931 – Поливанов Е.Д. За марксистское языкознание. М., 1931, с. 10-35.

Порциг 1964 – Порциг В. Членение индоевропейской языковой общности. М., 1964.

Рамстедт 1957 – Рамстедт Г.И. Введение в алтайское языкознание. М., 1957.

Савченко 1960 – Савченко А.Н. Проблема происхождения личных окончаний глагола в индоевропейском языке. Ростов-н-Д., 1960.

Савченко 1974 – Савченко А.Н. Сравнительная грамматика индоевропейских языков. М., 1974.

Семереньи 1980 – Семереньи О. Введение в сравнительное языкознание. М., 1980.

СИГТЯ – Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Региональные реконструкции. М., 2002.

Сорокина 2001 – Сорокина И.П. Нганасанский язык. // Языки Российской Федерации и соседних государств. М., 2001. Стр. 330-338.

Соссюр 1999 – де Соссюр Ф. Курс общей лингвистики. Екатеринбург, 1999.

Старостин 1984 – Старостин С.А. Гипотеза о генетических связях синотибетских языков с енисейскими и северокавказскими языками. // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. М., 1984, стр. 19-38.

Старостин 1989 – Старостин С.А. Сравнительно-историческое языкознание и лексикостатистика // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. Часть 1. 1989.

Старостин 2006 – Старостин Г.С. Еще раз к вопросу о личных местоимениях в дравидийских языках. // *Orientalia et Classica*. Труды Института восточных культур и античности. Аспекты компаративистики 2. М., 2006.

Суник 1978 – Суник О. Местоимения "сам", "свой" и их морфологические дериваты в алтайских языках. // Очерки сравнительной морфологии алтайских языков. М., 1978, 232-268.

Тестелец 1995 – Тестелец Я.Г. Сибилянты или комплексы в пракартвельском? (Классическая дилемма и некоторые новые аргументы). // ВЯ, 2, 1995, стр. 10-28.

Тодаева 1997 – Тодаева Б.Х. Баоаньский язык. // Языки мира. Монгольские языки... М., 1997. Стр. 29-36.

Топоров 1961 – Топоров В.Н. К вопросу об эволюции славянского и балтийского глагола. // Вопросы славянского языкознания, 5, 1961.

Тронский 1967 – Тронский И.М. О доминативном прошлом индоевропейских языков. // Эргативная конструкция предложения в языках различных типов. М., 1967. Стр. 91-94.

Тронский 2001 – Тронский И.М. Историческая грамматика латинского языка. Общеиндоевропейское языковое состояние (вопросы реконструкции). М., 2001.

Трубецкой 1987 – Трубецкой Н.С. Избранные труды по филологии. М., 1987.

Фасмер 1986 – Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1986.

Хайду 1985 – Хайду П. Уральские народы и языки. М., 1985.

Хелимский 1979 – Хелимский Е.А. Древнейшие угорско-самодийские языковые связи. Тарту, 1979.

Хелимский 1982 – Хелимский Е.А. Древнейшие венгерско-самодийские языковые параллели: Лингвистическая и этногенетическая интерпретация. М., 1982.

Хелимский 2000 – Хелимский Е.А. Компаративистика, уралоистика. Лекции и статьи. М., 2000.

Чикобава 1976 – Чикобава А. К генезису личного спряжения в грузинском языке. // Ежегодник иберийско-кавказского языкознания. III, 1976. Стр. 21-27.

Юдахин 1965 – Юдахин К.К. Киргизско-русский словарь. М., 1965.

Якобсон 1963 – Якобсон Р.О. Типологические исследования и их вклад в сравнительно-историческое языкознание. // Новое в лингвистике. Вып. III. М., 1963. Стр. 95-105.

Adams 1988 – Adams D. Tocharian Historical Phonology and Morphology. New Haven, 1988.

Adams 1999 – Adams D. A dictionary of Tocharian B. Amsterdam, Atlanta, 1999.

Babaev (в печати) – Babaev K. The Problem of Clusivity in Indo-European vs. Nostratic. // *Orientalia et Classica*. Труды Института восточных культур и античности. Аспекты компаративистики 4. М., в печати.

Bader 1976 – Bader F. Le present du verbe “etre” en l’indo-europeen. // *BSL*, 1976, LXXI, 1, p. 27-111.

Beekes 1990 – Beekes R.S.P. Vergelijkende taalwetenschap. Tussen Sanskrit en Nederlands. Utrecht, 1990.

Beekes 1994 – Beekes R. Who Were the Laryngeals? // In *Honorem Holger Pedersen: Kolloquium der indogermanische Gesellschaft*. Wiesbaden, 1994. S. 449-454.

Beekes 1995 – Beekes R. Comparative Indo-European Linguistics: an Introduction. Amsterdam – Philadelphia, 1995.

Benveniste 1971 – Benveniste E. Problems in General Linguistics. Miami, 1971.

Bergsland 1959 – Bergsland K. The Eskimo-Uralic Hypothesis. // *JSFO* 61: 3-29.

Bergsland 1986 – Bergsland K. Comparative Eskimo-Aleut phonology and lexicon. // *Journal de la Société Finno-Ougrienne*, vol. 80, pp. 63-137.

Blake 1934 – Blake F.R. The origins of pronouns of the 1st and 2nd person. // *American Journal of Philology*, 55: 244-248, 1934.

Blažek 1991 – Blažek V. The Microsystems of Personal Pronouns in Chadic, Compared with Afroasiatic. // *Studia Chadica et Hamitosemitica*. Aktes den internazionalen Symposions zur

Tschadsprachenforschung, Frankfurt am Main, 6-8 Mai 1991. Köln, 1991. S. 36-57.

Blažek 1992 – Blažek V. The new Dravidian-Afroasiatic parallels. Preliminary report // Nostratic, Dene-Caucasian, Austric and Amerind, ed. V. Shevoroshkin. Bochum: Brockmeyer, 1992.

Blažek 1995 – Blažek V. Indo-European Personal Pronouns (1st and 2nd persons). // Dhumbadji! Journal for the History of Language, 2:3, Dec 1995, pp. 1-15.

Bloch 1954 – Bloch J. The Grammatical Structure of the Dravidian Languages. // Deccan College Handbook Series 3. Poona, 1954.

Bogoras 1922 – Bogoras W. Chukchee. // Handbook of Americal Indian Languages, p. II. Washington, 1922. P. 631-903.

Bomhard 2003 – Bomhard A. Reconstructing Proto-Nostratic. Charleston, 2003.

Bomhard – Kerns 1994 – Bomhard A., Kerns J. The Nostratic Macrofamily: A Study in Distant Linguistic Relationship. Berlin, 1994.

Brugmann 1904 – Brugmann K. Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen. Hdlb., 1904.

Brugmann – Delbrück 1897-1916 – Brugmann K., Delbrück B. Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. 2.Bd., 2. Teil in 2. Aufl. Hdlb., 1897-1916.

Burrow 1968 – Burrow T. Collected Papers on Dravidian Linguistics. Annamalainagar, 1968.

Bybee 1985 – Bybee J. Morphology: A Study of the Relation between Meaning and Form. // Typological Studies in Language, 9. Amsterdam, 1985.

Bybee 1994 – Bybee J. et al. The Evolution of Grammar: Tense, Aspect and Modality in the Languages of the World. Chicago, 1994.

Bybee 2003 – Bybee J. Mechanisms of Change in Grammaticalization: the Role of Frequency. // The Handbook of Historical Linguistics. Blackwell Publishing, 2003. Pp. 602-623.

Bybee – Dahl 1989 – Bybee J., Dahl Ö. The Creation of Tense and Aspect Systems in the Languages of the World. // *Studies in Language*, vol. 13, p. 51-103. 1989.

Callaghan 1974 – Callaghan C.A. Increase in Morphological Complexity. // *Proceedings of the 11th International Congress of Linguistics*. Bologna, 1974. Pp. 383-388.

Campbell 1979 – Campbell L. Middle American Languages. // *The Languages of Native America: Historical and Comparative Assessment*. Austin-London, 1979. Pp. 956-957.

Chantraine 1927 – Chantraine P. *Histoire du parfait grec*. Paris, 1927.

Clauson 1972 – Clauson G. *An etymological dictionary of pre-13th century Turkish*. Oxford, 1972.

Cohen 2004 – Cohen P.S. Relationships Between Initial Velar Stops and Laryngeals in PIE. // *Nostratic Centennial Conference: the Pécs Papers*. Pécs, 2004. Pp. 51-62.

Collinder 1960 – Collinder B. *Comparative Grammar of the Uralic languages*. Part 3. Uppsala, 1960.

Collinder 1965 – Collinder B. *An Introduction to the Uralic Languages*. Berkeley & Los Angeles, 1965.

Cooke 1968 – Cooke J.R. Pronominal reference in Thai, Burmese and Vietnamese. // *Univ. of California Publications in Linguistics*, 52, 1968.

Cowgill 1965 – Cowgill R. Greek Evidence // *Evidence for Laryngeals*. The Hague, 1965, 142-180.

Cuny 1924 – Cuny A. *Études prégrammaticales sur le domaine des langues indo-européennes et chamito-sémitiques*. Paris, 1924.

Cysouw 2003 – Cysouw M. *The Paradigmatic Structure of Person Marking*. Oxford, 2003.

Dahl 1985 – Dahl, Ö. *Tense and aspect systems*. Oxford, 1985.

Décsey 1990 – Décsey G. *The Uralic Protolanguage: A Comprehensive Reconstruction*. Bloomington, 1990.

DED – Burrow T., Emeneau M.B. A Dravidian Etymological Dictionary. Oxford, 1984.

Deny 1924 – Deny J. Les langues du monde. Paris, 1924.

Doerfer 1985 – Doerfer G. Mongolo-Tungusica. Wiesbaden, 1985.

Dolgopolsky 1984 – Dolgopolsky A. On personal pronouns in the Nostratic languages // *Linguistica et philologica. Gedenkschrift für B. Collinder / Hrsg. von O. Geschwantier et al.* Vienna, 1984. S. 65-112.

Dolgopolsky 1998 – Dolgopolsky A. The Nostratic Macrofamily & Linguistic Paleontology (Papers in the Prehistory of Languages). 1998

Dolgopolsky 2005 – Dolgopolsky A. Nostratic Grammar – Synthetic or Analytic? // *Orientalia et classica. Труды Института восточных культур и античности. Аспекты компаративистики 1. М., 2005. Стр. 13-36.*

Dybo 2002 – Dybo V.A. Balto-Slavic Accentology and Winter's Law. // *Studia Lingvarum 3, 2002. 295-515.*

Dybo 2004 – Dybo V.A. On Illič-Svityč's Study "Basic Features of the Protolanguage of the Nostratic Language Family". // *Nostratic Centennial Conference: the Pécs Papers. Pecs, 2004. Pp. 115-119.*

EDAL – Starostin S., Dybo A., Mudrak O. An Etymological Dictionary of Altaic Languages. Leiden, 2003.

Ehret 1980 – Ehret K. The Historical Reconstruction of Southern Cushitic Phonology and Vocabulary. Berlin, 1980.

Ehret 1995 – Ehret K. Reconstructing Proto-Afroasiatic (Proto-Afrasian): Vowels, Tone, Consonants, and Vocabulary. Berkeley and Los Angeles, 1995.

Erhart 1954 – Erhart A. Ke genesi slovesne flexe v jazycach indoevropskich, I. SPFFBU A2, 1954.

Erhart 1970 – Erhart A. Studien zur indoeuropäischen Morphologie. Brno, 1970.

Erhart 1989 – Erhart A. Das indoeuropäische Verbalsystem. Brno, 1989.

Fähnrich 2002 – Fähnrich H. Kartwelische Wortschatzstudien. Jena 2002.

Fähnrich – Sardshweladse 1995 – Fähnrich H., Sardshweladse S. Etymologisches Wörterbuch der Kartwel-Sprachen. Leiden, 1995.

Gabelentz 1891 – von der Gabelentz F. Die Sprachwissenschaft. Ihre Aufgaben, Methoden, und bisherigen Ergebnisse. Leipzig, 1891.

Givón 1971 – Givón T. Historical Syntax and Synchronic Morphology: an Archaeologist's Field Trip. // Chicago Linguistic Society, vol. 7. Chicago, 1971. P. 394-415.

Greenberg 1963 – Greenberg J. Some Universals of Grammar with Particular Reference to the Order of Meaningful Elements. // Universals of Human Language. Cambridge, 1963. Pp. 73-113.

Greenberg 1987 – Greenberg J. Language in the Americas. Stanford, 1987.

Greenberg 1997 – Greenberg J. Does Altaic Exist? // Indo-European, Nostratic and Beyond. Festschrift for V. Shevoroshkin. Washington, 1997. Pp. 88-93.

Greenberg 2000 – Greenberg J. Indo-European and Its Closest Relatives: The Eurasiatic Language Family. Vol 1: Grammar. Stanford 2000.

Gruzdeva 1998 – Gruzdeva E. Nivkh. München, 1998.

Hajdú 1966 – Hajdú P. Bevezetés az uráli nyelvtudományba. A magyar nyelv finnugor alapjai. Budapest, 1966.

Halliday 1961 – Halliday M. Categories of the Theory of Grammar. // Word, vol. 17, 1961, p. 241-292.

Heath 1991 – Heath J. Pragmatic Disguise in Pronominal-Affix Paradigms. // Paradigms: the Economy of Inflection. Berlin, 1991. Pp. 75-89.

Heath 1998 – Heath J. Pragmatic Skewing in 1-2 Pronominal Combination in Native American Languages. // International Journal of American Linguistics, 64/2, 1998. Pp. 83-104.

Hegedűs 1997 – Hegedűs I. On Grammaticalization in Nostratic. // Indo-European, Nostratic and Beyond. Festschrift for V. Shevoroshkin. Washington, 1997. Pp. 106-115.

Heine 2003 – Heine B. Grammaticalization. // The Handbook of Historical Linguistics. Blackwell Publishing, 2003. Pp. 575-601.

Heine – Kuteva 2007 – Heine B., Kuteva T. The Genesis of Grammar. A Reconstruction. Oxford, 2007.

Heine – Reh 1984 – Heine B., Reh M. Grammaticalization and Reanalysis in African Languages. Hamburg, 1984.

Hopper – Traugott 2003 – Hopper P.J., Traugott E.C. Grammaticalization. Cambridge, 2003.

Humboldt 1825 – Humboldt W. von. Über das Entstehen des grammatikalischen Formen und ihren Einfluß auf die Ideenentwicklung. // Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Berlin, 1825, S. 401-430.

Hyllested 2007 – Hyllested A. The Indo-Uralic Connection – Remote Kinship and Early Contacts. Kopenhagen, 2007.

Imré 1988 – Imré S. Geschichte der ungarischen Sprache. // The Uralic Languages: Description, History and Foreign Influences. Leiden, 1988.

Itabashi 1998 – Itabashi Y. The Old Japanese Personal Pronouns as an Etymological Problem. UAJ, vol. 70, 1998.

Jacobsen 1980 – Jacobsen W. Inclusive/Exclusive: a Diffused Pronominal Category in Native Western North America. // Papers from the Parasession on Pronouns and Anaphora. Chicago, 1980. Pp. 204-227.

Jakobson 1962 – Jakobson R. Selected Writings, vol. 1. The Hague, 1962.

Janhunen 1977 – Janhunen J. Samojedischer Wortschatz. Helsinki, 1977.

Janhunen 1998 – Janhunen J. Samoyedic. // The Uralic Languages. London and New York, 1998. Pp. 457-479.

Jensen 1930 – Jensen H. Bemerkungen zum urgeschlechtigen Personalpronomen des indogermanischen. IF, 1930, bd. 48, 117-126. 1930.

Kammenhuber 1969 – Kammenhuber A. Hethitisch, Palaisch, Luwisch und Hieroglyphenluwisch. // Handbuch der Orientalistik, Erste Abteilung II, Band 1-2. Leiden, 1969, S. 119-357.

Kawamoto 1977 – Kawamoto T. Toward a comparative Japanese – Austronesian II. // Bulletin of Nara Univ. of Education, 26:1, 1977.

Klimov 1998 – Klimov G. Etymological Dictionary of the Kartvelian Languages. Berlin and New York, 1998.

Knobloch 1953 – Knobloch J. La voyelle thématique *-e/o-*: serait-elle un indice d'objet indo-européen? // Lingua, 1953, vol. 3.

Kortlandt 2002 – Kortlandt F. The Indo-Uralic Verb. Finno-Ugrians and Indo-Europeans: Linguistic and literary contacts. // Studia Fenno-Ugrica Groningana, 2. Maastricht, 2002. Pp. 217-227.

Kortlandt 2004 – Kortlandt F. Hittite AMMUK 'me'. // Orpheus 15, 2005, pp. 7-10.

Krause 1955 – Krause W. Zur Entstehung des lateinischen *-ui* und *-vi* Perfekts. // Corolla linguistica. Wiesbaden, 1955.

Krishnamurti 2003 – Krishnamurti B. The Dravidian Languages. Cambridge, 2003.

Kuryłowicz 1932 – Kuryłowicz J. Les desinences moyennes du indo-européen et du hittite. // BSL. 1932, vol. 33.

Kuryłowicz 1964 – Kuryłowicz J. The Inflectional Categories of Indo-European. Hdlb., 1964.

Langdon 1970 – Langdon M. A Grammar of Diegueño. Berkeley, 1970.

Lehmann 1982 – Lehmann C. Thoughts on Grammaticalization. Munich, 1982.

Lehmann 2002 – Lehmann W.P. Pre-Indo-European. // Journal of Indo-European Studies Monograph no. 41. Washington, 2002.

Lipiński 1997 – Lipiński E. Semitic Languages: Outline of a Comparative Grammar. Leuven, 1997.

Ludvig 1893 – Ludvig A. Die Geschichte der Flexion in Sanskrit. Prague, 1893.

Lyons 1977 – Lyons J. Semantics. Vol. 1-2. Cambridge, 1977.

McAlpin 1981 – McAlpin D., Proto-Elamo-Dravidian, Philadelphia 1981.

Meillet 1912 – Meillet A. L'évolution des formes grammaticales. // Scientia, vol. 12, no. 26,6. 1912.

Meriggi 1980 – Meriggi S. Schizzo grammaticale dell'anatolico. // Memorie, Classe di Scienze morali, storiche e filologiche, ser. 8, vol. 24, fasc. 3. Roma, 1980.

Miller 1967 – Miller R.A. The Japanese Language. Chicago, 1967.

Miller 1971 – Miller R.A. Japanese and the Other Altaic Languages. Chicago, 1971.

Moscatti 1964 – Moscatti S. et al. An Introduction to the Comparative Grammar of the Semitic Languages. Wiesbaden, 1964.

Mudrak 1989 – Mudrak O.A. Reconstructing Eskaleutian Roots. // Reconstructing Languages and Cultures. Bochum, 1989. P. 112-124.

ND – Dolgopolsky A. Nostratic Dictionary (forthcoming).

Nichols 2003 – Nichols J. Diversity and Stability in Language. // The Handbook of Historical Linguistics. Blackwell Publishing, 2003. Pp. 283-310.

Pedersen 1908 – Pedersen H. Die indogermanische-semitische Hypothese und die indogermanische Lautlehre. // IF 22: 341-365, 1908.

Pedersen 1938 – Pedersen H. Hittitisch und die anderen indoeuropäische Sprachen. 1938.

Pokorny 1959 – Pokorny A. Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch. Bern, 1959.

Poppe 1955 – Poppe N. Introduction to Comparative Mongolian Studies. // *Memoires de la Societé finno-ougrienne*, 110, 1955.

Prokosch 1939 – Prokosch E. A comparative Germanic Grammar. Philadelphia, 1939.

Ramsey 1978 – Ramsey S.R. Accent and Morphology in Korean Dialects: A Descriptive and Historical Study. Seoul, 1978.

Ramstedt 1952-1957 – Ramstedt G.J. Einführung in die Altaische Sprachwissenschaft, vol. 1-2. // *Memoires de la Societé finno-ougrienne*, 1952-1957.

Rasmussen 1974 – Rasmussen J. Glottogonic reflections on the IE personal endings – in the light of some Arctic parallels. // *Haeretica Indogermana*. Copenhagen, 1974, pp. 16-32.

Rasmussen 1999 – Rasmussen J. Determining Proto-Phonetics by Circumstantial Evidence: the Case of the Indo-European Laryngeals. // *Selected Papers of Indo-European Linguistics*. Copenhagen, 1999, pp. 67-81.

Rédei 1988 – Rédei K., ed. Uralisches etymologisches Wörterbuch. Wiesbaden, 1988.

Schmalstieg 1980 – Schmalstieg W. Indo-European Linguistics: a New Synthesis. University Park, 1980.

Schmidt 1899 – Schmidt J. Die Kretischen pluralnominative auf -en und verwandtes. // *ZfVS*, 36, S. 400-416.

Schmidt 1978 – Schmidt G. Stammbildung und Flexion der indogermanischen Personalpronomina. Wiesbaden, 1978.

Schmidt 1984 – Schmidt G. Lat. *amavi*, *amasti* und ihre indogermanische Grundlagen. // *Glotta*, Bd. 63. 1984.

Seebold 1971 – Seebold E. Versuch über die Herkunft der indogermanischen Personalendungssysteme. // *KZ* 85, 1971. S. 185-210.

Shevoroshkin – Manaster Ramer 1991 – Shevoroshkin V., Manaster Ramer A. Some Recent Work on the Remote Relation-

ships of Languages. // Sprung from Some Common Source. Stanford, 1991, pp. 178-199.

Siewierska 2004 – Siewierska A., Person. Cambridge, 2004.

Sinor 1988 – Sinor D. The Problem of the Ural-Altai Relationship. // The Uralic Languages. Description, History and Foreign Influences. Leiden, 1988. P. 706-741.

Sridhar 1990 – Sridhar S.N. Kannada. London, 1990.

Starostin 1990 – Starostin S. A Statistical Evaluation of the Nostratic Macrofamily. // Evolution: from Molecules to Culture. Cold Spring Harbor, 1990.

Szémerenyi 1990 – Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft. Darmstadt, 1990.

Thurneysen 1946 – Thurneysen R. A Grammar of Old Irish. Dublin, 1946.

Traugott 2003 – Traugott E.C. Constructions in Grammaticalization. // The Handbook of Historical Linguistics. Blackwell Publishing, 2003. Pp. 624-647.

Vaillant 1950-1966 – Vaillant A. Grammaire comparée des langues slaves. Vol. I-III. Lyon, 1950-1966.

Wackernagel 1926 – Wackernagel J. Vorlesungen über Syntax. Bd. 1. Basel, 1926.

Walde – Hoffmann 1938 – Lateinisches Etymologisches Wörterbuch. Hdlb., 1938.

Watkins 1969 – Watkins C. Indogermanische Grammatik. Band III: Formenlehre. Hdlb., 1969.

van Windekens 1979 – van Windekens A.J. Le Tokharien confronté avec les autres langues indo-européennes. Vol. 3. Louvain, 1979.

Zvelebil 1990 – Zvelebil K. Dravidian linguistics : an introduction. Pondicherry, 1990.

Приложение 1

Парадигмы личных показателей в индоевропейских языках

1.1. Хеттский язык

Индоевропейская семья

Анатолийская (хетто-лувийская) группа

Местоимения

	1 л. ед.ч.	2 л. ед.ч.	Прим.
им.	<i>ammuk, uk</i> лув., пал. <i>amu</i>	<i>zik</i> , лув., пал. <i>ti</i>	
род.	<i>ammel</i> , др.-хетт. <i>man</i>	<i>tuel</i>	суф. прил.
дат.	<i>ammuk</i>	<i>tuk</i> , лув.-пал. <i>tu</i>	
вин.	<i>ammuk, uk</i>	<i>tuk</i>	
отл.	<i>ammedaz</i>	<i>tuedaz</i>	= имя
	1 л. мн.ч.	2 л. мн.ч.	
им.	<i>weš, anzaš < *ns-wes?</i>	<i>šumeš, sumaš < *us-mes?</i>	
род.	<i>anzel</i>	<i>šumenzan, šumel</i>	суф. прил.
дат.	<i>anzaš</i>	<i>šumaš, šumeš,</i> лув. <i>mai</i>	= имя
вин.	<i>anzaš</i>	<i>šumaš, šumeš</i>	
отл.	<i>anzidaz</i>	<i>šumedaz</i>	= имя

Энклитические местоимения

	ед.ч.	мн.ч.
1 л.	<i>-mi</i>	<i>-naš</i>
2 л.	<i>-ta, -du</i>	<i>-(u)šmaš, -maš</i>

Притяжательные аффиксальные местоимения

ед.ч.			
	1 лицо	2 лицо	2, 3 лицо мн.ч.
им.	<i>-miš</i>	<i>-tiš, -tit</i>	<i>-(e)šmeš; -šimit, -šamit</i>
род.	др. <i>-maš</i>	др. <i>-taš</i>	
дат.	<i>-mi, -ma</i>	<i>-ti</i>	<i>-(i)šmi, -šumme, -šummi</i>
вин.	<i>-min, -man</i>	<i>-tin, -tit</i>	<i>-(a)šman; -šimit</i>
инстр.		<i>-tit</i>	
мн.ч.			
им.	<i>-meš</i>	<i>-tit</i>	<i>-(e)šmeš</i>
род.	<i>-man</i>		
дат.			<i>-(a)šmaššan</i>
вин.	<i>-muš</i>		<i>-šumuš</i>

Личные аффиксы глагола

Действительный залог *-mi*

	наст.вр.	прош.вр.	повел. накл.
1 л. ед.ч.	<i>-mi</i> , лув. <i>-mi, -wi</i>	<i>-un, -nun</i> , лув-пал. <i>-ha</i>	<i>-allu, -lut / -lit</i>
2 л.	<i>-ši</i>	<i>-š, -t(a)</i> , лув. <i>-as</i>	<i>-0, -t, -i</i>
3 л.	<i>-zi</i> , лув-пал. <i>-ti</i>	<i>-t, -ta</i> , лув. <i>-ta</i> , пал. <i>-at</i>	<i>-du</i> = пал., лув. <i>-tu</i>
1 л. мн.ч.	<i>-weni, -meni</i> (после <i>w</i>) лув. <i>-wani</i>	<i>-wen, -wan, -men</i> лув. <i>-man</i>	-

2 л.	<i>-teni</i> , лув. <i>-tani</i>	<i>-ten</i> , лув. <i>-tan</i>	<i>-ten</i> , лув.-пал. <i>-tan</i>
3 л.	<i>-anzi</i> , лув.-пал. <i>-(a)nti</i>	<i>-er</i> , <i>-ir</i> , лув.-пал. <i>-(a)nta</i>	<i>-andu</i> , лув.-пал. <i>-antu</i>

Действительный залог *-hi*

	наст.вр.	прош.вр.	повел. накл.
1 л. ед.ч.	<i>-hi</i> , др. <i>-he</i>	<i>-hun</i> ,	<i>-allu</i> , <i>-allut</i>
2 л.	<i>-ti</i> , <i>-te</i>	<i>-š</i> , <i>-ta</i> , <i>-šta</i>	<i>-</i> , <i>-s</i>
3 л.	<i>-i</i> , <i>-e</i> , лув.-пал. <i>-i</i>	<i>-š</i> , <i>-ta</i> , <i>-šta</i>	<i>-u</i> , = лув.
1 л. мн.ч.	<i>-weni</i> , <i>-wani</i> , <i>-meni</i> , <i>-mani</i>	<i>-wen</i> , <i>-men</i>	<i>-</i>
2 л.	<i>-šteni</i> , <i>-teni</i>	<i>-ten</i> , <i>-šten</i>	<i>-ten</i> , <i>-šten</i>
3 л.	<i>-anzi</i>	<i>-ir</i>	<i>-andu</i>

Средний залог

	наст.вр.	прош.	повел.
1 л. ед.ч.	<i>-ha(ha)</i> , <i>-ha(ha)ri</i> лув., пал. <i>-tari</i>	<i>-ha(ha)t</i> , <i>-ha(ha)ti</i>	<i>-ha(ha)ru</i>
2 л.	<i>-ta</i> , <i>-tari</i> , лув. <i>-tuwari</i>	<i>-at</i> , <i>-tat</i> , <i>-tati</i>	<i>-hut</i> , <i>-huti</i> < <i>*-huhdi</i>
3 л.	<i>-a</i> , <i>-ari</i> , <i>-tari</i>	<i>-ati</i> , <i>-tat</i> , <i>-tati</i>	<i>-aru</i> , <i>-taru</i> , лув., пал. <i>-taru</i>
1 л. мн.ч.	<i>-wašta</i> , <i>-waštari</i>	<i>-waštat</i> , <i>-waštati</i>	<i>-</i>
2 л.	<i>-tuma</i> , <i>-tumat</i>	<i>-tumat</i> , <i>-tumati</i>	<i>-tumat</i> , <i>-tumati</i>
3 л.	<i>-anda</i> , <i>-andari</i> , лув. <i>-antari</i>	<i>-antat</i> , <i>-antati</i>	<i>-antaru</i>

1.2. Албанский язык

Индоевропейская семья

Личные местоимения

	1 л. ед.ч.	2 л. ед.ч.
им.	<i>u në</i>	<i>ti</i>
род.	<i>i tua</i>	<i>i ty</i>
дат.	<i>tua, më</i>	<i>ty, të</i>
вин.	<i>tua, më</i>	<i>ty, të</i>
отл.	<i>meje</i>	<i>teje</i>

	1 л. мн.ч.	2 л. мн.ч.
им.	<i>ne, na</i>	<i>ju</i>
род.	<i>i neve</i>	<i>i juve</i>
дат.	<i>neve, na</i>	<i>juve, ju</i>
вин.	<i>ne, na</i>	<i>ju</i>
отл.	<i>nesh</i>	<i>jush</i>

Притяжательные местоимения

	1 л. ед.ч.	2 л. ед.ч.	1 л. мн.ч.	2 л. мн.ч.
им.	м. <i>(i)mi, im, mitë</i> ж. <i>imja, ime, miat, mia</i>	м. <i>yti, yt, tutë, tu</i> ж. <i>jotja, jote, tuat, tua</i>	м. <i>yni, ynë, tanë(t)</i> ж. <i>jona, jonë, tona(t)</i>	м. <i>juaji, juaj, tuaj(t)</i> ж. <i>juaj(a), tuaja(t)</i>
род., дат., отл.	<i>tim(it), të mive</i>	<i>tënd(it), të tuve</i>	<i>ton(it), tanëve</i>	<i>tuaj(it), tuajve</i>
вин. (м.р.)	<i>tim(in), të mitë</i>	<i>ton(in), tanët</i>	<i>tënd(in), të tutë</i>	<i>tuaj(in), tuaj(t)</i>

Личные аффиксы глагола

Действительный залог

	наст.вр.	аорист	повел. накл.	имперфект
1	- <i>0</i> , жел. - <i>a</i> атем. - <i>m</i> (<i>jam</i> 'есмь')	- <i>a</i>	-	-(<i>n</i>)- <i>ja</i> , гер. - <i>sh-a</i>
2	- <i>0</i> , сосл. - <i>sh</i>	- <i>e</i>	- <i>0</i> , - <i>j</i>	-(<i>n</i>)- <i>je</i> / - <i>sh-e</i>
3	- <i>0</i> , сосл. - <i>ë</i> , жел. - <i>të</i>	- <i>u</i> , - <i>i</i>	-	- <i>te</i>
1 мн.	- <i>m(ë)</i>	- <i>m(ë)</i>	-	- <i>n-im</i> / - <i>sh-im</i>
2	- <i>i</i>	- <i>t(ë)</i>	- <i>i</i>	- <i>n-it</i> / - <i>sh-it</i>
3	- <i>n(ë)</i>	- <i>n(ë)</i>	-	- <i>n-in</i> / - <i>sh-in</i>

Страдательный залог

	наст., буд.вр.	имперфект
1	- <i>em</i>	- <i>esha</i>
2	- <i>esh</i>	- <i>eshe</i>
3	- <i>et</i>	- <i>esh(ej)</i>
1 мн.	- <i>emi</i>	- <i>eshim</i>
2	- <i>eni</i>	- <i>eshit</i>
3	- <i>en</i>	- <i>eshin</i>

1.3. Армянский язык

Индоевропейская семья

Личные местоимения

	1 л. ед.ч.	2 л. ед.ч.	1 л. мн.ч.	2 л. мн.ч.	
им.	<i>es</i>	<i>du</i>	<i>mek'</i>	<i>duk' < *yu-</i>	- <i>k' < *-s =</i> ИМЯ
род., притяж.	<i>im</i>	<i>k`o</i>	<i>mer</i>	<i>čer < *y-</i>	

дат.	<i>inč</i>	<i>k`ez</i>	<i>mez</i>	<i>čez</i>	
вин., мест.	<i>is</i>	<i>k`ez</i>	<i>mez</i>	<i>čez</i>	-s = вин.п. ИМЕНИ
инстр.	<i>inel</i>	<i>k`el</i>	<i>melk`</i>	<i>čelk`</i>	-l неименной
отл.	<i>inen, inčen</i>	<i>k`en, k`ečen</i>	<i>mendž, mezen</i>	<i>čendž, čezen</i>	

Личные аффиксы глагола

Действительный залог

	наст. вр. (изъяв., сосл.)	имперфект	повел. накл.	аорист изъяв. накл.	аорист сосл. накл.
1 ед.	<i>-m</i>	<i>-i</i>	-	<i>-i</i>	<i>-iç</i>
2	<i>-s</i>	<i>-ir</i>	<i>-r</i>	<i>-er</i>	<i>-çes</i>
3	<i>-0</i>	<i>-r</i>	-	<i>-0</i>	<i>-cē</i>
1 ед.	<i>-mk`</i>	<i>-ak`</i>	-	<i>-ak`</i>	<i>-çuk`</i>
2	<i>-k`</i>	<i>-ik`</i>	-	<i>-ēk`, -ik`</i>	<i>-džik`</i>
3	<i>-n < *-nt</i>	<i>-in</i>	-	<i>-in</i>	<i>-çen</i>

Медиопассивный залог

	аорист	аорист сосл.
1 л. ед.ч.	<i>-ay</i>	<i>-ayç</i>
2 л.	<i>-ar</i>	<i>-çis, -çes</i>
3 л.	<i>-aw</i>	<i>-çi, -cē</i>
1 л. мн.ч.	<i>-ak`</i>	<i>-çuk`</i>
2 л.	<i>-ayk`, -aruk`</i>	<i>-džik`</i>
3 л.	<i>-an</i>	<i>-çen</i>

1.4. Готский язык

Индоевропейская семья

Германская группа

Востоногерманская подгруппа

Местоимения

	1 л. ед.ч.	2 л. ед.ч.	Прим.
им.	<i>ik</i> < *-eg'h-	<i>þu</i>	
род.	<i>meina</i>	<i>þeina</i>	местоименный
дат.	<i>mis</i>	<i>þus</i>	местоименный
вин.	<i>mik</i>	<i>þuk</i>	

	1 л. дв.ч.	2 л. дв.ч.	Прим.
им.	<i>wit</i>	<i>jut</i>	-t < *dw-
род.	<i>ugkara</i> < *-unk-	<i>-igkara</i> < *-ink-	местоименный
дат.	<i>ugkis</i>	<i>igkis</i>	
вин.	<i>ugkis</i>	<i>igkis</i>	

	1 л. мн.ч.	2 л. мн.ч.	Прим.
им.	<i>weis</i>	<i>jus</i>	
род.	<i>unsara</i> < *ns-	<i>izwara</i> < *-us-w-?	местоименный
дат.	<i>uns(is)</i>	<i>izwis</i>	
вин.	<i>uns(is)</i>	<i>izwis</i>	

Личные аффиксы глагола

Действительный залог

	наст.вр.	прош.вр.	повел. накл.
1 л. ед.ч.	-a / -o, атем. -m	-0	

2 л.	<i>-is</i>	<i>-t < *-tha</i> , слаб. <i>-s</i>	<i>-0</i>
3 л.	<i>-ip</i>	<i>-0</i>	<i>-adau</i> новое
1 л. дв.ч.	<i>-os < *-o-wes</i>	<i>-u</i>	
2 л.	<i>-ats</i>	<i>-uts</i>	<i>-ats</i>
1 л. мн.ч.	<i>-am</i>	<i>-um</i>	<i>-am</i>
2 л.	<i>-ip</i>	<i>-up</i>	<i>-ip</i>
3 л.	<i>-and < *-nti</i>	<i>-un</i>	<i>-andau</i> новое

Желательное накл.

	наст.вр.	прош.вр.
1 л. ед.ч.	<i>-au</i>	<i>-jau < *-i-au</i>
2 л.	<i>-ais</i>	<i>-ei-s</i>
3 л.	<i>-ai < *-oi-t</i>	<i>-i</i>
1 л. дв.ч.	<i>-aiw(a)</i>	<i>-wa</i>
2 л.	<i>-aits</i>	<i>-ei-ts</i>
1 л. мн.ч.	<i>-aim(a)</i>	<i>-ei-ma</i>
2 л.	<i>-aip</i>	<i>-ei-p</i>
3 л.	<i>-ain(a)</i>	<i>-ei-na</i>

1.5. Древнегреческий язык

Индоевропейская семья

Греческая группа

Местоимения

	1 л.	2 л.	Прим.
им.	<i>egō(n)</i>	<i>su</i> , эол. <i>tu</i>	
род.	<i>(e)mou</i>	<i>sou</i>	= темат. осн.
дат.	<i>(e)moi</i>	<i>soi</i>	= темат. осн.
вин.	<i>(e)me</i>	<i>se</i>	
дв.ч.			
им.	<i>nō</i> , гомер. <i>nōi</i>	<i>sphō</i> , <i>sphōi</i>	= темат. осн.

род.	<i>nōin</i>	<i>sphōin</i>	= темат. осн.
дат.	<i>nōin</i>	<i>sphōin</i>	= темат. осн.
вин.	<i>nō</i>	<i>sphō</i>	= темат. осн.
мн.ч.			
им.	<i>hēmeis</i> эол. <i>ammes</i> < * <i>ns-</i> <i>mes</i> ? дор. <i>hāmes</i>	<i>humeis</i> эол. <i>ummes</i> < * <i>us-</i> <i>mes</i> ? дор. <i>hūmes</i>	= атемат. осн.
род.	<i>hēmōn</i>	<i>humōn</i>	= а/о-осн.
дат.	<i>hēmin</i>	<i>humin</i>	= скр. мест. <i>-smin</i> ?
вин.	<i>hēmās</i>	<i>humās</i>	= атемат. осн.

Притяжательные: 1 л. ед.ч. *e-mos*, 2 л. ед.ч. *sos*, 1 л. мн.ч. *hēmeteros*, 2 л. мн.ч. *humeteros*

Личные аффиксы глагола
Настоящее время

	тематические	атематические	повел. накл.	имперфект
1 л. ед.ч.	<i>-ō</i>	<i>-mi</i>	-	<i>-on</i> < * <i>-om</i>
2 л.	<i>-eis</i>	<i>-s, -si</i>	<i>-thi</i> < * <i>-dhi</i> <i>-e, -s</i>	<i>-es</i>
3 л.	<i>-ei</i>	<i>-si</i> < * <i>-ti</i> , дор. <i>-tī</i>	<i>-tō</i>	<i>-0, -e</i> < * <i>-et</i>
1 л. дв.ч.	-	-	-	-
2 л.	<i>-e-ton</i>	<i>-ton</i>	<i>-ton</i>	<i>-e-ton</i>
3 л.	<i>-e-ton</i>	<i>-ton</i>	<i>-tōn</i>	<i>-e-tēn</i>
1 л. мн.ч.	<i>-o-men, -o-mes</i>	<i>-men</i> , дор. <i>-mes</i>	-	<i>-o-men</i>
2 л.	<i>-e-te</i>	<i>-te</i>	<i>-te</i>	<i>-e-te</i>
3 л.	<i>-ousi(n)</i> < * <i>-onti</i>	<i>-āsi, -ōsi</i> < * <i>-nti</i> дор. <i>-nti</i>	<i>-ntōn</i>	атемат. <i>-san</i> < аор. * <i>-s-nt</i> , темат. <i>-o-n</i> < * <i>-ont</i>

Аорист / перфект

	аорист	перфект
1 л. ед.ч.	<i>-s-a</i>	<i>-a</i>
2 л.	<i>-s-as</i>	<i>-as</i>
3 л.	<i>-s-e</i>	<i>-e</i>
1 л. мн.ч.	<i>-s-a-men</i>	<i>-a-men</i>
2 л.	<i>-s-a-te</i>	<i>-a-te</i>
3 л.	<i>-s-an</i>	<i>-a-si, -a-se</i>

Средний залог

	первичные	вторичные	повел. накл.
1 л. ед.ч.	<i>-o-mai</i>	<i>-o-mēn</i>	-
2 л.	<i>-ei, -ēi < *-(e)sai</i>	<i>-ou < *-(e)so</i>	<i>-ou < *-(e)so</i>
3 л.	<i>-e-tai</i>	<i>-e-to</i>	<i>-e-sthō</i>
1 л. дв.ч.	-	-	-
2 л.	<i>-e-sthon</i>	<i>-e-sthon</i>	<i>-e-sthōn</i>
3 л.	<i>-e-sthon</i>	<i>-e-sthēn</i>	<i>-e-sthōn</i>
1 л. мн.ч.	<i>-o-metha < *-medha; -mestha</i>	<i>-o-metha</i>	<i>-o-metha</i>
2 л.	<i>-e-sthe</i>	<i>-e-sthe</i>	<i>-e-sthe</i>
3 л.	<i>-o-ntai</i>	<i>-onto</i>	<i>-e-sthōn</i>

1.6. Древнеиндийский язык

Индоевропейская семья

Индоарийская группа

Местоимения

	1 л. ед.ч.	2 л. ед.ч.	Прим.
им.	<i>aḥam</i>	<i>tvam</i>	
род.	<i>mama, me</i>	<i>tava, te</i>	

дат.	<i>mahyam, me</i>	<i>tubhyam, te</i>	
вин.	<i>mām, mā</i>	<i>tvām, tvā</i>	= а-осн.
инстр.	<i>mayā</i>	<i>tvayā</i>	= а-осн.
отл.	<i>mad</i>	<i>tvad</i>	= а-осн., но крат.
мест.	<i>mayi</i>	<i>tvayi</i>	= согл. осн.

	1 л. дв.ч.	2 л. дв.ч.	Прим.
им.	<i>(ā)vām</i>	<i>yuvām</i>	
род.	<i>āvayos</i>	<i>yuvayos</i>	= темат., а-осн.
дат.	<i>navi</i>	<i>vām</i>	
вин.	<i>navi</i>	<i>vām</i>	1 л. = о-осн.
инстр.	<i>āvābhyām</i>	<i>yuvābhyām</i>	= темат., а-осн.

	1 л. мн.ч.	2 л. мн.ч.	Прим.
им.	<i>vayam</i>	<i>yūyam</i>	
род.	<i>asmākam, nas</i>	<i>yusmākam, vas</i>	
дат.	<i>asmabhyam, nas</i>	<i>yusmabhyam, vas</i>	= дв.ч.
вин.	<i>asmān, nas</i>	<i>yusmān, vas</i>	
инстр.	<i>asmābhis</i>	<i>yusmābhis</i>	= а-осн.
отл.	<i>asmad</i>	<i>yusmad</i>	= а-осн.
мест.	<i>asmāsu</i>	<i>yusmāsu</i>	= а-осн.

Личные аффиксы глагола
Действительный залог

	первичные	вторичные	перфект	повел. накл.
1 л. ед.ч.	<i>-mi</i>	<i>-a-m</i>	<i>-a</i>	<i>-āni</i>
2 л.	<i>-si</i>	<i>-s</i>	<i>-tha</i>	<i>-0, -dhi, -hi</i>
3 л.	<i>-ti</i>	<i>-t</i>	<i>-a</i>	<i>-tu</i>
1 л. дв.ч.	<i>-vas</i>	<i>-va</i>	<i>-va</i>	<i>-āva</i>
2 л.	<i>-thas</i>	<i>-tam</i>	<i>-athur</i>	<i>-tam</i>
3 л.	<i>-tas</i>	<i>-tām</i>	<i>-atur</i>	<i>-tām</i>
1 л. мн.ч.	<i>-mas</i>	<i>-ma</i>	<i>-ma</i>	<i>-āma</i>
2 л.	<i>-tha</i>	<i>-ta</i>	<i>-a</i>	<i>-ta</i>
3 л.	<i>-anti</i>	<i>-an</i>	<i>-ur</i>	<i>-antu</i>

Средний залог

	первичные	вторичные	перфект	повел. накл.
1 л. ед.ч.	<i>-e</i>	<i>-i</i>	<i>-e</i>	<i>-ai</i>
2 л.	<i>-se</i>	<i>-thās</i>	<i>-se</i>	<i>-sva</i>
3 л.	<i>-te</i>	<i>-ta</i>	<i>-te</i>	<i>-tām</i>
1 л. дв.ч.	<i>-vahe</i>	<i>-vahi</i>	<i>-vahe</i>	<i>-āvahai</i>
2 л.	<i>-āthe</i>	<i>-athām</i>	<i>-āthe</i>	<i>-āthām</i>
3 л.	<i>-āte</i>	<i>-atām</i>	<i>-āte</i>	<i>-ātām</i>
1 л. мн.ч.	<i>-mahe < *-medh-</i>	<i>-mahi</i>	<i>-mahe < *-medh-</i>	<i>-āmahai</i>
2 л.	<i>-dhve</i>	<i>-dhvam</i>	<i>-dhve</i>	<i>-dhvam</i>
3 л.	<i>-ate</i>	<i>-ata</i>	<i>-(i)re</i>	<i>-atām</i>

1.7. Древнеиранские языки (авест., др.-перс.)

Индоевропейская семья
Иранская группа
Личные местоимения

	1 л. ед.ч.	2 л. ед.ч.	Прим.
им.	<i>azəm, azēm (adam)</i>	<i>tvēm, tūm, tū (tuvam)</i>	
род.	<i>mana (manā)</i>	<i>tava, tavā</i>	
дат.	<i>maibyā, māvōya (manā)</i>	<i>taibyā, taibyō</i>	
вин.	<i>maq̄m (mām)</i>	<i>θwq̄m (θuvam)</i>	
инстр.		<i>θvā</i>	
отл.	<i>maq̄</i>	<i>θvāt̄, θvat̄</i>	= о-осн.
дв.ч.			
род.		<i>θwā</i>	
вин.	<i>əāva</i>		

	мн.ч.		
им.	<i>vaēt</i> (vayam)	<i>yūžət</i>	
род.	<i>aḥmā, əḥmā</i> (amāxam)	<i>yūšmākəṃ,</i> <i>xšmākəṃ</i>	
дат.	<i>aḥmaibyā, aḥmāi</i>	<i>yūšmaibyā,</i> <i>xšmāibyā</i>	= а-осн.
вин.	<i>aḥmā, əḥmā</i>		
инстр.		<i>xšmā</i>	
отл.		<i>yūšmat, xšmat</i>	= о-осн.

Энклитические личные местоимения

	1 л.		2 л.	
	авест.	др.-перс.	авест.	др.-перс.
род., дат. ед.ч.	<i>mē, mōi</i>	<i>maiū</i>	<i>tē, tōi</i>	<i>taiū</i>
вин. ед.ч.	<i>mā</i>	<i>mā</i>	<i>θvā</i>	
отл. ед.ч.		<i>ma</i>		
род., дат. дв.ч.	<i>nā</i>			
род., дат. мн.ч.	<i>nō, nə</i>		<i>vō, və</i>	
вин. мн.ч.	<i>nā, nō</i>		<i>vā, vō</i>	

Личные аффиксы глагола
Действительный залог

	первичные	вторичные	перфект	повел. накл.
1 л. ед.ч.	<i>-mi/-mī</i> , темат. <i>-ā/-āmī</i> (-miy, -āmiy)	<i>-m</i>	<i>-a</i>	-
2 л.	<i>-hi / -hī</i> (-hiy)	<i>-ō</i>	<i>-θa</i>	<i>-a / -ā, -di</i> (-ā, -diy)
3 л.	<i>-ti / -tī</i> (-tiy)	<i>-t</i> (-a, -š)	<i>-a, -ā(u)</i>	<i>-tu / -tū</i> (-tuv)
1 л. дв.ч.	<i>-vahī</i>	<i>-va</i>		
3 л.	<i>-ō</i>	<i>-tam</i> (-tam)	<i>-tər(ə)</i>	

1 л. мн.ч.	<i>-mahi / -mahī (-mahy)</i>	<i>-mā</i>	<i>-mā</i>	
2 л.	<i>-θā</i>	<i>-ta</i>	<i>-θā</i>	<i>-tā</i>
3 л.	<i>-nti / -ntī (-ntiy)</i>	<i>-n (-ant)</i>	<i>-ar(ə)</i>	<i>-ntu / -ntū (-ntuv)</i>

Средний залог

	первичные	вторичные	повел. накл.
1 л. ед.ч.	<i>-e (-aiy)</i>	<i>-ī (-iy)</i>	-
2 л.	<i>-he (-haiy)</i>	<i>-ša / -šā, -ŋha (-ša)</i>	<i>-hvā, -ŋha, -švā (-uvā)</i>
3 л.	<i>-te / -tē (-taiy)</i>	<i>-ta / -tā (-tā)</i>	<i>-tqm</i>
3 л. дв.ч.	<i>-tē</i>	<i>-təm, -θe</i>	
1 л. мн.ч.	<i>-maidē</i>	<i>-maidī</i>	
2 л.	<i>-duyē</i>	<i>-dūm</i>	<i>-tām</i>
3 л.	<i>-(n)te / -(n)tē</i>	<i>-(n)ta / -(n)tā (-ntā)</i>	<i>-ntqm</i>

1.8. Латинский язык

Индоевропейская семья

Италийская группа

Латино-фалисская подгруппа

Личные местоимения

	1 л. ед.ч.	2 л. ед.ч.	Прим.
им.	<i>ego / egō</i> оск. <i>egōm</i>	<i>tū</i>	
род.	<i>meī</i> оск. <i>meveis</i>	<i>tuī</i> оск. <i>tuveis</i>	= о-осн.
дат.	<i>mihī < *meghei</i> оск. <i>mehei</i>	<i>tibī < tibhei</i> оск. <i>tfei</i>	
вин.	<i>mē</i>	<i>tē</i>	

		оск. <i>tium</i>	
отл.	<i>mē</i> < * <i>mēd</i> оск. <i>mēd</i>	<i>tē</i> < <i>tēd</i> оск. <i>tēd</i>	= а-осн.

	1 л. мн.	2 л. мн.ч.	Прим.
им.	<i>nōs</i> , др.-лат. <i>e-nos</i>	<i>vōs</i>	
род.	<i>nostrī, nostrum</i>	<i>vestrī, vestrum</i>	= о-осн., согл. осн
дат.	<i>nōbīs</i> < * <i>nōbei-s</i> оск. <i>nōbei</i>	<i>vōbīs</i> < * <i>vōbei-s</i> оск. <i>vōbei</i>	
вин.	<i>nōs</i>	<i>vōs</i>	= о-осн.
отл.	<i>nōbīs</i>	<i>vōbīs</i>	

Притяжательные местоимения: 1 л. ед.ч. *meus*, 2 л. ед.ч. *tuus*, 1 л. мн.ч. *noster*, 2 л. мн.ч. *vester*

Личные аффиксы глагола

Действительный залог

	инфект	перфект	повел. накл.
1 л. ед.ч.	<i>-ō</i> , атем. <i>-m</i>	<i>-ī</i> < * <i>-ai</i>	
2 л.	<i>-s</i>	<i>-istī</i>	<i>-ō</i>
3 л.	<i>-t</i>	<i>-t</i>	<i>-tō</i> < * <i>-tōd</i>
1 л. мн.ч.	<i>-mus</i>	<i>-mus</i>	
2 л.	<i>-tis</i>	<i>-istis</i>	<i>-te</i>
3 л.	<i>-nt</i>	<i>-erunt</i> < * <i>-is-ont</i>	<i>-ntō</i> < * <i>-ntōd</i>

Страдательный залог

	инфект
1 л. ед.ч.	<i>-(o)r</i>
2 л.	<i>-ris</i>
3 л.	<i>-tur</i> , оск. <i>-ter</i>
1 л. мн.ч.	<i>-mur</i>

2 л.	<i>-minī < *-menoi</i>
3 л.	<i>-ntur</i>

1.9. Старославянский язык

Индоевропейская семья

Славянская группа

Личные местоимения

	1 л. ед.ч.	2 л. ед.ч.	Прим.
им.	<i>азъ</i>	<i>ты</i>	
род.	<i>мене</i>	<i>тебе</i>	
дат.	<i>мьнѣ, ми</i>	<i>тебѣ, ти</i>	= а-скл.
вин.	<i>ма, мене</i>	<i>та, тебе</i>	
твор.	<i>мьноуж</i>	<i>тобоуж</i>	= а-скл.
мест.	<i>мьнѣ</i>	<i>тебѣ</i>	= а-скл.

	1 л. дв.ч.	2 л. дв.ч.	Прим.
им.	<i>вѣ</i>	<i>ва</i>	= а-скл.
род.	<i>наю</i>	<i>ваю</i>	-и = а-скл.
дат.	<i>нама</i>	<i>вама</i>	= а-скл.
вин.	<i>на, ны</i>	<i>ва, вы</i>	
твор.	<i>нама</i>	<i>вама</i>	= а-скл.
мест.	<i>наю</i>	<i>ваю</i>	-и = а-скл.

	1 л. мн.ч.	2 л. мн.ч.	Прим.
им.	<i>мы</i>	<i>вы</i>	= а/о-скл.
род.	<i>насъ</i>	<i>васъ</i>	
дат.	<i>намъ, ны</i>	<i>вамъ, вы</i>	= а-скл.
вин.	<i>ны, насъ</i>	<i>вы, васъ</i>	
твор.	<i>нами</i>	<i>вами</i>	= а/о-скл.
мест.	<i>насъ</i>	<i>васъ</i>	

Притяжательные местоимения: *мой, твой, наш, ваш*
Личные аффиксы глагола

Настоящее время

	тематические	атематические	повел. накл.
1 л. ед.ч.	<i>-ж / -ѣж < *-(j)om</i>	<i>-мь</i>	
2 л.	<i>-ши < *-si</i>	<i>-си</i>	<i>-и / -ь < *-i</i>
3 л.	<i>-тъ < *-ti, -θ</i>		
1 л. дв.ч.	<i>-вѣ (др-рус. тж. -ва)</i>		
2 л.	<i>-ма</i>		
3 л.	<i>-ма, -ме, -мѣ (= а/о-скл.?)</i>		
1 л. мн.ч.	<i>-мь < *-mos</i>		<i>-мь</i>
2 л.	<i>-ме</i>		<i>-ме</i>
3 л.	<i>-хтъ / -ѣхтъ < *-(j)onti</i>		

Аорист / имперфект

	ед.ч.	дв.ч.	мн.ч.
1 л.	<i>-ѣ < *-om</i>	<i>-вѣ</i>	<i>-мь</i>
2 л.	<i>-θ < *-s</i>	<i>-ма</i>	<i>-ме</i>
3 л.	<i>-θ < *-t</i>	<i>-ма, -ме, -мѣ</i>	<i>-ж < *-ont</i>

1.10. Литовский язык

Индоевропейская семья
Балтийская (летто-литовская) группа
Западнобалтийская подгруппа

Личные местоимения

	1 л. ед.ч.	2 л. ед.ч.	Прим.
им.	<i>aš</i> , диал. <i>eš</i>	<i>tu</i> (вежл. <i>tamsta</i>)	
род.	<i>manęs</i>	<i>tavęs</i>	
дат.	<i>man</i> , жем. <i>monī</i>	<i>tau</i>	
вин.	<i>mane</i>	<i>tave</i>	
инстр.	<i>manimi</i>	<i>tavimi</i> , диал. <i>tajim</i>	= имя
мест.	<i>manuje</i>	<i>tavyje</i>	= имя инессив

	1 л. дв.ч.	2 л. дв.ч.	Прим.
им., вин.	<i>mudu</i> , ж.р. <i>mudvi</i> жем. <i>vedu</i>	<i>judu</i> , ж.р. <i>judvi</i>	= числ.
род.	<i>mudvieju</i>	<i>judvieju</i>	= числ.
дат., инстр.	<i>mudviem</i>	<i>judviem</i>	= числ.
мест.	<i>mudviese</i>	<i>judviese</i>	= числ.

	1 л. мн.ч.	2 л. мн.ч.	Прим.
им.	<i>mes</i>	<i>jūs</i>	
род.	<i>mūsų</i>	<i>jūsų</i>	= имя
дат.	<i>ums</i>	<i>jums</i>	
вин.	<i>mus</i>	<i>jus</i>	= имя
инстр.	<i>umis</i>	<i>jumis</i>	= имя
мест.	<i>umyse</i>	<i>jumyse</i>	= имя инессив

	1 л. мн.ч.	2 л. мн.ч.	Прим.
им.	<i>mes</i>	<i>jūs</i>	
род.	<i>mūsų</i>	<i>jūsų</i>	= имя
дат.	<i>ums</i>	<i>jums</i>	
вин.	<i>mus</i>	<i>jus</i>	= имя
инстр.	<i>umis</i>	<i>jumis</i>	= имя
мест.	<i>umyse</i>	<i>jumyse</i>	= имя инессив

Притяжательные местоимения: *manas, tavas, mūsas, jūsas*

Энклитические местоимения:

1 л. ед.ч. *-mi-, -m* мне, меня *patimokink apsaugokem*

2 л. ед.ч. *-ti-, -t* тебе, тебя *duosiuot meldžiuot*

Личные аффиксы глагола

	атематич.	тематические	прош. вр.	повел. накл.	сосл. накл.
1 л. ед.ч.	<i>-mi</i>	<i>-u</i>	<i>-au</i>	-	<i>-či-au</i>
2 л.	<i>-si</i>	<i>-i</i>	<i>-ai / -ei</i>	<i>-k-(i),</i> диал. <i>-i</i>	<i>-tum, -tumei</i>
1 л. дв.ч.		<i>-va</i>	<i>-va</i>	<i>-ki-va</i>	<i>-tu-va</i>
2 л.		<i>-ta</i>	<i>-ta</i>	<i>-ki-ta</i>	<i>-tu-ta</i>
1 л. мн.ч.		<i>-me</i>	<i>-me</i>	<i>-ki-me</i>	<i>-tu-me</i>
2		<i>-te</i>	<i>-te</i>	<i>-ki-te</i>	<i>-tu-te</i>

1.10.1. Древнепрусский язык

Индоевропейская семья

Балтийская (летто-литовская) группа

Восточнобалтийская подгруппа

Личные местоимения

	1 л.	2 л.	3 л.
	ед.ч.		
им.	<i>as</i>	<i>tū</i>	<i>tāns, tans</i> (fem. <i>tanā</i> , neut. <i>tanan</i>)

род.	<i>māise</i>	<i>twāise</i>	<i>tanasa, tenese</i> (fem. <i>teneses</i>)
дат.	<i>menei</i>	<i>tebei</i>	<i>tanasmā</i> (fem. <i>tenei</i>)
вин.	<i>men, min</i>	<i>ten, tin</i>	<i>tanān, tenān</i>
инстр.	<i>maim</i>		
МН. Ч.			
им.	<i>mes</i>	<i>jūs</i>	<i>tanai, tenei</i>
род.	<i>nūsan</i>	<i>jūsan</i>	<i>tanāsan, tanai-</i> <i>san, teneisan</i>
дат.	<i>nūmans</i>	<i>jūmans</i>	<i>tanāmans,</i> <i>tenēimans</i>
вин.	<i>mans</i>	<i>wans</i>	<i>tanāns, tenāns</i>

Притяжательные местоимения

им.	<i>majs</i> , ж.р. <i>maja</i>	<i>twajs</i> , ж.р. <i>twajā</i>
род.	<i>majsa</i>	<i>twajse</i>
вин.		<i>tvajan</i>
им. мн.ч.	<i>nūsun, nūsas</i>	<i>jūsas</i>

Личные аффиксы глагола

	наст. вр.	повел. накл.
1 л. ед.ч.	<i>-ā</i> (< <i>*-ō</i>), <i>-mā</i> (< <i>-mi + -ā</i>)	
2 л. ед.ч.	<i>-ei, -si, -ā</i>	<i>-ais</i>
3 л.	<i>-t, -ts</i> (< <i>*-tas</i>), <i>-a</i>	
1 л. мн.ч.	<i>-mai</i> (< <i>*mē</i>)	
2 л.	<i>-te, -ti, -tei</i> (<i>*-tē</i>)	<i>-aite</i>

1.11. Тохарские языки

Индоевропейская семья
Тохарская группа

Личные местоимения

1 лицо

	тох. В	тох. А	Прим.
им.	<i>ñäs, ñis / ñīs < *ñjä-</i>	<i>näs, ж.р. ñuk</i>	
род.	<i>ñi / ñī</i>	<i>ñi</i>	
вин.	<i>ñäs, ñis</i>	<i>näs, ж.р. ñuk</i>	
дат.		<i>nšac, ж.р. ñ_ukac</i>	
аблатив		<i>nšäš, ж.р. ñ_ukäš</i>	
локатив		<i>nšam, ж.р. ñ_ukam</i>	
перлатив	<i>ñässa, ñissa</i>	<i>ж.р. ñkā < *ñukā</i>	
комитатив		<i>м.р. nšaśśäl</i>	
ЭНКЛИТИЧ.	<i>-ñ</i>	<i>-ñi</i>	
дв.ч.			
им., вин.	<i>wene</i>	<i>wu, ж.р. we</i>	<i>-ne</i> показатель дв.ч.
мн.ч.			
им.	<i>wes</i>	<i>was</i>	
род.	<i>wesi, wesäñ</i>	<i>wasäm</i>	род.п. <i>-ñä</i> род.п. <i>-äy</i>
вин.	<i>wes</i>	<i>was</i>	

2 лицо

	тох. В	тох. А	Прим.
им.	<i>tuwe, twe</i>	<i>tu</i>	
род.	<i>täñ</i>	<i>tñi</i>	
вин.	<i>ci</i>	<i>cu</i>	
мест.		<i>cwam / cwām</i>	
ЭНКЛИТИЧ.	<i>-c</i>	<i>-ci</i>	
дв.ч.			
им., вин.	<i>yene</i>		<i>-ne</i> показатель дв.ч.

МН. Ч.			
им.	<i>yes</i>	<i>yas</i>	
род.	<i>yesi, yesäñ, ye-sämññ</i>	<i>yasäm</i>	род.п. <i>-ñä</i> род.п. <i>-äy</i>
вин.	<i>yes</i>	<i>yas</i>	
энклитич.	<i>-me</i>	<i>-m</i>	< <i>*-sme</i> ?

Личные аффиксы глагола

	наст. вр. тематические	наст. вр. атематические	перфект	средний залог первичные	средний залог вторичные
1 л. ед.ч.	<i>-au</i>	<i>-u, -m < *-mä?</i>	<i>-wā</i>	<i>-mar</i>	<i>-mai</i>
2 л.	<i>-t(o)</i>	<i>-(ä)t(o)</i>	<i>-(ä)stā</i>	<i>-tar</i>	<i>-tai</i>
3 л.	<i>-(ä)ṃ</i>	<i>-(ä)ṃ</i>	-	<i>-tär</i>	<i>-to</i>
1 л. МН.Ч.	<i>-em(o)</i>	<i>-m(o)</i>	<i>-(ä)mo</i>	<i>-mtär</i>	<i>-mte</i>
2 л.	<i>-(ä)cer</i>	<i>-cer</i>	<i>-(ä)so</i>	<i>-tär</i>	<i>-t(o)</i>
3 л.	<i>-eṃ</i>	<i>-ṃ</i>	<i>-är, -re</i>	<i>-ntär</i>	<i>-nte</i>

1.12. Древнеирландский язык

Индоевропейская семья

Кельтская группа

Гойдельская подгруппа

Личные местоимения

	1 л. ед.ч.	2 л. ед.ч.	1 л. МН.Ч.	2 л. МН.Ч.
самостоятельные	<i>mé</i>	<i>tú</i>	<i>snisni, sinni</i>	<i>sib, sissi</i>
эмфатические	<i>meisse</i>	<i>tussu</i>		
инфиксальные	<i>-m-*</i>	<i>-t-*</i>	<i>-nn-</i>	<i>-b-</i>
относительные	<i>-dom-*</i>	<i>-dot-*</i>	<i>-don-</i>	<i>-dob-</i>

с отрицанием	<i>-chim-*</i>	<i>-chit-*</i>	<i>-chin-</i>	<i>-chib-</i>
суффиксальные	<i>-m</i>	<i>-t</i>	<i>-nn</i>	<i>-b</i>
род.п. (притяжательные)	<i>mo*</i> , <i>m-</i>	<i>do*</i> , <i>t-</i>	<i>ar n-</i>	<i>far n-</i> ,
самостоятельные род.п.	<i>mui</i>	<i>tái</i>	<i>ár, athar</i>	<i>sethar, sar</i>
усилительные суффиксы	<i>-sa, -se</i>	<i>-su, -siu</i>	<i>ni</i>	<i>si</i>

* требует лениции

Личные аффиксы глагола.

	простые времена	сложные времена	условное накл., имперфект	средний залог
1 л. ед.ч.	<i>-u / -imm (-a)</i>	<i>-u, -0</i>	<i>-inn</i>	<i>-ur</i>
2 л.	<i>-i, -e</i>	<i>-e, -i</i>	<i>-tha, -ta</i>	<i>-ther</i>
3 л.	<i>-id, -i</i>	<i>-a, -ad</i>	<i>-ed, -ad</i>	<i>-thir</i>
1 л. мн.ч.	<i>-mi, -mir</i>	<i>-am</i>	<i>-mis</i>	<i>-mir</i>
2 л.	<i>-the, -te</i>	<i>-id</i>	<i>-the, -te</i>	<i>-the</i>
3 л.	<i>-it, -itir</i>	<i>-at, -atar</i>	<i>-tis</i>	<i>-tir</i>

Приложение 2

Парадигмы личных показателей в ностратических языках

2.1.1. Финский язык

Уральская семья
Финно-угорская группа
Прибалтийско-финская подгруппа

Личные местоимения

	1 л. ед.ч.	2 л. ед.ч.
им.	<i>minä</i> , диал. <i>mie</i>	<i>sina</i> , диал. <i>šie</i>
род., притяж.	<i>minun</i> , диал. <i>miun</i>	<i>sinun</i> , диал. <i>siun</i>
вин.	<i>minut</i>	<i>sinut</i>

	1 л. мн.ч.	2 л. мн.ч.
им.	<i>me</i>	<i>te</i>
род., притяжат.	<i>meidän</i>	<i>teidän</i>
вин.	<i>meidät</i>	<i>teidät</i>

Личные аффиксы глагола

	глагольные	притяжательные
1 л. ед.ч.	<i>-n < *-m</i>	<i>-ni</i> , диал. <i>-in</i>
2 л.	<i>-t</i>	<i>-si</i> , диал. <i>-is</i>
1 л. мн.ч.	<i>-mme</i>	<i>-mme</i>
2 л.	<i>-tte</i>	<i>-nne</i>

2.1.2. Венгерский язык

Уральская семья
 Финно-угорская группа
 Угорская подгруппа

Личные местоимения

	1 л. ед.ч.	2 л. ед.ч.
им.	<i>én</i>	<i>te</i>
вин.	<i>engem(et)</i>	<i>téged(et)</i>
притяж.	<i>enyém</i>	<i>tiéd</i>
притяж. суфф.	<i>-m</i>	<i>-d</i>

	1 л. мн.ч.	2 л. мн.ч.
им.	<i>mi</i>	<i>ti</i>
вин.	<i>minket, bennünket</i>	<i>titeket, benneteket</i>
притяж.	<i>miénk</i>	<i>tiétek</i>
притяж. суфф.	<i>-nk</i>	<i>-tok / -tek</i>

Личные аффиксы глагола

	интранзитив	транзитив
1 л. ед.ч.	<i>-k</i>	<i>-m</i>
2 л.	<i>-sz, -l</i>	<i>-d</i>
1 л. мн.ч.	<i>-nk</i>	<i>-juk / -jük</i>
2 л.	<i>-tok / -tek</i>	<i>-tok / -tek</i>

2.1.3. Хантыйский язык

Уральская семья
 Финно-угорская группа
 Обско-угорская подгруппа

Личные местоимения

	1 л. ед.ч.	2 л. ед.ч.
им.	<i>ta</i>	<i>nǎŋ</i>
дат.	<i>tǎn-əm</i>	<i>nǎn-əm</i>
вин.	<i>tǎn-ət</i>	<i>nǎn-ət</i>

	1 дв.	2 дв.
им.	<i>min</i>	<i>nin</i>
дат.	<i>min-em(a)</i>	<i>nin-am(a)</i>
вин.	<i>min-ət</i>	<i>nin-ət</i>

	1 мн.	2 мн.
им.	<i>tǐŋ</i>	<i>nin</i>
дат.	<i>tǐŋ-ew(a)</i>	<i>nin-an(a)</i>
вин.	<i>tǐŋ-ət</i>	<i>nin-ət</i>

Личные притяжательные суффиксы

	ед.ч.	дв.ч.	мн.ч.
1 л.	<i>-m</i>	<i>-mn</i>	<i>-w</i>
2 л.	<i>-n</i>	<i>-(ə)n</i>	<i>-(ə)n</i>

Личные аффиксы субъекта глагола

1 л. ед.ч.	<i>-um</i>
2 л.	<i>-an</i>
1 л. дв.ч.	<i>-umn</i>
2 л.	<i>-atn</i>
1 л. мн.ч.	<i>-uw</i>
2 л.	<i>-ati</i>

2.1.4. Нганасанский язык

Уральская семья
Самодийская группа

Личные местоимения

	им., род., вин.	напр.	мест.	элатив	пролатив
1 л. ед.ч.	<i>tənə</i>	<i>nanə</i>	<i>nanunə</i>	<i>nagətənə</i>	<i>namənunə</i>
2 л.	<i>tənə</i>	<i>nantə</i>	<i>nanuntə</i>	<i>nagətətə</i>	<i>namənuntə</i>
1 л. дв.ч.	<i>mi</i>	<i>nani</i>	<i>nanuni</i>	<i>nagətəni</i>	<i>namənuni</i>
2 л.	<i>ti</i>	<i>nandi</i>	<i>nanunti</i>	<i>nagətəndi</i>	<i>namənundi</i>
1 л. мн.ч.	<i>miŋ</i>	<i>nanu?</i>	<i>nanunu?</i>	<i>nagətənu?</i>	<i>namənunu?</i>
2 л.	<i>tiŋ</i>	<i>nandu?</i>	<i>nanuntu?</i>	<i>nagətəndu?</i>	<i>namənundu?</i>

Личные аффиксы глагола

	субъ- ектное	объект-ное (объект в ед.ч.)	объект-ное (объект в дв.ч.)	объект-ное (объект во мн.ч.)	безобъ- ектное
1 л. ед.ч.	<i>-m</i>	<i>-mə</i>	<i>-kəijnə</i>	<i>-jnə</i>	<i>-nə</i>
2 л.	<i>-ŋ</i>	<i>-rə</i>	<i>-kəijtə</i>	<i>-jtə</i>	<i>-ŋ</i>
1 л. дв.ч.	<i>-mi</i>	<i>-mi</i>	<i>-kəijni</i>	<i>-jni</i>	<i>-ni</i>
2 л.	<i>-ri</i>	<i>-ri</i>	<i>-kəijti</i>	<i>-jti</i>	<i>-nti</i>
1 л. мн.ч.	<i>-mu?</i>	<i>-mu?</i>	<i>-kəijnu?</i>	<i>-jnu?</i>	<i>-nu?</i>
2 л.	<i>-ru?</i>	<i>-ru?</i>	<i>-kəijtu?</i>	<i>-jtu?</i>	<i>-ntu?</i>

2.2.1. Старотюркские письменные языки

Алтайская семья

Тюркская группа

Личные местоимения

	1 л. ед.ч.	2 л. ед.ч.
независ. им.п.	(чув. <i>e-pě</i> < <i>*bi</i> / <i>*mi</i>)	(чув. <i>e-sě</i> < <i>*si</i>)
независ. косв.п.	<i>bän</i> / <i>män</i>	<i>sän</i> / <i>sin</i>
притяжат.	<i>-m</i>	<i>-ŋ</i>

	1 л. мн.ч.	2 л. мн.ч.
независ.	<i>biz</i>	<i>siz</i>
притяжат.	<i>-myz</i> / <i>-miz</i>	<i>-ŋyz</i> / <i>-ŋiz</i>

Личные аффиксы глагола

1 серия: настоящее время, будущее время, предикативные суффиксы имени

2 серия: претерит, условное наклонение

	1 серия	2 серия
1 л. ед.ч.	<i>-bän</i> / <i>-män</i>	<i>-m</i>
2 л.	<i>-sän</i>	<i>-ŋ, -g, -γ</i>
1 л. мн.ч.	<i>-biz</i> / <i>-miz, -iz</i>	<i>-k, -myz</i> / <i>-miz,</i>
2 л.	<i>-siz, -siŋiz</i>	<i>-ŋyz</i> / <i>-ŋiz</i>

2.2.2. Монгольский язык

Алтайская семья
Монгольская группа

Личные местоимения

	1 л. ед.ч.	2 л. ед.ч.
независ. им.п.	<i>bi</i>	<i>či < *ti</i>
род.	<i>minu</i>	<i>činu</i>
дат.	<i>nada, nata-dur</i>	<i>čima-dur</i>
вин.	<i>namayi</i>	<i>čimayi</i>
притяжат.	<i>min-</i>	<i>čin-</i>

	1 мн. ЭКСКЛ.	1 мн. ИНКЛ.	2 мн.	Прим.
независ. им.п.	<i>ba</i>	<i>bide</i>	<i>ta</i>	1 мн. инкл. <i>bide < *bi + 2</i> ед. <i>*tV</i>
косв. и притяжат.	<i>man-</i>	<i>biden-</i>	<i>tan-</i>	

Личные аффиксы глагола

	предикативные (бурят., калм., дагур.)	притяжательные
1 л. ед.ч.	<i>-bi, -b, -m, -w</i>	<i>-m, -min, -(m)ni, -w</i>
2 л.	<i>-ši, -š, -č</i>	<i>-šin, -šni, -čn, -š, -s</i>
1 л. мн.ч.	<i>-md᠓, -bd᠓, -wd᠓, -bdi, -mdi, -m᠓, -d᠓, -ba</i>	<i>-mdn, -(m)nai, -mān, -m᠓</i>
2 л.	<i>-t'a, -tā, -t</i>	<i>-t'an, -tnai, -tu</i>

2.2.3. Тунгусо-маньчжурские языки

Алтайская семья

Тунгусо-маньчжурская группа

Личные местоимения

	1 л. ед.ч.	2 л. ед.ч.
независимые им.п.	<i>bi</i>	<i>si</i>
косвенные и притяжательные	<i>min-</i>	<i>sin-</i>

	1 л. мн.ч. экскл.	1 л. мн.ч. инкл.	2 л. мн.ч.	Прим.
независ. им.п.	маньч. <i>bä</i> негид. <i>bū</i> эвенк. <i>bu</i>	маньч. <i>musä</i> , негид. <i>bittä</i> ороч. <i>biti</i> солон. <i>miti</i> удэг. <i>minti</i> эвенк. <i>mit</i> эвен. <i>mut</i>	маньч. <i>suvä</i> негид. <i>sū</i> эвенк. <i>su</i>	<i>*bi-ti</i> < <i>*bi + 2</i> ед. <i>*ti</i>
косв. и притяжат.	<i>min-</i>	= им.п.	<i>sun-</i>	

Личные аффиксы глагола

	предикативные	притяжательные	Праформы
1 ед.	<i>-w, -mi, -m, -bi</i>	<i>-w, -f, -m, -bi, -mi, -mu</i>	<i>*-b(i)/-m(i)</i>
2 ед.	<i>-š, -s, -hi</i>	<i>-š, -s, -hi, -ndi, -ni, -di, -si</i>	<i>*-s(i), *-n(i)</i>
1 мн.	<i>-wun, -w, -(u)n, -p, -pu</i>	<i>-mun, -wun, -mu, -u(n), -pun</i>	<i>*-bu(n)/*-mu(n)</i>
2 мн.	<i>-san, -sun, -snu, -hu, -su, -s</i>	<i>-sun, -su, -san</i>	<i>*-su(n), *-san</i>

2.2.4. Японский и корейский языки

Алтайская семья

Личные местоимения японского языка

	1 л.	2 л.
др.-яп.	<i>a</i> < * <i>na</i> <i>wa</i> < * <i>ba</i> - ? <i>are</i> / <i>ware</i> вост. <i>warō</i> прост. <i>wakē</i> вежл. <i>wonore</i> диал. <i>wan(u)</i> <i>maro</i> <i>nanigasi</i> притяж. <i>aga</i> / <i>waga</i>	<i>na(re)</i> <i>nusi</i> <i>si</i> прост. <i>i</i> < * <i>si</i> ? вежл. <i>namuti</i> , <i>kimi</i> прост. <i>wawotoko</i> прост. <i>ore</i>
яп.	вежл. <i>watakusi</i> нейтр. муж. <i>boku</i> нейтр. жен., вежл. муж. <i>watasi</i> прост. муж. <i>'ore</i>	<i>anata</i> прост. <i>'aNta</i> , <i>'omae</i> прост. муж. <i>kimi</i>

Мн.ч. образуется добавлением суффиксов *-tachi* и др.

Личные местоимения корейского языка

	1 л.	2 л.	Прим.
ед.ч.	<i>na/nau</i> вежл. <i>ce/cey</i>	<i>ne/neu</i> , <i>caney</i> , <i>kutay</i> вежл. <i>taṅsin</i>	2 ед. = яп., тюрк.
мн.ч.	<i>uri</i> , диал. <i>wuri</i> < * <i>bu-ri</i>	<i>nehuy</i> вежл. <i>taṅsin</i>	1 мн. = алт.

2.3. Тамильский язык

Дравидийская семья

Южная группа

Личные местоимения

	1 л. ед.ч.	2 л. ед.ч.	1 л. мн.ч. экскл.	1 л. мн.ч. инкл.	2 л. мн.ч.
им.	<i>yāṇ</i> <i>nāṇ</i> < юж. * <i>ñāṇ</i> -	<i>nī</i>	<i>yāṁ</i> куи <i>māṁti</i>	<i>nāṁ</i>	<i>nīṁ</i> , <i>nīr</i> куи <i>mīṁti</i>
косв.	<i>eṇ</i> - < * <i>yāṇ</i> - * <i>ñāṇ</i> -, * <i>ñā</i> -	<i>niṇ</i> -	<i>eṁ</i> - < * <i>yāṁ</i> - куи <i>mā</i> -	<i>naṁ</i> -	- куи <i>mī</i> -

Личные аффиксы глагола (тамильский, конда)

	тамильский	конда
1 л. ед.ч.	<i>eṇ</i> , <i>ēṇ</i> , <i>aṇ</i> , <i>al</i> < * <i>Vn</i>	<i>a</i> < * <i>Vn</i>
2 л. ед.ч.	<i>i</i> , <i>ī</i> , <i>ay</i> , <i>ōy</i> < * <i>i/ī</i> , * <i>ay/āy</i>	<i>i</i> , <i>id</i> < * <i>i</i> < * <i>ay</i>
1 л. мн.ч. экскл.	<i>eṁ/am</i> , <i>ēṁ/ām</i> , <i>um/ōm</i> < * <i>Vm</i>	<i>ap</i> < * <i>Vm</i>
1 л. мн.ч. инкл.	-	<i>aṭ</i> < * <i>att</i>
2 л. мн.ч.	<i>ir</i> , <i>īr</i> < * <i>ir/īr</i>	<i>ider</i> < * <i>ir</i>

2.4. Картвельские языки

2.4.1. Грузинский язык

Личные местоимения

ед.ч.		
им.	<i>me</i>	<i>šen</i>
род., притяж.	<i>čem-i</i>	<i>šen-i</i>
мн.ч.		
им.	<i>čven</i>	<i>tkven</i>
род., притяжат.	<i>čven-i</i>	<i>tkven-i</i>

Личные аффиксы глагола

	субъект	объект
1 л. ед.ч.	<i>v-</i>	<i>m-</i>
2 л.	<i>s-</i> , устар./диал. <i>x-</i>	<i>g-</i>
1 л. мн.ч.	<i>v-</i>	<i>gv-</i>
2 л.	<i>0-</i>	<i>g-</i>

2.4.2. Мегрело-чанский язык

Личные местоимения

	1 л. ед.ч.	2 л. ед.ч.
им.	<i>ma</i> , лаз. <i>ma</i> , <i>man</i>	<i>si</i> , лаз. <i>si</i> , <i>sin</i>
род., притяж.	<i>čkim-i</i> , <i>čkət-i</i>	<i>skan-i</i> , <i>sқан-i</i>

	1 л. мн.ч.	2 л. мн.ч.
им.	<i>čki</i> , <i>čkə</i> , чан. <i>čku</i> , <i>šku</i>	<i>tkva</i> , чан. <i>tkva</i> , <i>tkvan</i>
род., притяжат.	<i>čkun-i</i> , <i>škun-i</i>	<i>tkvan-i</i>

2.4.3. Сванский язык

Личные местоимения

	1 л. ед.ч.	2 л. ед.ч.
им.	<i>mi</i>	<i>si</i>
род., притяж.	<i>mišgu, mišgwi</i>	<i>isgu, isḱwi</i>

	1 л. мн.ч.	2 л. мн.ч.
им.	<i>näj, nä, naj</i>	<i>sgäj, sgä, sgaj</i>
род., притяжат.	<i>nišgwej</i> (экскл.), <i>gwišgwej</i> (инкл.)	<i>isgwej</i>

Личные аффиксы глагола

	субъект	объект
1 л. ед.ч.	<i>xw-, w-</i>	<i>m-, mə-</i>
2 л.	<i>x-, 0-</i>	<i>dž-, džə-</i>
1 л. мн.ч. ЭКСКЛ.	<i>xw-, w-</i>	<i>n-, nə-</i>
1 л. мн.ч. ИНКЛ.	<i>l-, lə-</i>	<i>gw-</i>
2 л. мн.ч.	<i>x-</i>	<i>dž-, džə-</i>

Приложение 3

Парадигмы личных показателей в языках Евразии

3.1. Афразийские языки

Афразийская семья

Префиксальные местоимения (субъект действия)

	семит.	ташельхит (бер-бер.)	хауса (чадские)	бедауйе (кушит.)
1 л. ед.ч.	*'a-	0- ... -ay	i- / 0-	a-
2 ед. м.р.	*ta-	t- ... -t	ka	te- ... -a
2 ед. ж.р.	*ta- ... -ī	t- ... -t	ki	te- ... -i
1 мн.	*na-	n-	mu	ni-
2 мн. м.р.	*ta- ... -ū	t- ... -m	ku	te- ... -na
2 мн. ж.р.	*ta- ... -ā / -na	t- ... -m-t	ku	te- ... -na

Суффиксальные местоимения (субъект состояния)

	аккадский (семит.)	зуауа (бербер.)	древнеегип.
1 ед.	-āku	-eγ < *-akku	-kwj
2 ед. м.р.	-āta < *-ka	-eđ < *-atta	-tj
2 ед. ж.р.	-āti < *-ki	-eđ < *-atti	-tj
1 мн.	-ānu	?	-wjn
2 мн. м.р.	-ātunu	?	-tjwnj
2 мн. ж.р.	-ātina	?	-tjwnj

Суффиксальные местоимения (посессив)

	аккадский (семит.)	ташельхит (бербер.)	др.-егип.	хауса (чадские)	бедауйе (кушит.)
1 л. ед.ч.	<i>-ī, -īa</i>	<i>-i</i>	<i>-j</i>	<i>-na</i>	<i>-ū</i>
2 л. ед.ч. м.р.	<i>-ka</i>	<i>-k'</i>	<i>-k</i>	<i>-ka</i>	<i>-ūka</i>
2 л. ед.ч. ж.р.	<i>-ki</i>	<i>-m < *-kim</i>	<i>-t</i>	<i>-ki</i>	<i>-ūki</i>
1 л. мн.ч.	<i>*-na/nu/ni</i>	<i>-na</i>	<i>-n</i>	<i>-mi</i>	<i>-ūn</i>
2 л. мн.ч. м.р.	<i>*-kumu</i>	<i>-un</i>	<i>-tn</i>	<i>-ku</i>	<i>-ūkna</i>
2 л. мн.ч. ж.р.	<i>*-kina</i>	<i>-um-t</i>	<i>-tn</i>	<i>-ku</i>	<i>-ūkna</i>

Суффиксальные местоимения (прямой объект)

	аккадский (семит.)	ташельхит (бербер.)	бедауйе (кушит.)
1 л. ед.ч.	<i>-ni</i>	<i>-ūi</i>	<i>-a</i>
2 л. ед.ч. м.р.	<i>-ka</i>	<i>-k</i>	<i>-ka</i>
2 л. ед.ч. ж.р.	<i>-ki</i>	<i>-kim</i>	<i>-ki</i>
1 л. мн.ч.	<i>-ni 'āt</i>	<i>-(n)a</i>	<i>-n</i>
2 л. мн.ч. м.р.	<i>-kunū < *-kumū</i>	<i>-kun</i>	<i>-kna</i>
2 л. мн.ч. ж.р.	<i>*-kināti</i>	<i>-kun-t</i>	<i>-kna</i>

Самостоятельные местоимения (субъект состояния)

	аккадский (семит.)	ташельхит (бербер.)	хауса (чадские)	сомали (кушит.)	бедауйе (кушит.)
1 л. ед.ч.	<i>'an-āku</i>	<i>nki, nək</i>	<i>ni</i>	<i>ana, aní</i>	<i>aní</i>
2 л. ед.ч. м.р.	<i>'an-ta</i>	<i>kii</i>	<i>kai</i>	<i>ada, adí</i>	<i>bar-ūk</i>
2 л. ед.ч. ж.р.	<i>'an-ti</i>	<i>kimí</i>	<i>ke</i>	<i>ada, adí</i>	<i>ba(r)-t-ūk</i>

1 мн. (инкл.)	<i>*naḥna</i>	<i>nkunnə</i>	<i>tu</i>	<i>inna</i>	<i>hanin</i>
1 мн. экскл.			<i>nu</i>	<i>anna</i>	
2 л. мн.ч. м.р.	<i>'an-tumu</i>	<i>kunnə</i>	<i>ku</i>	<i>aḵid-in</i>	<i>bar-āk</i>
2 л. мн.ч. ж.р.	<i>'an-tina</i>	<i>kunəmti</i>		<i>aḵid-in</i>	<i>ba(r)-t-āk</i>

Самостоятельные местоимения (прямой объект)

	староаккадский (семит.)	др.-егип.	хауса (чадские)	сомали (кушит.)
1 л. ед.ч.	<i>ḵati</i>	<i>wj</i>	<i>ni</i>	<i>ī</i>
2 л. ед.ч. м.р.	<i>kāti < *ku'a</i>	<i>twt < *kwt</i>	<i>ka</i>	<i>kū</i>
2 л. ед.ч. ж.р.	<i>kāti</i>	<i>tmt</i>	<i>ki</i>	<i>kū</i>
1 л. мн.ч.	<i>ni'ati</i>	?	<i>tu</i>	<i>na</i>
2 л. мн.ч. м.р.	<i>kunūti < *kumū</i>	?	<i>ku</i>	<i>idin</i>
2 л. мн.ч. ж.р.	<i>kināti</i>	?	<i>ku</i>	<i>idin</i>

3.2. Чукотский язык

Чукотско-камчатские языки

Личные местоимения

	1 л. ед.ч.	2 л. ед.ч.	1 л. мн.ч.	2 л. мн.ч.
абсолютив	<i>гым < *γə-t</i>	<i>гым < *γə-t</i>	<i>мури</i>	<i>тури</i>
эргатив	<i>гымнан</i>	<i>гынан</i>	<i>моргынан</i>	<i>торгынан</i>
локатив	<i>гымык</i>	<i>гынык</i>	<i>морык</i>	<i>торык</i>
аблатив	<i>гымыкайпы</i>	<i>гыныкайпы</i>	<i>морыкайпы</i>	<i>торыкайпы</i>
аллатив	<i>гымыкагты</i>	<i>гыныкагты</i>	<i>морыкагты</i>	<i>торыкагты</i>
датив	<i>гымыкы</i>	<i>гыныкы</i>	<i>морыкы</i>	<i>торыкы</i>

ориентатив	<i>гымькэгйит</i>	<i>гыныкэгйит</i>	<i>мурыкэгйит</i>	<i>турыкэгйит</i>
десигнатив	<i>гымьку</i>	<i>гыныку</i>	<i>мурыку</i>	<i>турыку</i>

Личные аффиксы субъекта глагола
Моноперсональный

	1 л.	2 л.
ед.ч.	<i>мы-</i> ... <i>-к</i>	<i>мын-</i> / <i>мыт-</i> ... <i>-мык</i>
мн.ч.	<i>қы-</i>	<i>қы-</i> ... <i>-тык</i>

Полиперсональный

	1 л. субъек- та	1 л. объекта (фа- культативно)	2 л. субъек- та	2 л. объек- та
ед.ч.	<i>т-</i>	<i>-гым</i>	-	<i>-гымт</i>
мн.ч.	<i>мыт-</i>	<i>-мык</i>	-	<i>-тык</i>

3.3. Язык азиатских эскимосов

Эскимосско-алеутские языки

Притяжательные аффиксы

обладатель		обладаемое		
лицо	число	абсолютив		релатив
		ед.ч.	мн.ч.	ед.ч., мн.ч.
1	ед.	<i>-ка / -қа</i>	<i>-нка</i>	<i>-ма</i>
	мн.	<i>-пут / -вут</i>	<i>-пут</i>	<i>-мта</i>
2	ед.	<i>-н</i>	<i>-тын</i>	<i>-нык / -вык</i>
	мн.	<i>-си / -зи</i>	<i>-си</i>	<i>-ныси / -вси</i>

Личные аффиксы глагола

субъект		объект		
лицо	число	ед.ч.	дв.ч.	мн.ч.
1 л.				
2	ед.	-пыңа	-пыкук	-пыкут
	дв.	-пытыгынңа	-пытыгынкук	-пытыгынкут
	мн.	-пысиңа	-пысикук	-пысикут
2 л.				
1	ед.	-мкын	-мтык	-мси
	дв.	-мтыгынкын	-мтыгынтык	-мтыгымси
	мн.	-мтыкын	-мтык	-м(ты)си
3 л.				
1	ед.	-қа	-хка	-нка
	дв.	-хпук	-хпук	-пук
	мн.	-хпут	-хпут	-пут
2	ед.	-н		
	дв.	-хтык	-хтык	-тык
	мн.	-хси	-хси	-си

3.4. Нивхский язык

Личные местоимения

	1 л.	2 л.
ед.ч.	<i>н'и</i>	<i>чи</i>
дв.ч.	амур. <i>мэги/мэгэ</i> , вост.-сахалин. <i>мэң</i> , сев.-сахалин. <i>мэмак</i>	-
мн.ч. (экскл.)	амур. <i>н'ың</i> , вост.-сахалин. <i>н'ин</i>	амур. <i>ч'ың</i> , вост.-сахалин. <i>чин</i>
мн.ч. инкл.	амур. <i>мэр/мир</i> , вост.-сахалин. <i>мэрн/мирн</i> , <i>мин</i>	-

Личные аффиксы глагола (императив) (амур.)

	ед.ч.	дв.ч.	мн.ч.
1 л.	<i>-ныкта / -ныхта</i>	<i>-нытэ / -нтэ</i>	<i>-да</i>
2 л.	<i>-йа / -й</i>		<i>-вэ / -бэ / -пэ</i>

Бабаев Кирилл Владимирович

Происхождение индоевропейских показателей лица.

Исторический анализ и данные внешнего сравнения

Е-mail автора: babaev@yandex.ru

<http://www.nostratic.ru>

Издательство «Эйдос»

Подписано в печать 14.07.2008.

Формат 60x84/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 18,75. Тираж 500 экз. Зак № 225.

Отпечатано «Наша Полиграфия»,
г.Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 126
Лиц. ПЛД № 42-29 от 23.12.99